

Сурен Золян



ЮРИЙ ЛОТМАН
О СМЫСЛЕ,
ТЕКСТЕ, ИСТОРИИ

Темы и вариации



STUDIA PHILOLOGICA

Сурен Золян

**ЮРИЙ ЛОТМАН:
О СМЫСЛЕ, ТЕКСТЕ,
ИСТОРИИ
ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ**

2-е издание



Издательский Дом ЯСК
Москва 2020

УДК 82.09
ББК 71.05
3 81

Золян С. Т.

3 81 Юрий Лотман: О смысле, тексте, истории. Темы и вариации. — 2-е изд. — М.: Издательский Дом ЯСК, 2020. — 320 с. — (Studia philologica).

ISBN 978-5-907290-04-4

Лотмановское наследие может дать импульс принципиально новым трансдисциплинарным направлениям исследований. Совмещение ипостасей историка русской культуры и семиотика-теоретика позволило Ю. М. Лотману наметить новые подходы к культуре и истории, естественным приращением к которым будет также и предлагаемый лингвoseмиотический ракурс рассмотрения. В книге дан анализ ряда ключевых идей Лотмана, рассматривается их возможное развитие в новом контексте. Гераклитовский образ «Самовозрастающего Логоса» рассматривается как основа научной концепции Ю. М. Лотмана, описанные им механизмы создания и умножения смыслов применены к его же собственной концепции. Динамический подход к сотворению текста, осмысление и переосмысление истории, взаимодействие и взаимопретекание текста и поведения — лейтмотивы книги.

В первой части, «Темы», систематизированы взгляды Ю. М. Лотмана на природу текста как динамическое единство создаваемых и транслируемых смыслов в процессе коммуникации автора и читателя. Действия и события описываются как обладающие социальным смыслом знаки, тексты и коммуникативные акты. Претекание текстов в жизнь и историю становится определяющим для инновативных подходов Ю. М. Лотмана к истории и социальной семиотике. Благодаря этому объясняются механизмы переосмысления истории применительно к новым контекстам. Второй раздел, «Вариации», составляют образцы приложения идей Ю. М. Лотмана к описанию текстов и смыслов. Собранные воедино, предлагаемые «темы и вариации» создают кумулятивный и синергетический эффект — показывая возможность «новой жизни» лотмановских идей и пригласая к диалогу относительно их дальнейшего развития. В Приложении помещены очерк «Ю. М. Лотман и Армения» и статья Михаила Лотмана о концепции текста в Московско-тартуской школе.

УДК 82.09
ББК 71.05

*В оформлении обложки использован автошарж Ю. М. Лотмана
(Автопортреты Ю. М. Лотмана. Таллинн: Изд-во Таллиннского ун-та, 2015. № 27)*

ISBN 978-5-907290-04-4



9 785907 290044 >

© Золян С. Т., 2020
© Издательский Дом ЯСК, 2020
© Таллиннский ун-т, автошарж Ю. М. Лотмана, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
----------------	---

Раздел I. Темы

1. Юрий Лотман о тексте: идеи, проблемы, перспективы	13
2. О непредсказуемости прошлого: Юрий Лотман об истории и историках	59
3. Юрий Лотман и социальная семиотика	97
4. Между взрывом и застоём: постсоветская история как семиотическая проблема (по книге Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв»)	129
5. Роман-реконструкция: сотворение жанра (о книге Ю. М. Лотмана «Сотворение Карамзина»)	147

Раздел II. Вариации

1. «Бесконечный лабиринт сцеплений»: семантика текста как многомерная структура	159
2. От мифа — к истории (близнечный миф и сюжетная организация «Истории Армении» Агатангелоса)	193
3. «Свет мой, зеркальце, скажи» — волшебное зеркало как семиотическое устройство	205
4. Магическое у Пушкина — семантика и поэтика (магия рукописи)	225
5. О «самовозрастании смысла» в поэтическом тексте	239

Раздел III. Приложение

Юрий Лотман и Армения	245
Литература	261

<i>М. Ю. Лотман. Текст в контексте Тартуской-московской школы: проблемы и перспективы</i>	277
Именной указатель	295
Предметный указатель	299
Библиографическая справка	309
Сведения об авторе	311
Summary	313

ВВЕДЕНИЕ

Заглавие книги отражает концептуальный подход — это не пересказ идей Ю. М. Лотмана (тогда бы мы назвали ее «Лотман о смысле, тексте, истории»). Идеи Лотмана, казалось бы, хорошо известны и в популяризации не нуждаются. Однако это верно только для достаточно узкого круга исследователей. Как это ни парадоксально, многое из того, что было новаторским, так и до сих пор остается недостаточно понятым или же просто игнорируется, или даже забыто¹. Если же проследить за тем, как и в какой связи упоминаются работы Лотмана, то складывается впечатление, что это уже скорее дань сложившейся академической традиции, требующей исторического обзора. Между тем требуется нечто более, нежели простое переиздание или пересказ, а именно — диалог.

Мы исходим из одной из основополагающих идей Ю. М. Лотмана (и не только его): помещенные в новый контекст тексты порождают новые смыслы. Так, новые проблемы, которые были подняты уже в 1990–2000-х гг., создают новое поле для прочтений работ Лотмана — есть или нет в них ответ на вопросы, которые не были поставлены самим автором. Домысливание, а затем и до-

¹ Так, не так давно из редакции специализированного журнала (один из самых высоких импакт-факторов среди изданий по семиотике) мы получили отзыв, где рецензент усмотрел в лотмановском понимании текста чуть ли не цивилизационный разрыв между Западом и Востоком и счел нужным разъяснить:

What is understood under «text»? I suspect that the authors have in mind the concept as raised by Y. Lotman: for him a culture, a living being, a biosphere, a picture, even the universe may be conceived as a text. This is in opposition with the Western understanding, where text is a string of characters belonging to some alphabet. Not all such strings, however, have a status of text, only those that represent projections (reduction) from some natural language, i.e. string representing numerals or formal (programming) languages are not texts (2015 г.).

говаривание оказывается законной процедурой в таких случаях. Это не придумывание, а развитие самого текста — или той логики, которая была заложена в него автором. Поэтому автору и его текстам принадлежит приоритет и на несказанное им, остальным следует довольствоваться ролью комментатора или интерпретатора (с учетом того, что Ю. М. Лотман вполне мог и пересмотреть свою позицию).

В книге помещены статьи, в которых мы пытаемся раскрыть ключевые для мировоззрения Ю. М. Лотмана категории смысла, его организации и манифестации — как в тексте, так и в истории. Это не должно быть популяризацией или же компиляцией цитат, а явится попыткой продолжить высказанные Лотманом мысли и найти для них соответствующий контекст, в котором они могут звучать по-новому. Договаривая то, что было по тем или иным причинам недосказано, как это и предполагал сам Ю. М. Лотман, можно заставить классические тексты говорить².

Собранные статьи — на пересечении жанров. Они — «из истории поэтики и семиотики» и вместе с тем задумываются как ответы на некоторые актуальные вызовы (по Лотману — история всегда актуальна). Поводом для написания каждой из них была проблема, уже поставленная Ю. М. Лотманом. В некоторых случаях это требовало лишь экспликации и систематизации уже сказанного им, в некоторых заочный диалог приводил к новой постановке вопроса, в некоторых мы конкретизировали ту или иную идею Ю. М. Лотмана на новом материале. Почти все статьи были опубликованы в научных сборниках, выпущенных в честь Ю. М. Лотмана или в память о нем и ориентированных на развитие лотмановского наследия. Тем не менее собранные воедино, они создают кумулятивный и синергетический эффект — показывая возможность «новой жизни» лотмановских идей.

² Ср.: «Ныне “Гамлет” — это не только текст Шекспира, но и память обо всех интерпретациях этого произведения и, более того, память о тех вне текста находящихся исторических событиях, с которыми текст Шекспира может вызывать ассоциации. Мы можем забыть то, что знал Шекспир и его зрители, но мы не можем забыть то, что мы узнали после них. А это придает тексту новые смыслы» [Лотман 1999б: 22].

Список, кому автор обязан принести благодарности, занял бы куда больше места, нежели список кораблей у Гомера. Приведу лишь те имена, без которых не было бы этой книги. В первую очередь, это Зара Григорьевна Минц и Юрий Михайлович Лотман — люди необычайной доброты и человечности. Возможность войти в их гостеприимный дом, быть свидетелем и участником их бесед, видеть, как они работают, думают, спорят, — это был академический опыт, куда ценнее, чем можно было получить в аудитории. При этом оба они в быту вовсе не были оторванными педантами, как принято изображать профессоров. В их доме не было телефона, поэтому шли к ним без договоренности и предупреждения. Лотманы жили на третьем этаже, на первом располагался венерический диспансер, очередь туда доходила до второго этажа. На удивление стоящим, я, не спрашивая «кто последний», гордо шествовал на третий. Будучи крайне занятыми, Юрий Михайлович и Зара Григорьевна могли долго просить извинения, что сейчас они не могут принять для академической беседы, но в то же время всегда настойчиво приглашали на кухню — вид иногороднего студента внушал им непреодолимую потребность его накормить.

Будучи сам блестящим полемистом, Юрий Михайлович ценил умение возражать. Ему скучно было слышать поддакивания. Он был открыт к диалогу, и его желание понять собеседника ликвидировало все статусные барьеры. Он не делал скидок ни на старость, ни на младость и всегда говорил на равных. Поэтому мог он и очень изящно и жестоко высмеять — в том числе и самого себя. Не будучи догматиком, легко мог принять точку зрения оппонента, «По неопытности, ей-богу, по неопытности», — смеясь, примерял он к себе в таких случаях слова Горюничего.

Именно этот опыт общения с Юрием Михайловичем позволил автору занять позицию не столько читателя книг Юрия Михайловича (и проигнорировать еще большее количество книг, написанных о нем), сколько собеседника, пытающегося заинтересовать (что греха таить — удивить) своего визави новыми идеями. С годами осознаю, как много я если и понимал, то крайне поверхностно и как мало, в сущности, мне есть что добавить. Единственное, что дает основание писать на эту тему и может оправдать меня в глазах Зары Григорьевны и Юрия Михайловича, — то, что

другие понимают еще меньше (если только...). Но это мне только кажется — по отношению к работам Ю. М. Лотмана не может быть какой-либо привилегированной позиции, хотя бы потому, что сам Лотман не признавал таковой и за собой — для него проблема всегда была открытой. И мне ни разу не довелось слышать от него «когда-то я уже писал об этом».

Благодарю моего друга и соавтора, Михаила Юрьевича Лотмана. Нам не удалось довести до завершения даже малой части задуманного вместе с ним — что мы амбициозно назвали общей теорией языков. Я до сих пор живу запасами того кладезя идей, которыми он щедро делился в 1975–1977 гг. (Отголоски этих идей можно найти и у Ю. М. Лотмана, в его наблюдениях относительно взаимодействия диаметрально противоположно организованных кодов [Лотман 1996]). Парадоксально, но нам так и не удалось написать ничего совместного — то, что напечатано, есть результат распределения разделов. Обычно же, после первой совместной страницы обнаруживались такие расхождения, что для их преодоления приходилось создавать еще одну теорию. Так, посвященные проблемам текста разделы — во многом результат дружеских пререканий относительно так и не написанного совместного доклада. Не возлагая на него ответственности за изложенное здесь, признаюсь, что многое продумано под его влиянием. Особая благодарность за его усилия по сохранению наследия Юрия Михайловича — это доступные для работы архив и библиотека Юрия Михайловича и Зары Григорьевны в Таллинском университете, это там же происходящие ежегодные международные Лотмановские чтения, а в серии специальной «Лотмановской серии» (*Biblioteca Lotmaniana*) публикуются архивные труды и исследования о Ю. М. Лотмане и З. Г. Минц (поразительно — при колоссальном объеме ими опубликованного как много интереснейших материалов оставалось и все еще остается в рукописном виде).

К сожалению, давно не имею сведений от другом моем друге и соавторе моей первой серьезной публикации, Игоре Аполлониевиче Чернове. Благодарен ему за то, что он ввел меня в мир московско-тартуской семиотики, его феноменальная эрудиция, риторическое мастерство и повадки задиры давали ему неоспоримые преимущества в любом споре: он легко доказывал, что то, что ты

говоришь, уже давно сказано и, более того, опровергнуто. Можно только сожалеть, что его талант лишь в ничтожной мере реализовался в его публикациях. Тщу надеждой, что в написанном здесь есть отголоски наших давних бесед, особенно по нереализованному проекту по социальной семиотике.

Особая благодарность — Эстонскому семиотическому фонду и его сотрудникам, а также Таллинскому университету. Благодаря полученной Лотмановский стипендии, в 2012 г. мне довелось семестр поработать в архиве и необъятной библиотеке Ю. М. Лотмана, в настоящее время перенесенных в Таллинский университет (замечу, что сам Юрий Михайлович к своим книжным полкам не подпускал, но если попросить — он сразу же находил нужную книгу и даже требуемое место по памяти открывал). Это стало стимулом вновь вернуться к в свое время невнимательно прочитанным трудам Лотмана, результатом чего стал ряд статей, написанных в последние годы и ставших основой предлагаемой книги.

Благодарен коллегам из Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта (Калининград), где созданы и замечательная атмосфера, и условия для научного творчества. Общение с калининградскими коллегами, их интерес к семиотике как к междисциплинарному стержню гуманитарного знания дали возможность лучше осознать, насколько востребована эта проблематика и какие направления ее развития представляют в настоящее время наибольший интерес.

Наконец, все задуманное осталось бы благими пожеланиями, не будь финансовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований и готовности к сотрудничеству со стороны издательства «Языки славянской культуры», которым автор выражает искреннюю признательность и благодарность. Особо хочу поблагодарить ведущего редактора Ирину Полосухину за работу над изданием рукописи.

Художник Ф. Марков

Дорогой Суря,
спасибо за добрые
письма и подарки
летом. Вам и
всем Вашим
всем самым
шестом в 82 году.
Видела Вас с
Минкой в
вечере для
schiffa, мне по
приятнее. Не
всего мне

Ваша: Ю. Поляков

375009

Индекс предприятия связи места назначения

АВИА



Куда

Таманян, 2-46,

Кому

Сур. Золему

Индекс предприятия связи и адрес отправителя ЭСР

202400
Тарту, Бурденко,
63-6 ЗМили-
Ю. Поляков

© Министерство связи СССР 1981

Раздел I



ТЕМЫ

1. ЮРИЙ ЛОТМАН О ТЕКСТЕ: ИДЕИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ

0. К постановке проблемы

Идеи Ю. М. Лотмана о тексте, казалось бы, хорошо известны и в популяризации не нуждаются. Один только обзор их упоминаний и обращений к ним мог бы стать предметом монографического исследования (поэтому мы предпочли не обращаться к этой теме). Однако, как это ни парадоксально, то, что было новаторским, до сих пор остается не только без какого-либо системного применения, но и, за исключением, пожалуй, ранних методик анализа поэтического текста, даже недостаточно освоенным. Ни в семиотике, ни в лингвистике, ни в теории литературы до сих пор нет обобщенного описания лотмановской концепции текста в ее соотношении с современными представлениями, нет и оценки их потенциала. Между тем именно эти идеи могут лежать в основе новой теории текста — они могут быть востребованы как при рассмотрении динамических и коммуникативных аспектов текста, так и для усовершенствования существующих и создания новых методик текстового анализа.

Признавая возможность иных подходов, мы выделили пять, на наш взгляд, ключевых пунктов лотмановской концепции.

1) Прагматические факторы и критерии выделения текста (ср.: [Лотман, Пятигорский 1968]): разграничение между текстом и не-текстом основано не на лингвистических или семанти-

ческих, а на прагматических (социокультурных) критериях. Это предполагает возможное развитие лотмановской теории текста с использованием теории речевых актов, перформативов, языковых игр и т. п.

2) Текст как принципиально многоязычный и мультисемантический объект. Согласно Лотману, любой текст порождается при помощи как минимум двух разнородных языков и в процессе функционирования допускает множественность интерпретаций. Отсюда и представление о тексте как многомерном семиотическом объекте. Возможно развитие этих идей на основе модальной семантики (семантики возможных миров).

3) Текст и читатель (адресат). Одна из определяющих для Лотмана идей — это активная роль адресата (или культуры-реципиента) в раскрытии семантического потенциала текста, с одной стороны, и роль текста в формировании читателя (культуры) — с другой. Это предполагает рассмотрение текста в процессе коммуникации, где перспективным представляется основанный на когнитивистике мультидисциплинарный подход.

4) Текст как динамический саморазвивающийся объект. Лотмановские определения текста весьма близки к его определениям интеллекта (сознания) и культуры (семиосферы). По сути, эта триада (*текст — интеллект — семиосфера*) представляет собой различные аспекты одного и того же явления, в котором каждый из членов триады взаимно определяет, создает и развивает другие. Такой подход закладывает основы новой семиотики — где наряду со знаком в качестве основного объекта описания появляется понятие текста, а основными подлежащими описанию процессами станут текстопорождение, интерпретация и коммуникация.

5) Текст как комплексное отношение (функция в математическом смысле) между тремя переменными: это состоящая из знаков композиция (т. е. текст в узком смысле слова), адресат и контекст; к ним можно добавить и четвертую переменную: язык (знаковую систему).

Каждый из этих пяти аспектов может быть представлен как самостоятельная теория, однако представляется более существенным сохранить лотмановское целостное видение проблемы и обратить внимание на их взаимосвязь и взаимообусловленность.

1. В поисках текста как объекта

Идеи Лотмана о тексте формировались на протяжении почти тридцати лет (1960–1990-е гг.). Это именно тот период, когда возникал и сам объект (текст как объект семиотического и лингвистического описания), и соответствующие дисциплины (лингвистика и семиотика текста, с некоторыми оговорками — дискурс-анализ). Безусловно, лотмановская концепция текста формировалась поэтапно. Она существенно видоизменялась, но вместе с тем можно выделить ее некоторую остающуюся стабильной основу, которая принимает окончательную форму в последних работах Лотмана. Впервые он обращается к проблеме текста еще в «Лекциях по структуральной поэтике», полемизируя с современными ему концепциями:

Но при всем том молча подразумеваются два положения: 1) текст художественного произведения — это сумма графических знаков; 2) художественное произведение реально дано нам как текст.

Постараемся показать, что оба понятия даны нам не как метафизическая, отдельная от истории «реальность», а как определенное, исторически данное субъектно-объектное отношение [Лотман 1994а: 203].

Все последующие работы Лотмана можно рассматривать как демонстрацию и экспликацию приведенного тезиса. Поэтому исследования 1980-х — начала 1990-х гг. помогают лучше понять круг вопросов и не всегда четкие формулировки статей 1960–1970-х гг.

Безусловно, формирование лотмановской концепции необходимо рассматривать в контексте лингвистики и семиотики текста того времени. Попытаемся обрисовать этот контекст, не претендуя на полноту (см. соответствующие обзоры в [Гиндин 1972; Николаева 1977; 1978]) и сосредоточиваясь лишь на тех концепциях, которые были релевантными в кругу Московско-тартуской школы.

Можно считать признанным тот факт, что на развитие лингвистики текста поэтика оказала значительное влияние. В первую очередь следует указать пионерскую работу В. Я. Проппа о структуре волшебной сказки [Пропп 1928] и осуществленное К. Леви-Стросом последующее развитие этой модели на материале мифа

[Lévi-Strauss 1955]. Весьма интересными, но, к сожалению, не получившими должного освещения и развития были работы В. В. Виноградова о «единоцелостных структурах» в художественной прозе [Виноградов 1930]. Что касается собственно лингвистики, то текст как объект лингвистического изучения начинает привлекать внимание только в 1950-х гг., притом лишь частично и поэтапно. Безусловно, сказывалась многовековая традиция, которую соссюрский структурализм лишь закрепил и обосновал, — текст как продуцируемый феномен, как продукт считался относящимся к речи, тогда как объектом лингвистики, согласно последнему предложению «Курса общей лингвистики», должен был быть «язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [Соссюр 1977: 269].

Неслучайно интерес к тексту в лингвистике возникает из необходимости расширения синтаксической теории. Это четко видно на примере ставшей знаменитой статьи З. С. Харриса [Harris 1952], считающейся первой и (якобы) заложившей основы лингвистики текста (хотя главным в ней скорее было понятие трансформации). Что касается текста, то Харрис предложил распространить дополненный трансформационным компонентом дистрибутивный анализ на последовательность из двух и более предложений. При таком подходе лингвистика текста стала представлять собой некоторый усложненный вариант синтаксиса сложного предложения, что, кстати, наглядно видно по терминологии, используемой в 1950–1970-е гг. в русистике (сверхфразовое единство, синтаксическая строфа, абзац, сложное синтаксическое целое и т. п. — ср.: [Гаспаров 1976]). Даже преодолев соссюрское ограничение на изучение синтаксиса, лингвистика тем не менее исходила из одного из его фундаментальных постулатов — о линейности означаемого. Поэтому текст мог быть представлен как постепенное конструирование из минимальных единиц усложняемых от уровня к уровню синтагм. Возникла иерархическая лестница: слово, словосочетание, простое предложение, сложное предложение, сверхфразовое единство и, как венец всему, текст.

Однако вне лингвистики изучение текста шло по иному пути. Для обращавшихся к проблеме текста фольклористов, антропологов, литературоведов, философов он был не конечным, а исходным объектом и рассматривался не как результат некоторой линейной

композиции, а как изначально данное целое. Между тем понимаемый как целое текст оказывается структурой не линейной, а многомерной — такой подход можно связать с работой Леви-Строса «Структура мифа» (хотя сам Леви-Строс термин «текст» не употребляет). Правда, в этом вопросе Леви-Строс оставляет приоритет за Проппом, считая, что в его «Морфологии волшебной сказки» содержатся основные компоненты новой теории текста как нелинейного (многомерного) объекта [Леви-Строс 1983: 107].

Опираясь на идеи Леви-Строса, П. Рикёр предложил путь возможного совмещения герменевтики и лингвистики. Это позволило ему разграничить два аспекта текста. Используя восходящее к Дильтею противопоставление *объяснения* и *понимания*, Рикёр рассматривает выявление и описание внутритекстовых синтагматических и парадигматических отношений (по аналогии с описанием предшествующих уровней) как модель *объяснения* текста, тогда как моделью его *понимания* будет описание текста как коммуникации между ним и читателем; автор после создания текста рассматривается Рикёром только как «первый читатель» [Ricoeur 1981]. (Это, кстати, было достаточно близко к лотмановскому пониманию, у которого автор может выступать и как «первоочитатель-редактор» [Лотман 2002: 21].)

Более радикальное разграничение между текстом как продуктом («произведением») и текстом как процессом (коммуникации и смыслопорождения) было предложено Роланом Бартом¹. Текст понимается как многомерное пространство:

¹ «Текст не следует понимать как нечто исчислимое. Тщетна всякая попытка физически разграничить произведения и тексты. <...> Различие здесь вот в чем: произведение есть вещественный фрагмент, занимающий определенную часть книжного пространства (например, в библиотеке), а Текст — поле методологических операций» [Барт 1989а: 414]. Заметим, что разграничение между текстом и произведением было намечено Лотманом еще в «Лекциях», но скорее лишь как маргиналия к основной теме:

...остановимся на отношении понятий «текст» и «художественное произведение». <...> Та историко-культурная реальность, которую мы называем «художественное произведение», не исчерпывается текстом. Текст — лишь один из элементов отношения. Реальная плоть художественного произведения состоит из текста (системы внутритекстовых отношений) в его отноше-

Ныне мы знаем, что текст представляет собой не линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочетаются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных источников [Барт 1989б: 388].

Именно к такому пониманию текста довольно близко подходит Лотман в работах 1980-х гг. (см. ниже), но в 1960–1970-х гг. он все еще больше ориентируется на подходы, принятые в лингвистике. Из существовавших к тому времени наиболее оптимальной для него оказывается концепция Р. О. Jakobsona; в ней можно увидеть не только гармоничный синтез лингвистики и поэтики, но и развитие органических для Лотмана идей ОПОЯЗа и формальной школы. Jakobson перенес метод бинарных оппозиций и уровневого анализа, т. е. метода, предназначенного для описания единиц языка, на анализ поэтических текстов. Именно эта методика стала основой для структурного анализа поэтического текста — рассматривались конфигурации, образуемые языковыми единицами различных уровней, причем такие, которые не были детерминированы языковой системой, и именно этот аспект рассмотрения был Лотманом значительно усилен [Лотман 1970; 1972; 1994].

Как видим, в отличие от лингвистики, в поэтике и культурной антропологии текст выступает как исходная единица. Он рассматривается как особая многоуровневая форма организации языковых структур и смыслов. Однако методологические рамки указанных дисциплин требовали, чтобы все это рассматривалось как особая форма, отличная от языковой и характерная только для особых типов текста — сказки, мифа, поэтических текстов. Укоре-

нии к внетекстовой реальности — действительности, литературным нормам, традиции, представлениям. Восприятие текста, оторванного от его внетекстового «фона», невозможно. <...> Изучать текст, приравнивая его к произведению и не учитывая сложности внетекстовых отношений, — то же самое, что, рассматривая акт коммуникации, игнорировать проблемы восприятия, кода, интерпретации, ошибок и т. д., сводя его к одностороннему акту говорения [Лотман 1994а: 201, 213].

К этому разграничению Лотман более не возвращается, перенося выделенные им характеристики «произведения» на текст.

нению такого взгляда способствовали и сами авторы этих теорий, настаивавшие на уникальности исследуемого объекта. Так, Леви-Строс приписывал подобные характеристики мифу, а сам миф считал организованным по своим особым правилам промежуточным явлением между языком и речью. Якобсон видел в этом проявление языка в поэтической функции, т. е. установки на выражение, при которой модифицируются основополагающие принципы языковой организации («наложение оси подобия на смежность»).

Лотман, насколько мы можем судить, был первым, кто стал рассматривать дополнительные по отношению к языку формы организации как необходимые признаки любого текста, а не только художественного или фольклорного. Думаем, в этом проявился его предыдущий научный опыт. Прежде всего, перед тем как освоить концепции, сложившиеся в лингвистике, поэтике и культурной антропологии, Лотман подходил к тексту как историк литературы и отчасти как текстолог. Таким опытом не обладал никто из вышеперечисленных теоретиков. Между тем это совсем особый взгляд на то, что такое «текст». Если для лингвистики и, с определенными уточнениями, для лингвистической поэтики в духе Якобсона «текст» — это максимальная единица, изолированная от других текстов и предполагающая только дальнейшее членение, то для историка литературы «текст» если и существует, то, пожалуй, как минимальная единица анализа, примерно как «вариант» мифа в леви-стросовской трактовке. Так, историк литературы может изучать либо литературу как историю, т. е. как хронологию событий, либо творчество писателя как нечто целое; он может сосредоточиться на некотором сегменте его творчества («раннее творчество Пушкина», «южные поэмы Пушкина») или же на его некотором аспекте («романтизм Пушкина», «эстетика Пушкина»). Возможны даже такие исследования, объект которых лишь опосредованно связан с автором и его текстами («отражение классово-борьбы в “Капитанской дочке”», «Пушкин и декабризм» и т. д.). Во всех этих случаях текст если и рассматривается как нечто особое, то как 1) нечто данное, 2) несамостоятельное и не отделенное от других текстов и 3) вспомогательное — подобно тому, как текстология есть вспомогательная литературоведческая дисциплина. Литературовед, в отличие от

лингвиста, свободен в выборе того, что считать объектом своего исследования — это могут быть все произведения одного автора или даже целого направления или же литературное произведение в шлейфе сопутствующих текстов — письма, черновики, дневниковые записи и т. д. Не актуальна и проблема отделения текста от не-текста — так, в исследовании на равных правах могут фигурировать законченное произведение и неосуществленный замысел, черновики и варианты произведения и т. п.² Поэтому для литературоведа столь естественно рассматривать синхронические и диахронические комбинации текстов (проблемы становления жанров, литературная борьба между различными направлениями и т. п.) или же парадигматические отношения между ними (типология жанров, взаимовлияние и т. п.). Отсутствие границы между текстом и не-текстом способствует тому, что исследователь может оперировать и субтекстовыми единицами в отрыве от текста (изучение рифмы или метафорики, идеологические схемы на основе отдельных цитат и т. п.). В дальнейшем Лотман обобщает подобный релятивистский подход к тексту: он есть отражение базисного свойства текста одновременно распадаться на субтексты и формировать надтекстовые комплексы. Однако вначале, когда он, в отличие от своих коллег — историков литературы, обнаружил, что текст — это «не метафизическая данность», а подлежащая объяснению проблема, его несколько смутила подобная неопределенность, легко перерастающая в произвольность. Именно опыт лингвистики и перенявших ее методы смежных гуманитарных наук помог ему увидеть этот пробел. При этом Лотман старался выразить свою точку зрения посредством цитат, подобранных так, что они воссоздают уже оригинальное, именно лотмановское видение вопроса. На словах «доброй завистью» за-

² Как было замечено Лотманом, «текст» в литературоведении интуитивно рассматривался не как нуждающееся в экспликации понятие, а как объективная реальность, в определенном отношении противостоящая «субъективизму» исследователя. Говоря об «общепризнанном, хотя и не сформулированном понятии литературоведов», он его описывает так: «...Текст — графически зафиксированное художественное целое (или фрагмент художественного целого)» [Лотман 1994а: 203].

виду лингвистам³, он сохранил именно «историко-литературное» подвижное понимание текста:

Изучение истории текста, само движение текстологии к анализу эволюции художественного замысла, его воплощения и дальнейшей судьбы привело к объемному и подвижному, а не мертво-буквалистскому наполнению этого понятия. «Текст произведения есть явление изменчивое, текучее», — писал Б. В. Томашевский [Лотман 1994а: 203]⁴.

Привлечение лингвистического инструментария позволяет Лотману заметить слабость «литературоведческого подхода»: оставаясь неопределяемым и тем самым неопределенным, терялся сам текст как объект описания. Как можно предположить, его усилия направлены на то, чтобы эта неопределенность была преодолена и переосмыслена. Из текстологии он берет понимание относительности понятия текста, которое стремится дополнить структурными характеристиками. И здесь, несмотря на весьма почтительный тон, Лотман констатирует, что современная ему лингвистика понимает текст совсем по-иному: скорее как не-текст. Приводя определение текста Л. Ельмслева, Лотман в своем комментарии показывает его внутреннюю противоречивость [Лотман 1994а: 201–202]: текст, по Ельмслеву, есть не единица языка (или речи), а полная синтагматическая реализация языка как системы, т. е. это нечто вроде речи-как-абсолюта (текст как бесконечная синтагма). Очевидно, что при таком понимании текст не может содержать ничего, кроме как манифестации регулярностей языковой системы. Не вступая в прямую полемику, этому подходу Лотман противопоставляет иной, и снова посредством цитаты: «А. М. Пятигорский подходит с иной точки зре-

³ «Если в современной лингвистической литературе происходит энергичное обсуждение содержания понятия “текст”, то литературоведение в этой области значительно отстало. Д. С. Лихачев в своем капитальном исследовании “Текстология” имеет все основания жаловаться: “Мне неизвестна ни одна советская текстологическая работа, в которой было бы обстоятельно рассмотрено основное понятие текстологии – «текст»» [Лотман 1994а: 201]. Цитата Лихачева приводится по: [Лихачев 1962: 116].

⁴ Цитата Томашевского приводится по: [Томашевский 1959: 87].

ния — текст представляется ему средством передачи информации» [Лотман 1994а: 202]. Безусловно, Лотман не мог не заметить и того, что в концепции Пятигорского текст рассматривается не как композиция его конститuentов, а как разновидность сигнала, т. е. неделимый знак [Пятигорский 1962].

Здесь Лотман невольно затронул крайне существенную для методологии лингвистики проблему — проблему преодоления соссюрдовской версии структурной лингвистики. Как мы уже упоминали, для Соссюра все, что выше лексического уровня, за несущественными исключениями есть сфера речи, а не языка. Именно Ельмслев последовательно реализовывал наиболее формализованную версию теории Соссюра (в отличие от Н. С. Трубецкого, Якобсона и Пражской школы, которые развивали эту теорию в функциональном ключе), и в этой концепции текст есть лишь синоним данного лингвисту материала для анализа. Но даже в тех направлениях, где появляется понятие текста как лингвистического объекта, путь к нему лежит от меньших единиц (предложений, сверхфразовых единств) к тексту. Лотман идет в противоположном направлении: от некоторой совокупности текстов (литература в целом, творчество Пушкина и т. д.) — к единичному тексту как объекту структурного анализа. Крайне примечательна мысль, которую Лотман «вычитывает» у Ельмслева: «Таким образом, каждый конкретный текст, привлекаемый исследователем, — лишь частица некоего абстрактного текста» [Лотман 1994а: 202], т. е. к единичному тексту можно идти не от совокупности текстов, а от некоторого текста как абстрактной модели, наподобие модели волшебной сказки у Проппа.

В поисках нового подхода к тексту Лотман был не одинок. Примерно в эти же годы Э. Бенвенист развивает принципы семиологии, отличной от соссюрдовской:

Ориентированная на решение семантических проблем «семиология второго поколения» должна преодолеть односторонность семиологического подхода <...>. Это преодоление должно идти в двух направлениях: во внутриязыковом (интралингвистическом) анализе — в направлении нового измерения означивания, означивания в плане речевого сообщения <...>. В надъязыковом (транслингвистическом) анализе текстов и художественных произведений — в направлении

разработки метасемантики, которая будет надстраиваться над семантикой высказывания [Бенвенист 1974: 88–89].

Однако показателен сам используемый Бенвенистом термин «транслингвистика»: даже для него самого это нечто, оставаясь в границах семиотики, уже выходит за рамки лингвистики. Лотман, особенно в 1960-х гг., искал в лингвистике необходимые ему методы, используя их, но не становясь их заложником.

Проекция высказанных в «Лекциях» идей на последующие работы помогает понять, что за коллажем цитат стоит прообраз еще не получившей окончательного оформления целостной оригинальной концепции, каждый компонент которой в той или иной степени уже был намечен как подлежащий дальнейшему развитию.

2. Формирование концепции

Идеи Лотмана о тексте уместно рассматривать не хронологически, а в соответствии с выделенными аспектами. В последовавших за «Лекциями» монографиях [Лотман 1970; 1972] фигурирует термин «текст», однако он появляется скорее как характеристика материала, который подлежит анализу (художественный текст), тогда как объектом анализа становится понятие «структуры», внутренней организации. Именно понятия «структуры» и «структурного метода» оказываются в центре внимания и в исследованиях, и в полемике вокруг них. Это несколько заслонило интенсивную работу Лотмана над уточнением того представления, которое уже было заявлено в «Лекциях»: текст есть определенное, исторически данное субъектно-объектное отношение. Работа над теорией текста есть одновременно и полигон для методологии новой семиотики: в первом томе лотмановских «Избранных статей» (Таллинн, 1992) соответствующий раздел озаглавлен «Текст как семиотическая проблема», хотя привычней было бы «Семиотика текста как проблема». Текст сам выступает как проблема, и выработка адекватного подхода к тексту и анализа его синтактики, семантики и прагматики и есть главная задача «семиологии второго поколения» (если воспользоваться формулировкой Э. Бенвениста).

Как можно было увидеть из ранее изложенного, Лотман, прямо не заявляя этого, уже в «Лекциях» отходит от лингвистиче-

ского понимания текста. В дальнейшем он приходит к необходимости разграничивать различные подходы и понимания, которые сводятся к постулированию: а) текста как лингвистического объекта; б) текста как семиотического объекта; с) текста как социокультурного явления. При таком рассмотрении текст предстает по-разному — так, наличия лингвистических признаков текстуальности еще недостаточно, чтобы некоторая композиция предложений (или каких-либо иных знаков) функционировала в социуме как текст, и, напротив, возможны тексты, лишенные лингвистических (семиотических) признаков текстуальности. Именно эта переходная ситуация — «текст \Leftrightarrow не-текст» — позволяет выделить дополнительные по отношению к языковой организации условия текстуальности:

Понятие текст в том значении, которое придается ему при изучении культуры, — отличается от соответствующего лингвистического понятия. Исходным для культурного понятия текста является именно тот момент, когда сам факт лингвистической выраженности перестает восприниматься как достаточный для того, чтобы высказывание превратилось в текст. Вследствие этого вся масса циркулирующих в коллективе языковых сообщений воспринимается как не-тексты, на фоне которых выделяется группа текстов, обнаруживающих признаки некоторой дополнительной, значимой в данной системе культуры, выраженности [Лотман, Пятигорский 1968: 75–76].

Обобщая характеристики этих различающихся аспектов, можно прийти к следующему пониманию. Текст — это гетерогенный (поликодовый), полифункциональный и мультисемантический объект. При этом необходимо добавить: это объект, который не дан сам по себе, а возникает как отношение. Соответственно, Лотман пытается совместить три понимания текста:

1) Текст как продукт (реализация) системы — Лотман постоянно возвращается к определению Ельмслева, всякий раз уточняя его, но в целом принимая как лингвистическую основу текстуальности⁵.

⁵ Так, Лотман даже находит способ, хотя и несколько спорный, приписать Ельмслеvu собственное понимание текста как организованного как минимум двумя знаковыми системами:

2) Текст как сигнал — Лотман использует предложенное Пятигорским определение, развивая названные им впоследствии «риторическими» [Лотман 1992в: 168] такие характеристики, как целостность и снятие знаковости (ситуативность, снижение степени символичности и увеличение индексальности и иконичности; сводимость к поведенческим моделям посредством речевых актов и перформативности).

3) Текст не как данное, а как отношение или функция. При этом подобное релятивистское понимание текста не приводит к субъективизму, поскольку дополняется тем, что должны быть указаны условия текстуальности: а) внутритекстовые и языковые, описывающие внутреннюю организацию единиц внутри текста; б) интертекстуальные, определяющие необходимую для текста соотношенность с другими актуальными и потенциальными текстами; с) прагматические, определяющие сами условия функционирования текста и его восприятия как такового. Комплекс прагматических условий можно считать определяющим фактором. Сформулированное в «Лекциях» понимание текста как отношения дополняется сформулированным в сотрудничестве с Пятигорским понятием функции [Лотман 1966; 1986; 1999б; Лотман, Пятигорский 1968].

3. Текст и функция

Соотнесенность между текстом и функцией — это ядро концепции Лотмана — Пятигорского. Она сформулирована как система взаимосвязанных тезисов:

Определение текста, даваемое в плане семиотики культуры, лишь на первый взгляд противоречит принятому в лингвистике, ибо и там текст фактически закодирован дважды: на естественном языке и на метаязыке грамматического описания данного естественного языка. Сообщение, удовлетворяющее лишь первому требованию, в качестве текста не рассматривалось <...>. Парадоксально, но известная формула Ельмслева, определившая текст как «все, что может быть сказано на датском языке», фактически понималась как «все, что может быть написано на правильном датском языке». Введение же устной речи в круг лингвистических текстов подразумевало создание специального метаязыкового для нее адекватного [Лотман 1981а: 3].

1. Функция текста определяется как его социальная роль, способность обслуживать определенные потребности создающего текст коллектива.

2. Функция — взаимное отношение системы, ее реализации и адресата-адресанта текста.

3. Культура рассматривается как совокупность текстов. Тогда функция будет выступать по отношению к текстам как своего рода метатекст.

4. Культура рассматривается как совокупность функций, и текст будет выступать исторически как производное от функции или функций.

5. «Быть романом», «быть документом», «быть молитвой» означает реализовывать определенную культурную функцию и передавать некоторое целостное значение.

6. Текст вполне может быть определен если не логически, то по крайней мере операционально, с указанием на конкретный объект, имеющий собственные внутренние признаки, не выводимые из чего бы то ни было, кроме него самого. В то же время функция является чистым конструктом, тем, в смысле чего возможно истолковать тот или иной текст или в отношении чего те или иные признаки текста могут быть рассмотрены как признаки функции (см.: [Лотман 1966; Лотман, Пятигорский 1968]).

При очевидной взаимосвязанности этих тезисов каждый из них вполне самостоятелен и может быть развит вне зависимости от других. Более того, между ними можно усмотреть определенные несоответствия. Так, очевидно, что слово «функция» употреблено в различных значениях. В первом тезисе функция — это социальная роль, во втором — отношение, в третьем — метатекст, в пятом — инструмент. В шестом тезисе функция — это скорее механизм (или система правил) интерпретации или метаописания. В ряде случаев трудно определить, что имеется в виду — абстрактное отношение, функция в математическом смысле или социальное предназначение. Безусловно, такая многозначность может быть рассмотрена как адекватное отображение многоаспектности понятия «текст» и создает дополнительные возможности для интерпретации приведенных тезисов. Но помимо многозначности / многоаспектности понятия функции есть

и определенное противоречие между тем, что есть текст: согласно второму тезису, функция (а стало быть, и текст, рассматриваемый как функция) есть производное, или значение в математическом смысле, функции от ее аргументов (переменных): системы, ее реализации и адресата–адресанта текста. Однако, согласно четвертому тезису, текст есть производное (неясно, в каком смысле, но явно не в математическом) от инструментальных функций (что подтверждается пятым тезисом). Наконец, в шестом тезисе текст рассматривается как имманентный объект, невыводимый из чего-либо, кроме него самого (что явно противоречит второму тезису). Различны, если вообще совместимы, определения текста, приводимые в тезисах 3 и 4. В первом из них *культура рассматривается как совокупность текстов*, и, стало быть, именно тексты ее формируют, а во втором *культура рассматривается как совокупность функций*, а тексты выступают как *производное* от них (что весьма логично, почему и несколько непонятно уточнение — «исторически»). Думаем, стоит уточнить тезис третий (приведя его в соответствие с родственным ему шестым): функция не может быть метатекстом, поскольку метатекст есть совершаемое по определенным правилам (это — метаязык) преобразование текста, т. е. некоторая функция от текста в математическом смысле, приписывающая элементам текста некоторые метатекстовые значения. С такими уточнениями между тезисами 3 и 4 устанавливается зеркальная симметрия: *культура есть совокупность текстов*, а функция — способ порождения новых (мета) текстов; *культура рассматривается как совокупность функций*, и текст есть принимаемое ими значение (в математическом смысле). Или же — способ порождения новых функций (если совместить с тезисом 2 и рассматривать текст как отношение). Как видим, предлагаемая система допускает различные пути ее расширения и развития, хотя и требует определенных уточнений. Во многом это было реализовано Лотманом в дальнейшем. При обращении к этой проблематике имеет смысл разграничить, как то было сделано им самим, два исследовательских объекта: а) текста как функции и б) функции текста.

4. Текст как функция

Если текст не есть некоторая данность, то что же делает нечто текстом? Очевидно, что ответ на этот вопрос предполагает выход за пределы текста, и тогда характеристики текстуальности, хоть и связаны с текстом, будут лежать вне его самого. Видимо, подобная логика приводит к тому, что Лотман (совместно с Пятигорским) от рассмотрения внутренней организации текста переходит к его прагматике. Разграничение между текстом и нетекстом основано не на лингвистических или семантических, а на прагматических (социокультурных) критериях, которые оказываются в зависимости от прагматических, точнее, функциональных характеристик:

Говоря о недостаточности семантического или синтаксического анализа текста, мы противопоставляем им не прагматический, а функциональный подход. Рассуждение строится не так: «Природа текста определяется не семантикой и синтактикой, а прагматикой», а так: «Изменение функции текста придает ему новую семантику и новую синтактику» [Лотман 1966: 85].

Как видим, прагматические характеристики рассматриваются как влияющие на иные, в первую очередь семантические. Почему Лотман счел необходимым переформулировать «прагматику» на «функцию»? Как представляется, ответ можно найти уже в одной из последних работ, «Культура и взрыв», где «функциональный подход» вновь предстает как основанный на понятии отношения: текст — это отношение между адресатом, адресантом, сигналами текстуальности и системой (добавим последний компонент, взяв его из ранее приведенного второго тезиса):

Текст мыслится не как некоторый стабильный предмет, имеющий постоянные признаки, а в качестве функции; как текст может выступать и отдельное произведение, и его часть, и композиционная группа, в конечном итоге — литература в целом. Дело здесь не в том, что в понятие текста вводится понятие расширения. Современная точка зрения опирается на представление о тексте как о пересечении точек зрения создателя текста и аудитории. Третьим компонентом является наличие определенных структурных признаков, определяемых как сигналы текста. Пересечение этих трех элементов создает оптималь-

ные условия для восприятия объекта в качестве текста. Однако резкая выраженность некоторых из этих элементов может сопровождаться редукцией других [Лотман 1992а: 179].

Текст предстает как функция (в математическом понимании), где прагматика (создатель текста и аудитория) задает две из трех переменных. Как видим, это конкретизация раннего определения текста как субъектно-объектного отношения, причем очень важно указание на возможную редукцию одного из компонентов. Например, редуцированным может быть сам текст (скажем, белый лист бумаги в определенных условиях может выступать как текст; с другой стороны, отсутствие печати в определенных ситуациях делает текст недействительным, т. е. не-текстом)⁶. Однако если отвлечься от этих экстремальных случаев, подлежит объяснению то, что текст выступает и как функция от трех (или четырех — если учитывать систему) аргументов, и как один из аргументов. Каким образом можно вводить в рассмотрение как аргумент то, что предлагается рассматривать как значение функции? Можно предложить следующее объяснение.

Лотман говорит не о тексте, а о «сигналах текста», что пришло на смену используемых ранее выражений («реализация системы», «конкретный объект, имеющий собственные внутренние признаки, не выводимые из чего бы то ни было, кроме него самого»). Между тем «сигналы текста» (вспомним, что, по Пятигорскому, и сам текст есть сигнал) — это не характеристики его внутренней организации (например, связности), а такие признаки, как перформативность (авторы называют этот признак «авторитетностью») и модифицированная референциальная семантика (истинность / ложность как отношение между миром и высказыванием преобразуется в истинность как свойство текста). Первое условие определяет существующие в социуме «удачные условия» (*felicitous conditions*) функционирования текста:

⁶ Ср.: «Текст вообще не существует сам по себе, он неизбежно включается в какой-либо (исторически реальный или условный) контекст. Текст существует как контрагент внетекстовых структурных элементов, связан с ними как два члена оппозиции» [Лотман 1994а: 204].

Если сопоставить два совпадающих на лингвистическом уровне высказывания, из которых одно в системе данной культуры удовлетворяет представлениям о тексте, а другое — нет, то легко определить сущность текстовой семантики: одно и то же сообщение, если оно является письменным договором, скрепленным клятвой, или просто обещанием, исходит от лица, высказывания которого по его месту в коллективе являются текстами, или от простого члена сообщества и т. п., — получает при совпадении лингвистической семантики разную оценку с точки зрения авторитетности [Лотман, Пятигорский 1968: 78].

Здесь, видимо, можно добавить, что следует разграничить понятие «ложного» текста и «неправильного». «Неправильный» («неприемлемый») текст, в отличие от неправильного высказывания, — это, видимо, не столько ложный текст и вовсе не «неправильно построенный текст», сколько текст, не функционирующий как «истинный», тогда как ложность и правильность предложения / высказывания — принципиально отличные аспекты (семантические характеристики могут быть предопределены структурными только в формальных языках). Говоря об *истинности* / *ложности* текста, следует оговорить, что в той трактовке, которая предлагалась Лотманом и Пятигорским, это не столько семантическое, сколько прагматическое отношение, касающееся адекватного функционирования текста в определенном социокультурном контексте. Но при этом сама прагматическая «адекватность» / «неадекватность» текста оказывается в зависимости от механизмов семантизации (ср., к примеру, официальные и диссидентские толкования Конституции СССР в 1980-е гг. Подробнее см. в подразделе 6. «Бесконечный лабиринт сцеплений», с. 179–181).

Поэтому столь естественным оказывается привлечение второго определяющего признака — референциально-семантического, а именно условия обязательной истинности текста:

В той сфере, в которой данное высказывание выступает как текст (стихотворение не выступает как текст при определении научной, религиозной или правовой позиции коллектива и выступает как текст в сфере искусства), ему приписывается значение истинности. Обычное языковое сообщение, удовлетворяющее всем правилам лексико-грамматической отмеченности, «правильное» в языковом отношении и не заключающее ничего, противоречащего возможно-

му по содержанию, может, тем не менее, оказаться ложью. Эта возможность для текста исключается. Ложный текст — такое же противоречие в терминах, как ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст, а разрушение текста [Лотман, Пятигорский 1968: 78].

При этом, как то характерно для лотмановского концептуального подхода, этот аспект текстуальности неразрывно связан с другим. Истинность и ложность, в отличие от традиционной семантики, понимаются не как отношение между высказыванием или миром, а как прагмасемантическое интертекстуальное отношение — положение текста в некоторой характерной для этой культуры иерархии текстов:

Поскольку тексту приписывается истинность, наличие текстов подразумевает «точку зрения текстов» — некоторую позицию, с которой истина известна, а ложь невозможна. Описание текстов данной культуры дает нам картину иерархии этих позиций. Можно выделить культуры с одной, общей для всех текстов, точкой зрения, с иерархией точек зрения и с некоторой сложной их парадигмой, чему будет соответствовать ценностное отношение между типами текстов [Там же: 78–79].

Как видим, Лотман и Пятигорский предполагают, с одной стороны, отсутствие у текста истинностного значения — по крайней мере в том логико-семантическом понимании, которое начиная с Фреге прилагается к предложению / высказыванию, — но с другой — текст должен восприниматься как (необходимо?) истинный. Пытаясь определить, что есть «сигналы текста», мы приходим к необходимости выйти за пределы текста. Но в результате мы вновь приходим к текстуальной реальности (культуре). Она будет выступать как нечто внешнее по отношению к некоторому тексту, хотя сама образована и организована как иерархизованное пространство текстов⁷. Здесь можно привести суждение, высказанное

⁷ «С точки зрения изучения культуры, существуют только те сообщения, которые являются текстами. Все прочие как бы не существуют и во внимание исследователем не принимаются. В этом смысле можно сказать, что культура есть совокупность текстов или сложно построенный текст» [Лотман, Пятигорский 1968: 82].

Лотманом применительно к художественному тексту, но, видимо, характерное для всех типов текстов:

Вся совокупность исторически сложившихся художественных кодов, делающая текст значимым, относится к сфере внетекстовых связей [Лотман 1970: 60].

Таким образом, совокупность кодов и есть тот конструкт, который выступает как функция и делает некоторые характеристики текста сигналами текстуальности. Как мы убедимся, при рассмотрении проблемы адресата имманентный и функциональный подходы к тексту образуют взаимозависимую пару: имманентный характеризует сам текст, а функциональный — отношение «читатель — текст». Возникает вопрос — а откуда берется сам текст? (Впрочем, по Лотману, и автор, и читатель, и коммуникативные акты его актуализации — все это содержится в тексте, образуя его память.) Текст, с одной стороны, задает и автора, и читателя, а с другой — порождается отношением между ними. Это и аргумент функции, и сама функция. Функция создает текст, но и текст создает функцию («система текстовых значений определяет социальные функции текстов в данной культуре»); одно определяет другое. Но выясняется, что и (социальная) функция, и текст могут отделяться друг от друга: «Возможность отделения функции от текста подводит нас к выводу о том, что описание культуры как некоторого набора текстов не всегда обеспечивает необходимую полноту» [Лотман, Пятигорский 1968: 87].

Это не противоречие, это скорее принцип дополнительности. Можно заметить, что, характеризуя текст, его признаки, функции и т. д., Лотман и Пятигорский определяют текст и функцию не как дизъюнкцию, а как конъюнкцию. Это не «или — или», а «ни то, ни это» или же — «и то, и это». Это видно на примере употребления слова «функция» — оно выражает значения, которые могли показаться если и не противоречащими, то разноплановыми: социальная функция, математическая, инструментальная; в дальнейшем к этому набору различных значений прибавится еще одно — понятие функции в биологическом смысле, когда текст будет уподоблен организму. Употребленное в различных значениях понятие «функ-

ция» становится иконическим воплощением многоаспектности текста и его различных характеристик.

У Лотмана текст иногда предстает как единственная реальность, а все остальные понятия — культура, язык, функция — выступают как его производные. Но, описывая признаки («сигналы») текстуальности, Лотман использует это понятие уже как детерминированное культурой, языком, функцией, хотя это и разные типы реальности: «Но это вполне реальные связи. Понятие “русский язык” не менее реально, чем “текст на русском языке”, хотя это реальности разного типа и методы изучения их будут тоже различны» [Лотман 1970: 60]

5. Функции текста

При инструменталистском понимании текст рассматривается как инструмент, служащий для передачи, преобразования / создания и хранения информации. Этому соответствует триада функций. Это сравнительно традиционный аспект рассмотрения текста. Лотман начинал, когда господствовало представление о готовом смысле, которому надо придать лингвистическую форму (или, в антиинструменталистском варианте американской лингвистики, смысл есть некоторая ситуация, которая отображается в тексте). Безусловно, в 1960-х гг. само внимание к семантике и ее описание лингвистическими средствами было революционным шагом и стало основой для дальнейшего развития новой лингвистики. В СССР эта новая тенденция получила оформление в виде предложенной И. А. Мельчуком и А. К. Жолковским теории (модели) «Смысл ↔ Текст», перспективность которой доказана и временем. Ответвлением этой модели применительно к поэтике в конце 1970-х гг. становится модель «Тема ↔ Текст» [Жолковский, Щеглов 1996]. Подобный подход принимается Лотманом, но как описывающий лишь одну из функций текста: передачу некоторого «как бы» существующего до текста смысла. Текст в таком случае понимается исключительно как носитель («упаковка») смысла. К такому пониманию функции текста (видимо, считая его «лингвистическим») Лотман добавляет и не имеющее ничего общего с семантикой ель-

мслевское определение текста как реализации системы, не заботясь о разноплановости этих определений:

Текст в этом случае — некий пассивный носитель вложенного в него смысла, выполняющий роль своеобразной упаковки, функция которой — донести без потерь и изменений (всякое изменение есть потеря) некоторый смысл, который в абстракции предполагается существующим еще до текста. В структурном отношении текст в данном его аспекте — материализация языка: все, что нерелевантно для языка, является в тексте случайным и не может быть носителем смысла [Лотман 1992б: 25–26].

Эта функция не интересует Лотмана, и, говоря о ней, он скорее акцентирует ее недостаточность. Она используется как то, что нужно учитывать, но на чем нельзя основывать теорию (что касается модели «Тема ↔ Текст», то здесь ситуация иная: Лотман считает экстраполяцию подобного подхода на художественные тексты не только недостаточной, но и ошибочной). Куда больше его привлекают две другие функции:

Ситуации, когда целью коммуникационного акта является выработка новой информации. Здесь ценность системы определяется нетривиальным сдвигом значения в процессе движения текста от передающего к принимающему. Нетривиальным мы называем такой сдвиг значения, который однозначно не предсказуем и не задан определенным алгоритмом трансформации текста. Текст, получаемый в результате такого сдвига, мы будем называть новым. Возможность образования новых текстов определяется как случайностями и ошибками, так и различием и непереводаемостью кода исходного текста и того, в направлении которого совершается перекодировка. <...> Это исключает возможность при обратном переводе получить исходный текст, что и есть механизм возникновения новых текстов [Там же: 26].

Безусловно, это новаторская постановка вопроса: в процессе коммуникации текст порождает новый текст. Однако сходные идеи о том, что *всякое понимание есть непонимание*, можно найти начиная со Шлейермахера и Гумбольдта; как их реализацию можно рассматривать и разграничение между иллокутивными и перлокутивными значениями («силами») в теории речевых актов, и даже разграничение между референцией гово-

рящего и референцией слушающего. Подход Лотмана несколько отличен: он видит в этом не просто характеристики коммуникации и интерпретации (понимания), а непосредственно свойства текста как системы:

Всякая осуществляющая весь набор семиотических возможностей система не только передает готовые сообщения, но и служит генератором новых.

Комбинация переводимости — непереводимости (с разной степенью того и другого) определяет креативную функцию <...>. Поскольку смыслом в данном случае оказывается не только тот инвариантный остаток, который сохраняется при разнообразных трансформационных операциях, но и то, что при этом изменяется, мы можем констатировать приращение смысла текста в процессе этих трансформаций [Лотман 1996: 16–17].

Что же касается третьей функции — быть конденсатором культурной памяти, — то это не имеющая каких-либо аналогий в семиотике (разве что в поэзии) новая постановка вопроса⁸:

Третья функция текста — функция памяти. Текст — не только генератор новых смыслов, но и конденсатор культурной памяти. Текст обладает способностью сохранять память о своих предшествующих контекстах. Без этого историческая наука была бы невозможна, так как культура (и шире — картина жизни) предшествующих эпох доходит до нас неизбежно во фрагментах. Если бы текст оставался в сознании воспринимающего только самим собой, то прошлое представлялось бы нам мозаикой несвязанных отрывков. Но для воспринимающего текст — всегда метонимия реконструируемого целостного значения, дискретный знак недискретной сущности. **Сумма контекстов, в которых данный текст приобретает осмысленность и которые определенным образом как бы инкорпорированы в нем, может быть названа памятью текста** (выделено нами. — С. 3.). Это создаваемое текстом вокруг себя смысловое пространство вступает в определенные соотношения с культурной памятью (традицией), отложившейся в сознании аудитории. В результате текст вновь обретает семиотическую жизнь [Там же: 21–22].

⁸ Говоря о «памяти текста», Лотман ссылается на бахтинское понятие «память жанра», однако эти два термина определяются и понимаются весьма по-разному.

Конечно, то, что память человечества сохраняется благодаря текстам, — общеизвестно. Но Лотман акцентирует другое: это память не только о событиях, которые зафиксированы в тексте (т. е. сфера действия первой функции), но и о контекстах актуализации этого текста, которые также являются событиями, включающими в том числе и референцию к тем контекстам, о которых повествует текст.

6. Текст как поликодовый и мультисемантический объект

Реализация вышеописанных функций текста (смыслопорождения и конденсации памяти) требует определенных семиотических механизмов. Если функция конденсации памяти в настоящее время еще недостаточно разработана, чтобы ее можно было свести к непосредственно описываемым характеристикам текста, то экспликация функции и механизмов генерации смыслов может уже сейчас стать одним из ключевых элементов новой семиотической (а тем самым и лингвистической) теории. Описание процесса генерации смысла с необходимостью затронет и внутритекстовые механизмы, и структуры его организации. То, что текст может допускать различные интерпретации, — это было известно еще со времен романтической герменевтики (если не средневековых экзегетики и гомилетики). Однако принципиально новой следует считать идею, что текст выступает как механизм порождения новых смыслов. Безусловно, для подобного подхода основой стала поэтическая семантика. Подобная теория текста строилась, учитывая как эталонный случай не «минимум условий», а их «максимум» (как в свое время предлагал подходить к вопросам семантики Тынянов), поэтому «минимальные условия» следует рассматривать как частный (если не вырожденный) случай. Речь идет не о том (или не только о том), что текст может иметь множество сосуществующих значений, а о его потенциальной бесконечности и отсутствии предельных параметров — всякий раз возможно добавление новых смыслов при сохранении предыдущего множества:

Механизм игрового эффекта заключается не в неподвижном, одновременном сосуществовании разных значений, а в постоянном сознании возможности других значений, чем то, которое сейчас при-

нимается. «Игровой эффект» состоит в том, что разные значения одного элемента не неподвижно сосуществуют, а «мерцают». Каждое осмысление образует отдельный синхронный срез, но хранит при этом память о предшествующих значениях и сознание возможности будущих [Лотман 1970: 28].

Поскольку элементы текста фиксированы, то подобное приращение смыслов актуализируется не за счет изменения компонентов текста, а благодаря множественности кодов его семантизации. Безусловно, такая особенность характерна прежде всего для художественных текстов. Рассматривая функционирование текста в социокультурном контексте, Лотман в ранних статьях даже считал нужным отграничить текст как феномен культуры от текста как лингвистического феномена. Однако он достаточно быстро отказался от этого — признав в том числе и за лингвистическим пониманием текста пусть и меньшую, но принципиальную множественность кодирующих механизмов (как минимум — двух). В таком случае текст не может быть рассмотрен как реализация какого-либо одного языка: «Текст <...> богаче и сложнее любого из языков, поскольку представляет собой устройство, в котором сталкиваются и соплагаются языки» [Лотман 1992б: 26–27].

Это «соположение» языков не приводит к их креолизации, для характеристики взаимодействия между ними Лотман предпочитает использовать понятие перевода («наличие двух языков, достаточно близких, чтобы перевод был возможен, и настолько далеких, чтобы он не был тривиальным» — [Там же: 26]), что приводит его к следующему пониманию структуры текста:

Таким образом, минимальной структурой текста будет наличие двух семиотически автономных субтекстовых образований и объединяющей их семиотической метаструктуры. Триединство этого механизма, то, что каждая из его частей, в определенном смысле, может функционировать как вполне самостоятельная, и одновременно все они, в другом аспекте, образуют нерасчленимое функциональное единство, представляется фундаментальным его свойством [Лотман 1982: 4].

В несколько иной связи Лотман уточняет: вопрос не только в множественности кодов, но и в их принципиально иной организации. Текст выступает одновременно и как целостный недискрет-

ный знак (сигнал), и как конфигурация дискретных единиц. Аналогично, как сочетание дискретных и недискретных механизмов, организована и структура текста [Лотман 1992б: 29].

Обращаясь к понятию текста, Лотман неизменно подчеркивает его динамическую природу, смыслопорождающий потенциал и семиотическую разнородность / поливалентность. Вместе с тем следует оговорить, что, акцентируя принципиальную гетерогенность текста и видя в этом механизм смыслообразования, Лотман всякий раз указывает и на наличие механизмов структурирования и синтеза взаимонепереводимых кодов (поэтому, как правило, у него возникают напоминаящие гегелевские триады «триединые модели» — [Там же: 30]). Напомним, что в 1980-е гг. акцентирование гетерогенности и семантической множественности звучало как полемика с лингвистикой текста, редуцирующей или же игнорирующей содержательные и функциональные аспекты текста. В настоящее время ситуация — особенно в некоторых версиях дискурс-анализа — разительно изменилась. Последующие исследования лишь частично смогли стать развитием этих идей, поскольку вольно или невольно упускали из виду крайне важный для Лотмана компонент — структурированность текста. Предусмотренные Лотманом механизмы интертекстуализации, контекстуализации или же деконструкции в их современной трактовке, по сути, растворяют текст как структурный и смысловой объект в бесконечном и аморфном семиозисе, а дискурс-анализ либо разбивает текст на составляющие компоненты, даже не пытаясь затем собрать его воедино, либо вовсе отказывается от лингвистического субстрата, в том числе и от понятия текста. Между тем неограниченная семиотическая разнородность текста мыслилась Лотманом как всякий раз достигаемое динамическое равновесие между различными текстовыми структурами: «Текст есть момент равновесия между тенденцией функционального распадаения его на два или несколько текстов и полной унификации как внутренне однородного» [Лотман 1982: 4]. Действительно, если не учитывать создающие указанную «однородность» факторы внутренней организации текста и абсолютизировать ее тот или иной (например, интертекстуальный или контекстуальный) аспект, становится ненужным и само понятие текста: он перестает существовать как структурная единица.

Безусловно, механизм смыслопорождения, понимаемый как внутритекстовый, должен определенным образом соотноситься с функционированием текста, о чем шла речь в предыдущем разделе. Поэтому работа «генератора смысла» требует определенного выхода за пределы текста. Не отказывая в значимости экстра- и интертекстуальным факторам, попытаемся рассмотреть лишь один, но наиболее существенный для функционирования текста аспект — его множественную референциальную семантику, или, говоря словами Лотмана, его «сцепление с реальностью». Если, огрубляя, считать, что мир дан и не может изменяться в зависимости от текстового описания, то нет никаких оснований говорить о множественной референции (если только сделать исключение для поэтических высказываний, признав за ними референцию к вымышленным мирам). Между тем Лотман намечает следующее решение:

Вопрос о «сцеплении» текстов с реальностью не должен трактоваться примитивно. Речь может идти не только о соотношенности тех или иных текстов с определенной реальностью, а о складывании определенных текстовых пластов в замкнутые миры, которые в целом соотносятся тем или иным образом с внесемиотической реальностью [Лотман 1983: 28].

Представляется, что такой подход позволяет соотнести идею «генератора смысла» с идеей «сцепления с реальностью», для чего можно прибегнуть к аппарату модальной семантики. Говоря о семантике текста, следует учитывать ее принципиальное отличие от семантики других единиц языка. Было бы неверным рассматривать его как композицию предложений. Во-первых, в отличие от высказывания, текст не имеет фиксированной прагматематики, он не привязан к определенному коммуникативному контексту: в принципе возможен любой контекст, но ни один не является необходимым. Во-вторых, это отмеченное Лотманом и Пятигорским отсутствие у текста истинностного значения — по крайней мере в том понимании, которое начиная с Фреге прилагается к предложению, — и в то же время восприятие текста как (необходимо?) истинного. В-третьих, это вышеупомянутая многозначность, принципиально отличная от многозначности предложения / высказывания: она определяется не возможностью различных интерпретаций, а «генерированием смыслов».

При этом текст подлежит семантизации, предполагающей соотнесение с определенными областями референции (правомочен вопрос: «О чем этот текст?»). Это предполагает описание текста как бинарного отношения (функции, механизма соотнесения) между множеством возможных миров и множеством возможных контекстов, причем таких миров и контекстов, при которых значение составляющих текст высказываний будет принимать значение «истинно». Тем самым текст выступает как своеобразный аналог понятия модели в логике (см. ниже).

Это позволяет уточнить приведенный в предыдущей главе тезис Лотмана — Пятигорского: текст, понимаемый как смыслопорождающий механизм, не может быть истинным или ложным, но при этом порождаемые этим механизмом бинарные формулы («текст» \Leftrightarrow «мир — контекст») таковы, что составляющие текст пропозиции «как бы» по определению принимают значение «истинно». Видимо, здесь следует ввести разграничение между областью смыслов текста — это и есть генератор, или схема создания, новых смысловых структур [Золян 1982], — и областью значений, которые соотносятся с порождаемыми этим генератором структурами. Это возможные значения текста, такие области референции, при которых он, соотносясь с определенными контекстами, принимает значение «истинно». Как область референции (интерпретации), задается не один мир, а их система — отражающиеся друг в друге и искажающие друг друга зеркала, и описанием такой реальности оказывается не одно из них, а именно вся их совокупность, в логике и лингвистике называемая модальной семантикой, или семантикой возможных миров. Тем самым текст предстает как такая языковая структура, которая сама по себе не имеет ни фиксированной референции, ни фиксированного контекста, но которая в то же время задает такое отношение между возможными контекстами и областями референции (мирами), при каком текст не может принимать значение «ложно». Это значит, что определяемые этим текстом различные возможные миры и контексты соотносимы между собой таким образом, чтобы определенному множеству миров соответствовали только такие контексты, в которых текст и составляющие его языковые единицы осмысленны и не являются ложными (они могут быть не

только истинными, но и возможно-истинными или же неопределенными). В противном случае, следуя подходу Лотмана — Пятигорского, эта языковая структура перестает функционировать как текст, становясь набором предложений.

Формализацией идеи о принципиальной множественности семантики текста может послужить выработанное в модальной логике понятие «модельной структуры» С. Крипке ([Крипке 1974; 1981; подробнее см.: Золян 2013], помещено в разделе «Бесконечный лабиринт сцеплений» настоящего издания), когда языковым выражениям приписываются их значения в различных областях интерпретации (возможных мирах, или моделях). При этом существенно, что между этими мирами существуют разные отношения достижимости, задаваемые так называемой модельной структурой, которая предполагает множество различных межмировых отношений помимо наиболее очевидного отношения «мир текста — актуальный мир». Такое согласование между смыслом и значением текста приводит к тому, что к тексту примысливается некоторый мир и контекст (причем это могут быть разные миры и контексты), такой, чтобы удовлетворять условиям истинности для этого текста, а не наоборот (как если бы текст получал истинностную оценку в каждом из возможных миров).

Для обозначения этого фундаментального отношения вместо привычного термина «референция» Лотман использует новое выражение «сцепление с реальностью». Можно предположить, что привычное понимание референции применительно к тексту оказывается неудовлетворительным, поскольку описывает референцию слова (знака) и высказывания (пропозиции, предложения). Между тем референция текста носит модальный характер, предполагающий «складывание определенных текстовых пластов в замкнутые миры», что, как сказано выше, может быть эксплицировано посредством понятия модельной структуры: с внесемiotической реальностью соотносится некоторый семантический комплекс («текстовый пласт»). И здесь, как представляется, лотмановское понимание «сцепления с реальностью», как и само это выражение, явно навеяно цитируемой в [Лотман 1970: 18] известной мыслью Л. Н. Толстого о тексте как «бесконечном лабиринте сцеплений» (см. с. 176 наст. изд.).

Примечательно, что сам Толстой, как нам кажется, под семантикой романа «Анна Каренина» понимал нечто близкое к понятию модельной структуры, выразив ее посредством этой прекрасной метафоры [Толстой 1984: 785]. Семантика текста не только многозначна, но и многомерна, и толстовская метафора подтверждает, что семантика романа не может быть сведена к какой-либо линейной структуре, пусть даже очень сложной, а должна пониматься как бесконечное (или неограниченное) множество комбинаций возможных соотношений между различными множествами смысловых структур и возможных миров — именно как «лабиринт» всех «сцеплений» (или маршрутов межмировых «путешествий»). При таком подходе оказывается несущественен выбор того или иного мира в качестве «исходного», существенна именно соотношение между мирами. Вместе с тем метафора лабиринта важна и тем, что содержит концепт «целостности»: все возможные сцепления не выходят за пределы некоторого структурированного пространства и не разрушают его.

Таким образом, понятие модельной структуры может быть использовано также и при формализации того, что можно считать пониманием (интерпретацией) текста. Понять текст — значит приписать ему определенную модельную структуру (или, в более традиционных терминах, выявить, эксплицировать эту структуру, считая, что она уже заложена в тексте). При таком подходе одному и тому же тексту могут быть приписаны различные модельные структуры, соответствующие его различным пониманиям.

Представление о тексте как генераторе смысла соотносится с другой ключевой идеей Лотмана — представлением о тексте как «самовозрастающем логосе». Хотя приписываемые им характеристики и механизмы смыслопорождения частично совпадают, однако это уже иной аспект рассмотрения текста, и ему будет посвящен отдельный раздел.

7. Текст и адресат

Один из определяющих компонентов лотмановской теории текста — это положение об активной роли адресата. Укажем на такие краеугольные положения лотмановской теории, как:

а) активная роль адресата (читателя, аудитории, культуры-реципиента) в раскрытии семантического потенциала текста и роль текста в формировании читателя (культуры); б) образ адресата в тексте⁹.

Основное в лотмановской концепции адресата — это идея такого взаимодействия между текстом и адресатом, при котором тексту может принадлежать активная роль субъекта. Текст и адресат рассматриваются как неразделимый комплекс: понятие адресата включено в текст и в то же время адресат (аудитория) есть производное от текста. Текст и адресат создают друг друга. Лотман отталкивается от общепринятого понимания восприятия текста как диалога:

Между текстом и аудиторией складывается отношение, которое характеризуется не пассивным восприятием, а имеет природу диалога. Диалогическая речь отличается не только общностью кода двух соположенных высказываний, но и наличием определенной общей памяти у адресанта и адресата. Отсутствие этого условия делает текст недешифруемым. В этом отношении можно сказать, что любой текст характеризуется не только кодом и сообщением, но и ориентацией на определенный тип памяти (структуру памяти и характер ее заполнения) [Лотман 1977б: 55–56].

Однако для Лотмана правильное, т. е. совпадающее с авторским, декодирование текста есть частный случай (это реализация первой функции текста: служить «упаковкой» содержания). Его больше интересуют случаи рассогласования кодов, о чем он писал еще в 1960-х гг. [Лотман 1966: 86].

В дальнейшем он разграничивает два типа текстов: T_1 , т. е. «текст простейшего типа», выступающий как «упаковка» остающегося неизменным в процессе коммуникации содержания, и T_2 («В качестве примера T_2 можно назвать художественный текст —

⁹ Некоторые из аспектов, также связанных с проблемой «текст и адресат», рассмотрены нами в иных разделах. Так, фактор адресата весьма существенен применительно к рассмотрению текста в процессе коммуникации и интерпретации как тексто- и смыслопорождения. Частично эта проблематика была затронута нами в предыдущем подразделе, к ней мы обратимся и в дальнейшем, рассматривая концепцию текста как самовозрастающего логоса.

многоязычное устройство со сложными и нетривиальными отношениями между субтекстами (структурными аспектами, которые высвечиваются на фоне какого-либо одного из языков)» [Лотман 1992б: 27]). В этом случае адресат оказывается той инстанцией, благодаря которой запускается механизм генерации новых сообщений — новых даже по отношению к самому тексту:

Будучи вырван из коммуникационных связей, T_2 «не работает». Но стоит включить его в коммуникационную структуру, начать пропускать через него внешние сообщения, как он начинает функционировать как генератор новых сообщений и текстов. Стоит снять с полки «Гамлета», прочесть его или поставить на сцене, подключив к нему читателя или зрителя, как он начнет функционировать в качестве генератора новых и по отношению к автору, и по отношению к аудитории, и по отношению к нему самому сообщений [Там же: 27].

Сам текст — в соответствии с принципом дополнительности — предстает по-разному в зависимости от того, с какой позиции рассматривается, поэтому релевантными могут оказаться несовпадающие характеристики, что может потребовать построения различных теорий текста: «В связи с этим, видимо, следует говорить о соотношении текста не с какой-либо **одной**, а с двумя типологиями — создающего (передающего) и воспринимающего» [Лотман 1966: 86].

Однако Лотман, не отказываясь от этих возможностей, намечает также и третий путь — рассматривать текст с точки зрения... самого текста, который вбирает в себя и образ адресата:

Всякий текст (в особенности художественный) содержит в себе то, что мы предпочли бы называть образом аудитории, и этот образ аудитории активно воздействует на реальную аудиторию, становясь для нее некоторым нормирующим кодом. Этот последний навязывается сознанию аудитории и становится нормой ее собственного представления о себе, переносясь из области текста в сферу реального поведения культурного коллектива [Лотман 1977б: 55].

Поскольку *образ аудитории* заложен в тексте, то он может быть реконструирован, исходя из анализа характеристик текста [Там же: 58]. Это позволяет от функциональной типологии тек-

стов перейти к выводимой из текстов функциональной типологии адресата:

Представляется, однако, уместным указать на зависимость в выборе этих функциональных групп от характера адресата, конструируемого самим текстом. <...> Можно выделить два типа речевой деятельности. Одна обращена к абстрактному адресату, объем памяти которого реконструируется передающим сообщением как свойственный любому носителю данного языка. Другая обращена к конкретному собеседнику, которого говорящий видит, с которым пишущий лично знаком и объем индивидуальной памяти которого адресанту прекрасно известен [Лотман 1977б: 56].

В отличие от провозгласившего «смерть автора» Барта, Лотман никогда не забывает об авторе. Именно автор выбирает тот код, который определит «образ аудитории» текста:

Таким образом, ориентация на тот или иной тип памяти адресата заставляет прибегать то «к языку для других», то к «языку для себя» — одной из двух скрытых в естественном языке противоположных структурных потенций... [Там же: 57–58].

Лотман старается учесть все три фактора семантизации (автор, текст, аудитория) и, как всегда, делает акцент на их взаимодействии или даже перетекании друг в друга. Он вводит в описание новый элемент — память, что, кстати, допускает естественную переформулировку в лингвистических терминах (пресуппозиционная база, картина мира и т. п.):

Соответственно автор изменяет объем читательской памяти, поскольку, получая текст произведения, аудитория, в силу конструкции человеческой памяти, может вспомнить то, что ей было неизвестно. С одной стороны, автор навязывает аудитории природу ее памяти, с другой, текст хранит в себе облик аудитории. Внимательный исследователь может его извлечь, анализируя текст [Там же: 60–61].

Как и применительно к другим случаям, Лотман допускает независимые и даже конфликтные взаимоотношения между текстом, автором и читателем, поскольку, как уже было процитировано ранее, текст осмысливается создающим в одних функционально-типологических категориях, а воспринимающим — в других. Поэ-

тому возможно не только их расхождение, но и приводящая к созданию новых смыслов игра на их несовпадении [Лотман 1977б: 58]. Хотя Лотман рассматривает этот случай как черту художественного текста, однако он вполне может быть рассмотрен как универсальная характеристика речевого акта, при которой возможно как совпадение, так и несовпадение между иллюкутивной и перлокутивной силой высказывания.

8. Текст как самовозрастающий логос

Понимание текста как генератора смыслов естественно приводит к представлению о нем как о динамическом саморазвивающемся объекте, если не сказать организме. (Электро)механистической метафоре («текст как генератор») приходит на смену новый образ текста как самовозрастающего логоса, или разумной души:

Текст типа T_2 обнаруживает черты интеллектуального устройства: он обладает памятью, в которой он может концентрировать свои предшествующие значения, и одновременно он проявляет способность, включаясь в коммуникативную цепь, создавать новые нетривиальные сообщения. Если принять определение разумной души, которое дал Гераклит Эфесский: «Психее присущ самовозрастающий логос», то T_2 может рассматриваться как один из объектов, обладающих этим свойством [Лотман 1992б: 27].

Необходимая для смыслопорождения интеллектуальная способность адресата и адресанта переносится уже на сам текст. Это такие характеристики, как память и способность порождать нетривиальные (т. е. не вытекающие автоматически из свойств знаковой системы) сообщения. Очевидно, текст может функционировать только при наличии таких компонентов, как культура и сознание. Но текст — это не только пассивный объект, помещенный в эту среду, но и активный субъект взаимодействия этих факторов, причем с определенной точки зрения он может рассматриваться и как главный агент этого взаимодействия.

Для Лотмана *текст — интеллект — культура (семиосфера)* есть различные аспекты одного и того же триединства, каждый из

которых взаимно определяет, создает и развивает другие¹⁰. В работах 1980-х гг. идея взаимодействия этих факторов дополняется представлением об их изоморфизме:

Мы можем выделить по крайней мере три класса интеллектуальных объектов: естественное сознание человека (отдельной человеческой единицы), текст <...>, культуру как коллективный интеллект.

Между всеми этими объектами можно установить структурное и функциональное подобие. В структурном отношении все они будут характеризоваться семиотической неоднородностью. Правое и левое полушария головного мозга человека, разноязычные субтексты текста, принципиальный полиглотизм культуры (минимальной моделью является двуязычие) образуют единую инвариантную модель: интеллектуальное устройство состоит из двух (или более) интегрированных структур, принципиально разным образом моделирующих внележащую реальность [Лотман 1992б: 29].

Исследования по асимметрии полушарий мозга и выполняемых ими функций позволяют Лотману конкретизировать его собственные идеи о семиотической гетерогенности и многоязычности сознания, культуры и текста. Вместе с тем он не сосредотачивается на реалиях нейрофизиологии и нейролингвистики,

¹⁰ Так, семиосфера определяется Лотманом почти так же, как и текст:

Семиосфера отличается неоднородностью. Заполняющие семиотическое пространство языки различны по своей природе и относятся друг к другу в спектре от полной взаимной переводимости до столь же полной взаимной непереводаемости. Неоднородность определяется гетерогенностью и гетерофункциональностью языков <...>. Структура семиосферы асимметрична. Это выражается в системе направленных токов внутренних переводов, которыми пронизана вся толща семиосферы. Перевод есть основной механизм сознания. Выражение некоторой сущности средствами другого языка — основа выявления природы этой сущности. А поскольку в большинстве случаев разные языки семиосферы семиотически асимметричны, то есть не имеют взаимно однозначных смысловых соответствий, то вся семиосфера в целом может рассматриваться как генератор информации [Лотман 1999а: 166, 169–170].

В данном случае мы не останавливаемся на таких общих для всех систем свойствах, как организованность, связь между элементами, отношения «быть частью» и «составлять часть», уровневая организация и т. д.

а строит модели языков, исходя из собственного понимания некоторых фундаментальных принципов взаимодействия дискретных и недискретных кодов при организации текста. Сознание не только предстает как механизм создания и осмысления текстов, но и само строится как текст:

В рамках одного сознания наличествуют как бы два сознания. Одно оперирует дискретной системой кодирования и образует тексты, складывающиеся как линейные цепочки соединенных сегментов. В этом случае основным носителем значения является сегмент (= знак), а цепочка сегментов (= текст) вторична, значение ее производно от значения знаков. Во втором случае текст первичен. Он является носителем основного значения. По своей природе он не дискретен, а континуален. Смысл его не организуется ни линейной, ни временной последовательностью, а «размазан» в n -мерном семантическом пространстве данного текста (полотна картины, сцены, экрана, ритуального действия, общественного поведения или сна). В текстах этого типа именно текст является носителем значения. Выделение составляющих его знаков бывает затруднительно и порой носит искусственный характер [Лотман 1992в: 168].

Соответственно, принципиально различается и характер расширения этих текстов:

Одно из определяющих различий между полярными текстопорождающими устройствами — разница в способности увеличения объема текста: генератор дискретных текстов увеличивает текст по принципу линейного присоединения сегментов, генератор недискретных — по принципу аналогового расширения (типа кругов на воде или вкладывающихся друг в друга матрешек) [Лотман 1992б: 29].

Вместе с тем, как и при рассмотрении всех остальных явлений, здесь предусмотрен синтез этих механизмов, что и приводит к «самовозрастанию смыслов». Подобный принцип также рассматривается как инвариант, характеризующий организацию текста, сознания и культуры:

Инвариантом всех этих систем будет биполярная структура, на одном полюсе которой помещен генератор недискретных текстов, а на другом полюсе — дискретных. На выходе системы эти тексты смешиваются, образуя единый многослойный текст с многообразными

внутренними переплетениями взаимно не переводимых кодов. Пропуская через эту систему какой-либо текст, мы получим лавинообразное самовозрастание смыслов [Лотман 1992б: 29].

Отсюда возникает возможность рассматривать текст как мыслящее устройство. Лотман парадоксальным образом переворачивает привычные представления: уже не текст стимулирует работу «вырабатывающего сообщения» сознания адресата, а, наоборот, адресат, подключаясь к тексту, приводит в действие текст:

Более неожиданным может показаться представление о тексте как мыслящем устройстве. Основным возражением здесь может быть указание на то, что текст сам по себе, взятый изолированно, не вырабатывает новых сообщений и что для этого сквозь него должен быть пропущен какой-либо другой текст, что практически реализуется, когда к тексту «подключается» читатель, хранящий в памяти некоторые предшествующие сообщения.

Это возражение нетрудно отвести. «Самовозрастающий логос» не подразумевает, а исключает изолированность. Мыслящее устройство не может работать в изоляции. Это подтверждается и индивидуальным «естественным разумом» (в значении, параллельном термину «естественный язык»), и вторичным коллективным разумом культуры. Все известные науке случаи вырастания детей в полной изоляции от человеческого коллектива и поступающих извне человеческих текстов убеждают, что физиологически совершенно исправная машина мышления в этих случаях остается не запущенной в работу. Роль пускового механизма играет поступающий извне текст, который приводит индивидуальное сознание в движение [Там же: 27–28].

Поскольку и текст, и адресат — это сознание, то для Лотмана подобная ситуация не представляет противоречия или парадокса: это тривиальная тавтология («В этом смысле парадокс: “Сознанию должно предшествовать сознание” — звучит как тривиальная истина» [Там же: 28]). Более того, при максимально обобщенном подходе может быть вообще элиминировано понятие адресата даже как пускового механизма для начала смыслопорождения, сам текст выступает как «мыслящая структура» [Лотман 2010: 184].

Крайне интересно лотмановское понимание и другой характеристики текста, сближающей его с интеллектом, — наличие па-

мяти. «Память текста» рассматривалась как одна из трех основных функций текста и определялась как «сумма контекстов, в которых данный текст приобретает осмысленность и которые определенным образом как бы инкорпорированы в нем». При уподоблении текста сознанию понятие «памяти текста» рассматривается уже не только по отношению к прошлому — ее действие распространяется и на будущее:

Текст, подобно зерну, содержащему в себе программу будущего развития, не является застывшей и неизменно равной самой себе данностью. Внутренняя не-до-конца-определенность его структуры создает под влиянием контактов с новыми контекстами резерв для его динамики [Лотман 1999б: 22].

Возможно, и здесь можно усмотреть некоторое противоречие: ни текст, ни его создатель не в состоянии предусмотреть все возможные контексты его актуализации, что, кстати, утверждает и сам Лотман. Не может текст также и хранить информацию об этих контекстах, если он не будет окружен шлейфом из метатекстов, описывающих эти контексты (будь то комментарии, интерпретации, интertextы и т. п.). Однако это не столь существенно, если исходить из лотмановского ракурса рассмотрения: в этом процессе его интересует не фактология («кто-что-где-сказал»), а именно способность текста к семантическому «самовозрастанию»:

Таким образом, возможны, с одной стороны, передвижения и перестановки на метауровнях, меняющие осмысление текста, а с другой — перемещение самого текста относительно метасистем [Лотман 1978: 28].

Казалось бы, что текст, проходя через века, должен стираться, терять содержащуюся в нем информацию. Однако в тех случаях, когда мы имеем дело с текстами, сохраняющими культурную активность, они обнаруживают способность накапливать информацию, то есть способность памяти. Ныне «Гамлет» — это не только текст Шекспира, но и память обо всех интерпретациях этого произведения, и, более того, память о тех вне текста находящихся исторических событиях, с которыми текст Шекспира может вызывать ассоциации. Мы можем забыть то, что знал Шекспир и его зрители, но мы не можем забыть то, что мы узнали после них. А это придает тексту новые смыслы [Лотман 1999б: 22].

9. Заключение

Заключением к тексту подобного жанра должно бы быть нечто вроде обобщения: какова же, в конце концов, лотмановская концепция текста? Однако традиционное обобщение-заключение оказалось бы крайне чуждым лотмановской концепции. Было бы неправильным представить ее формирование как диахронический путь постижения — как если бы вначале существовала некая несовершенная теория, которая постепенно улучшается и в конце принимает законченный и строгий вид. Как раз наоборот — можно заметить, что множественность решений, вариативность и дополнительность присутствуют с самого начала, меняется скорее не сама постановка вопроса, а стилистика, в которой о ней говорится, и методика, согласно которой она описывается.

В разное время в различных контекстах проблема текста рассматривается в различных ракурсах, акцентируются различные аспекты. Достаточно условно можно выделить следующие основные подходы — лингвистический, семиотический, социокультурный. Лотман не отказывается ни от одного из них и ищет их оптимальную конфигурацию, которая всякий раз принимает различную форму — как при решении различных проблем, так и при разных решениях одной и той же проблемы. При решении разнообразных задач предметом рассмотрения может стать крайне широкий диапазон явлений, что приводит к различным методикам описания. Тем не менее концептуальное ядро теории текста не меняется, хотя и существенно уточняется. Можно заметить, что при переборе альтернатив ничего не отбрасывается: лотмановский подход нацелен не на выбор наилучшей из них и единственно правильной — как раз наоборот, Лотман скорее показывает, что таковой не существует, почему и следует сосредоточиться на возможности их синтеза. Для этого, чтобы не столкнуться с противоречиями, их надо развести по разным плоскостям рассмотрения¹¹, тогда как попытка абсолютизировать ка-

¹¹ Отношение Лотмана можно увидеть в его исследовании о противоречиях у Пушкина: «... в ходе работы над “Евгением Онегиным” у автора сложилась творческая концепция, с точки зрения которой противоречие в тексте

кой-либо из этих аспектов неизбежно привела бы к появлению таких противоречий.

Так, концепция Лотмана примиряет имманентный и функциональный подходы: имманентность характеризует сам текст, а функция — пару «читатель — текст». Впрочем, и автор, и читатель, и все коммуникативные акты содержатся в тексте, образуя его память. Понятие адресата включено в текст, а с другой стороны, аудитория есть производное от текста. В процессе взаимодействия текст и аудитория (вос)создают друг друга и предстают как динамический комплекс. Хотя «чистое» существование текста вне пространства других текстов и аудитории невозможно, но он каким-то образом существует без автора, поскольку внутри себя содержит «образ автора», и это достаточно для его функционирования.

Эта же коллизия воссоздается и в рамках функционального подхода. Функции текста и сам текст рассматриваются то как независимые, то как взаимообуславливающие. Текст, с одной стороны, задает и автора, и читателя, а с другой — порождается отношением между ними. Это и аргумент функции, и сама функция. Функция создает текст, но и текст создает функцию [Лотман, Пятигорский 1968: 87].

Рассматриваемый как имманентно существующий объект, со структурной точки зрения текст есть нечленимый сигнал, но в то же время это и а) многоуровневая многомерная структура, и б) композиция сегментов, которая с) распадается на субтексты и d) сама является или становится субтекстом некоторого другого текста. Текст иногда предстает как единственная реальность, а все остальное — культура, язык и функция — как производные. Культура может рассматриваться как иерархия текстов, хотя в то же время Лотман полемизирует с представлением о языке как совокупности текстов. Отношение между текстом и языком не может быть сведено к какой-либо единой формуле, ибо текст есть порождение языка, но в то же время текст сам порождает язык [Лотман 1992б: 27].

представляло ценность как таковое. Только внутренне противоречивый текст воспринимался как адекватный действительности» [Лотман 1975: 29–31].

Несводимость различных описаний вполне сознательна, именно так возможно реализовать в семиотическом описании принцип дополнительности. Применительно к тексту его сформулировал еще в 1962 г. соавтор Лотмана: «Действует принцип, несколько сходный с принципом дополнительности Гейзенберга в физике. Мы не можем рассматривать сигнал со стороны субъекта и объекта одновременно (литературное произведение, полностью неопределенное с точки зрения автора и полностью определенное с точки зрения адресата)» [Пятигорский 1962: 152]. Подобные несоответствия неустранимы, они обусловлены как самой гетерогенной природой текста, так и многоаспектностью его функциональных связей. Поэтому ядром лотмановской концепции о тексте (как и, на наш взгляд, любой концепции о тексте) следует считать понятия отношения и соотносительности. Текст выступает как Протей. В различных гуманитарных сферах (ограничимся только ими) он предстает по-разному. История (историография), литературоведение, культурная антропология, лингвистика, искусствоведение и т. п. совершенно по-разному трактуют это понятие. Считать ли, что в каждой из этих дисциплин мы имеем дело с терминами-омонимами, отсылающими к различным объектам? Или же текст — это единый объект, но наделенный чертами Протея? — что требует от описывающего его наблюдателя также обладать свойством протейства и способностью к протейстическим описаниям. Безусловно, для семиотика второй подход к тексту оказывается единственно возможным. Лотман основывался на различных семиотических версиях — так, вначале он не отказывается в угоду лингвистическому пониманию текста от, скажем, точки зрения текстолога или историка литературы. Затем он рассматривает тексты истории, искусства, политики, не пренебрегая ни одним из возникающих при этом ракурсов. Углубление в структурные и функциональные характеристики текста позволяет соответствующим образом дополнить семиотическую разнородность рассматриваемых объектов. Эта разнородность оказывается скрепленной целостностью каркаса — соотносительностью между различными семиотическими факторами и параметрами. Ключевым оказывается понятие взаимоотношения между несовпадающими характеристиками и (мета)описаниями, моделью синтеза обычно выступает идея триедин-

ства (в монографии «Культура и взрыв» [Лотман 1992а] эта идея приводит к теории семиотических систем, основанных не на бинарных, а на тернарных или более сложных оппозициях). Внутри же самой триады главный герой — текст, единственный, кто сохраняется при любой конфигурации отношений.

Концепция Лотмана допускает различные степени редукции системы-триады. В первую очередь подвержено редукции отношение «текст — автор». Так, если текст предшествует языку, то он первичен и у него нет автора. Если же язык предшествует тексту, то текст выступает как реализация системы (в качестве автора выступает сам язык). Далее, редукции может подлежать и язык (знаковая система) — текст выступает как генератор языка, на котором он должен быть интерпретирован и «воссоздан». Наиболее устойчивым в лотмановской концепции оказывается отношение «текст — адресат», но и в этом случае характеристики адресата могут быть приписаны тексту («образ адресата» внутри текста), а адресат может даже рассматриваться лишь как пусковой механизм для осуществляемого самим текстом смыслопорождения. Конечно, в системе функций можно предусмотреть, что отношение «автор — аудитория — контекст» может привести к функционированию нулевого означающего в качестве текста (пустой лист бумаги вместо письма; облака как предзнаменование и т. п.), но даже в этом случае появляется текст — пусть как производное от других факторов. Безусловно, было бы достаточно экстравагантным, если бы теория текста привела к элиминации самого этого понятия. Поэтому наиболее гибким может стать представление о тексте как отношении, или комплексной функции: «взаимном отношении системы, ее реализации и адресата-адресанта текста» [Лотман, Пятигорский 1968: 75]. Это определение функции может быть перенесено и на определение текста-как-функции.

Главным представляется именно выявление взаимосвязей («бесконечного лабиринта сцеплений») между, казалось бы, достаточно разноплановыми явлениями. Дело не только в характере их взаимодействия («одно связано с другим»), но и в структурном подобии определяющих характер этих явлений отношений. Так, если рассмотреть лотмановские определения таких ключевых компонентов его концепции, как «текст — организм — интеллект —

культура — семиосфера», то они будут весьма схожими, причем эта схожесть не будет ограничиваться перечнем тривиальных универсальных характеристик, присущих любой системе. Если воспользоваться выражением Л. Витгенштейна — «они все в определенном смысле одно» [Витгенштейн 1958: 4.014], это различные проявления одного и того же героя — Протея, или, в терминах Лотмана, самовозрастающего логоса. Поскольку текст есть отношение, то оно может материализоваться в его концепции также и как конструкт, функция, адресат, культура и даже как мыслящая структура.

Поскольку текст о тексте также является текстом¹², то и лотмановскую теорию текста можно рассматривать как текст, которому присущи все выделенные им же характеристики. Их взаимосвязанность хорошо видна на материале его научных работ. Можно утверждать, что они складываются в некоторый единый текст о тексте и в то же время каждая из них в отдельности распадается на разноречивые субтексты. Если вначале, следуя академической традиции, Лотман пытается выбрать из существующего набора вариантов адекватное определение текста, то в дальнейшем вместо определений он предпочитает описывать его характеристики, в том числе и несовместимые друг с другом, но разведенные по разным плоскостям (принцип дополнительности). Также можно говорить о *гетерогенности* его текстов, что наглядно проявляется в смешении жанров и стилей и постоянном чередовании теоретических метамоделей и эмпирических описаний. С этим связана и их полифункциональность — так, пожалуй, ни одну из его статей после 1960-х гг. нельзя жестко приписать к той или иной гуманитарной дисциплине, будь то история литературы, культурология, поэтика, теоретическая семиотика, теория интеллекта (когнитивистика) и т. д. Здесь можно увидеть и другую характеристику: адресат научной статьи, как правило, есть нечто заданное, и автор ориентируется именно на него, как обладателя определенных характеристик. Например, статья по истории русской литера-

¹² Ср.: «Слово о Тексте само должно быть только текстом, его поиском, текстовой работой; <...> теория Текста необходимо сливается с практикой письма» [Барт 1989а: 422].

туры ориентирована на соответствующего специалиста и вряд ли представит интерес для специалиста по романскому языкознанию и будет им адекватно понята. В случае лотмановских статей они, удовлетворяя этому принципу, одновременно и сами порождают того адресата, который в процессе их интерпретации оказывается тем, на кого рассчитан текст: даже будучи узкоспециальным по теме, он оказывается универсальным по гуманитарному содержанию.

Протеизм текста оказывается сродни протеизму Лотмана как ученого. В его тексте о тексте можно найти признаки художественного текста, того, что он, следуя моде 1960-х гг., обозначил как T_2 (текст, ориентированный не на передачу готового смысла, а на его порождение). Начав с изучения характеристик художественного текста, он затем переносит их и на другие, для чего и вводит разграничение между T_1 и T_2 , текстом — контейнером смысла и текстом-генератором. Поэтому при обращении к написанному Лотманом было бы неверным выковыривать тот «смысл», который якобы был изначально заложен в них Автором. (Будь это так, Лотман бы и сам сумел придать ему форму текста.) Безусловно, как и любому тексту, им также присуща функция передачи смысла. Но процесс текстуализации можно рассматривать как процесс порождения и возрастания смысла, для чего Лотманом используются различные коды и механизмы — логические, риторические, дискретные и недискретные, право- и левополушарные, художественные (многозначность, интертекстуальность), иконические (схемы и графики) и т. п.

Концепцию Лотмана продуктивнее рассматривать с точки зрения того, каким образом она обеспечивает самовозрастание смысла в новых контекстах. Будучи строго научными по исполнению, работы Лотмана функционируют скорее как тексты культуры, почему и сохраняют характерную для подобных текстов семантическую актуальность, в том числе функции памяти и генерации новых теорий. Например, ключевым для всей концепции является представление текста как функции, причем функция может пониматься в трех возможных смыслах (см. выше). Поэтому можно, предлагая те или иные толкования понятия функции, получать на основе исходной трактовки новые. Помимо этого, возможно как

задание различных типов отношений между исходными концептами (система, адресат, адресант, текст, контекст), так и различное толкование многозначных выражений. Это говорит о том, что дальнейшему развитию (а с точки зрения их автора — саморазвитию) подлежат не только идеи Лотмана, но и его тексты. Безусловно, в этом процессе они становятся несводимы к тому смыслу, который вкладывал в них сам автор. Так что к традиционному герменевтическому подходу «понять текст лучше, чем сотворивший его автор» можно добавить и такой: «найти в тексте то, о чем не ведал сам автор».

При таком подходе теория Лотмана о тексте преобразуется в лотмановский «текст о тексте» — обладающий памятью о контекстах своего создания, этой интереснейшей эпохи гуманитарного знания и формирования его новой парадигмы, а также служащий генератором новых концепций и тем самым функционирующий как самовозрастающий логос.

Попытаемся обрисовать одну из возможных манифестаций этой теории в контексте длящегося настоящего, в котором она может представлять особый интерес и приобрести новую актуальность. Начиная с 1990-х гг. в лингвистике и семиотике интерес смещается в сферу прагматики и когнитологии — от языка как структуры в сторону описания языковой деятельности. Возможность строгого описания перестает восприниматься как необходимый критерий для оценки теории, а регулярность и системность, напротив, расцениваются скорее как результат желания упрощать исследуемые явления, нежели как характеристики самого объекта. Объективистская парадигма, видящая основную функцию языка в установлении адекватного и однозначного соответствия между языком и миром, уступает место иной, где язык — это прежде всего механизм понимания и смыслопорождения. К сожалению, превратно понятый постструктурализм, сам по себе оправданный предшествующим и необходимый для дальнейшего развития, но лишенный академической поддержки, перерос в антиструктурализм, а недостаточно усвоенные процедуры деконструкции или дискурс-анализа подменили анализ фантазированием на темы текста. Примечательно, что если для современников работы Лот-

мана воспринимались как пример академической свободы, то сегодня они могут трактоваться как пример строгого академизма.

Однако в последние годы в процессе отделения зерен от плевел намечается определенный возврат к методологии структурализма, но рассматриваемого в новом идеологическом контексте (уже в духе позднего Витгенштейна, его концепции языковых игр и значения как употребления). Можно говорить о формировании некоторого формообразующего контекста для еще не заявившего о себе неоструктурализма. «Героем нашего времени» оказывается не фонема, любимый объект раннего структурализма, и не предложение, баловень генеративизма, а текст, изучаемый не «в себе и для себя», а как целокупность его многомерной гетерогенной смысловой структуры, множественности языков порождения и интерпретации и контекстнообусловленных коммуникативных характеристик. Единицы языка определяются в соответствии с их функцией в организации текста и его возможных приложений (интерпретаций). Текст выступает и как структура, и как операция (действие), а языковая деятельность — как многомерная актуализация и тем самым текстуализация языковых структур в процессе коммуникации. Такой подход закладывает основы семиотики, в которой наряду со знаком в качестве основного объекта описания появляется понятие текста, а как основные подлежащие описанию процессы будут выступать текстопорождение, интерпретация и коммуникация. Основным объектом неоструктурализма может стать рассматриваемая как комплекс нелинейных функций структура в процессе коммуникации, что достаточно естественно вычитывается из работ Лотмана.

2. О НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТИ ПРОШЛОГО: ЮРИЙ ЛОТМАН ОБ ИСТОРИИ И ИСТОРИКАХ

А я говорю: вчерашний день еще не родился.
О. Мандельштам «Слово и культура»

Подобно тому, как различные прогнозы будущего составляют неизбежную часть универсума культуры, она не может обойтись без «прогнозов прошлого».

*Ю. М. Лотман «Возможна ли историческая наука
и в чем ее функция в системе культуры»*

1

Говоря о непредсказуемости истории, как правило, имеют в виду не только невозможность предсказания последующих событий, но и их парадоксальность, невыводимость результата из исходных условий. В качестве примера можно привести касающееся Ю. М. Лотмана примечательное свидетельство М. Л. Гаспарова:

Он (Ю. М. Лотман. — С. З.) любит непредсказуемость исторической конкретности. У него был ученик, Рафик Папаян, стиховед; потом он был арестован за армянский национализм, сидел, а потом, в перестройку, был выдвинут в депутаты, и соперником его по избирательному округу оказался тот бывший начальник тюрьмы, у которого он сидел. Когда я рассказал об этом Лотману, он хлопнул в ладоши

и воскликнул: «Вот за что я люблю историю!» Это интерес эстетический едва ли не больше, чем умственный [Гаспаров 1999: 423]¹³.

Как видим, Лотмана заинтересовало то, что в истории оказался реализован не один из возможных сюжетов развития событий, который можно было представить в тот момент (1981 г.), когда Р. А. Папаян сидел в тюрьме, пусть даже экстраординарный (например, побег узника при помощи дочери тюремщика), а тот, который был просто невообразим в тот момент (свободные выборы в СССР в 1990 г.).

В самом деле, М. Л. Гаспаров верно подметил интерес Ю. М. Лотмана не просто к истории как науке, а именно как к механизму создания семантически нетривиальной (если следовать Гаспарову — «эстетической») непредсказуемости. В работах последних лет Ю. М. Лотман многократно обращается к описанию этих механизмов. При этом за основу берется теория взрыва Ильи Пригожина (см.: [Пригожин, Стенгерс 1986]), согласно которой применительно к точкам бифуркации (момент взрыва) процессы перестают подчиняться линейным закономерностям и дальнейшее течение процесса оказывается невыводимым из начальных условий (в лучшем случае можно описать возможные состояния, но нельзя вычислить, какая из этих возможностей окажется осуществленной). Эта теория явилась для Лотмана своего рода «физико-математической» методологической легатимизацией его собственного подхода к истории, которому он сам мог найти множество подтверждений в истории культуры и литературы. Поэтому и в последних статьях и книгах Ю. М. Лотмана (см.: [Лотман 1988а 1992; 1996; 2010]) содержатся многочисленные ссылки на собственные

¹³ Добавим, что Р. А. Папаян (1942–2011) был арестован и осужден не за «национализм», а за хранение и распространение русской («антисоветской») литературы (произведений Солженицына и Набокова); в дальнейшем был депутатом Верховного Совета Республики Армения (1990–1995), затем, до последних дней жизни, — членом Конституционного суда (1996–2011). Однако в духе стереотипов тех лет («В СССР армянину положено сидеть за армянский национализм») «вражьи голоса» («Голос Америки», Би-би-си) обычно идентифицировали его именно так. См. о нем также в разделе «Ю. М. Лотман и Армения».

прежние работы. Важно и то, что идеи о бифуркационных механизмах истории и культуры выкристаллизовались в последние годы жизни Лотмана. Конец 1980-х — начало 1990-х гг. — эпоха наиболее драматичных и непредсказуемых событий, которым сам Ю. М. Лотман стал свидетелем и в которых принимал активное участие. Опыт историка и опыт свидетеля помог Лотману занять позицию, адекватную его академической и гражданской позиции (об этом см. главу «Между взрывом и застоём...»).

Сейчас очевидно, что теория Ильи Пригожина оказалась всего лишь хорошим поводом систематизировать и перенести на историю тот семиотический аппарат, который был разработан Ю. М. Лотманом при анализе текста как смыслопорождающего устройства и семиосферы как динамической саморазвивающейся системы. Например, ее вполне могла заменить теория хаоса и непредсказуемости американского математика и метеоролога Эдварда Лоренца, чья наиболее известная статья «Предсказуемость: может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?» [Lorenz 1972] явно бы привлекла внимание Ю. М. Лотмана — хотя бы своим вызывающе «художественным» заглавием. Да и в целом нельзя считать оправданным перенос моделей, описывающих пусть и нелинейные закономерности мира природы (если только мы не привнесем внеположные этому миру понятия сознания, смысла и ценности) на социальные процессы¹⁴. Поэтому дальнейшее развитие и уточнение лотмановской концепции видится нам в привлечении идей не из сферы физики, а гуманитарного знания: постараемся, следуя логике Лотмана, дополнить его концепцию некоторыми идеями, выработанными в аналитической философии (А. Данто, Г. Х. фон Вригт, К. Поппер) и модальной логике и семантике (Я. Лукасевич, А. Прайор, Я. Хинтикка), которые, будучи высказаны задолго до этого, могут рассматриваться как сделанное «наперед» ее методологическое обоснование.

¹⁴ Ср.: «Многие убеждения и идеи, касающиеся детерминизма в истории человека и общества, представляют собой результат концептуальной путаницы и ложных аналогий, которые проводят между событиями в природе и интенциональным действием» [Вригт 1984: 188].

Отметим, что у самого Лотмана даны два не совсем совпадающих объяснения того, что понимается под непредсказуемостью: согласно более узкой и традиционной точке зрения, это реализация одной из равновероятных возможностей:

Момент взрыва есть момент непредсказуемости. Непредсказуемость не следует понимать как безграничные и ничем не определенные возможности перехода из одного состояния в другое. Каждый момент взрыва имеет свой набор равновероятных возможностей перехода в следующее состояние, за пределами которого располагаются заведомо невозможные изменения. Всякий раз, когда мы говорим о непредсказуемости, мы имеем в виду определенный набор равновероятных возможностей, из которых реализуется только одна [Лотман 1992: 191].

Тем самым будущее предстает как реализация одного из возможных состояний системы. Однако автор «Культуры и взрыва» дает и другое, более «бифуркационное» объяснение, при котором понятие вероятности теряет смысл и процесс носит исключительно случайный и даже внесистемный характер:

Отношение настоящего и будущего рисуется следующим образом. Настоящее — это вспышка еще не развернувшегося смыслового пространства. Оно содержит в себе потенциально все возможности будущих путей развития. Важно подчеркнуть, что выбор одного из них не определяется ни законами причинности, ни вероятностью — в момент взрыва все эти механизмы полностью отключаются. Выбор будущего реализуется как случайность <...>. Доминирующим элементом, который возникает в итоге взрыва и определяет будущее движение, может стать любой элемент из системы и даже элемент из другой системы, случайно втянутый взрывом в переплетение возможностей будущего движения [Там же: 28–29].

Заметим, что при описании исторических процессов Ю. М. Лотман придерживается более узкого, буквального понимания непредсказуемости — как невозможности предсказать, какое из состояний дел окажется реализованным в будущем (понимание непредсказуемости как невообразимости он соотносит скорее с художественным творчеством). Такое понимание непредсказуемости оказывается достаточно близким к хорошо изученным концепциям детерминированности и случайности.

Для Ю. М. Лотмана существенным оказывается раскрытие механизмов описания и оценки события, преобразующих непредсказуемое в «заранее предсказанное», случайное в необходимое:

Момент взрыва создает непредсказуемую ситуацию. Далее происходит любопытный процесс: совершившееся событие бросает назад ретроспективный взгляд. При этом характер происшедшего решительно трансформируется. Следует подчеркнуть, что взгляд из прошлого в будущее, с одной стороны, и из будущего в прошлое, с другой, решительно меняют наблюдаемый объект. Глядя из прошлого в будущее, мы видим настоящее как набор равновероятных возможностей. Когда мы глядим в прошлое, реальное для нас обретает статус факта, и мы склонны видеть в нем нечто единственно возможное. Нереализованные возможности превращаются для нас в такие, какие фатально не могли быть реализованы. Они приобретают эфемерность [Лотман 1992: 194–195].

В таком случае возникает вопрос: а что же является «непредсказуемым»? Ведь важно вовсе не то, что мы не в состоянии предсказать будущее — само по себе это достаточно тривиально, а то, каким образом осмысляется и наделяется исторической ценностью случайное и лишённое смысла событие. Концепция Ю. М. Лотмана, как нам видится, интересна тем, что раскрывает механизм одновременной оценки события и как случайного, и как необходимого — в соответствии с его идеей о том, что любой текст предполагает для интерпретации как минимум два языка (а исторический факт для Лотмана, конечно, является текстом — об этом речь пойдет далее).

Без учета такой одновременной ретроспективно-перспективной соотнесенности, взятые по отдельности, эти идеи Ю. М. Лотмана (непредсказуемость будущего и невозможность прогнозирования социальных процессов) явились бы лишь повторением некоторых хрестоматийных истин. Также достаточно хорошо известно то, что случившееся событие воспринимается как необходимое, что «осмысленность истории есть детерминизм *ex post facto* (после события)» [Вригт 1986: 189]. Этот «детерминизм» — представление случайного как необходимого — вытекает не из свойств самих событий, а из семантических особенностей высказываний о них, которые приводят к тому, что получило название «логического фатализма».

Такие парадоксальные свойства подобных высказываний были описаны еще Аристотелем в его трактате «Об истолковании» (Περὶ ἑρμηνείας; [Аристотель 1978: 99–101]). Анализируя ставшее знаменитым высказывание «Завтра произойдет морское сражение», Аристотель рассматривает обе возможности: либо сражение произойдет, и тогда это высказывание истинно, или же не произойдет, и тогда высказывание ложно, а его отрицание — истинно. Таким образом, уже сегодня некоторое высказывание (либо о том, что завтра произойдет морское сражение, либо его отрицание) является истинным. Тем самым это высказывание истинно до того, как произошло (или не произошло) само описываемое событие, и, соответственно, становится выражением не случайной, а необходимой истины: если сегодня истинно, что завтра произойдет морское сражение, то не может быть, чтобы завтра не было морского сражения, иначе это высказывание не могло бы быть истинным. Аналогично для случая, когда это высказывание ложно, то невозможно, чтобы сражение произошло. Следовательно, в будущем нет ничего случайного: любое событие (морское сражение или отсутствие морского сражения) оказывается необходимым, случайности нет места (добавим, что, как правило, мы не в состоянии отличить истинные высказывания о будущем от ложных, но это характеризует ограниченность человеческих способностей, а не свойство высказываний).

Неудовлетворительность подобного подхода была очевидна и для Аристотеля: например, выходило, что та же самая «предуказанность» применима не только к завтрашним событиям, но и к отдаленному будущему¹⁵. Предложенное Аристотелем решение

¹⁵ «Ведь ничто не мешает тому, чтобы кто-либо стал утверждать вперед на десять тысяч лет, что будет это, другой же — отрицать, а потому по необходимости будет так, что какое-нибудь из этих [предсказаний] было тогда правильным. Однако безразлично, выскажет ли кто-либо подобное противоречие или не выскажет, ибо ясно, что дело с чем-то обстоит так-то и так-то, хотя бы один не утверждал что-либо, а другой не отрицал. Ведь не потому, что утверждают или отрицают что-то, оно будет или не будет, и это верно относительно десяти тысяч лет не более, чем относительно любого времени. Так что если бы дело обстояло во всякое время так, что одно из [противоречащих друг другу высказываний] истинно, то необходимо, чтобы произошло именно

такovo: «Я имею в виду, например, что завтра морское сражение необходимо будет или не будет, но это не значит, что завтра морское сражение необходимо будет или что оно необходимо не произойдет; необходимо только то, что оно произойдет или не произойдет» [Аристотель 1978: 101]. Как видим, необходимость приписывалась Аристотелем не событию, а утверждению, что в истории может быть реализована только одна из альтернатив. Это, однако, вновь приводило к логическому фатализму: описывающее реализованную альтернативу высказывание должно быть истинно не только в момент события и после него, но и до самого события. Интерпретации этого высказывания посвящено значительное число исследований, указание на которые выходит за рамки настоящей статьи. Остановимся лишь на классической работе Яна Лукасевича «О детерминизме». Позицию детерминизма, по Лукасевичу, можно выразить так:

Все ли, что когда-либо осуществится и когда-то будет истинным, уже сегодня истинно и было им всегда? Извечна ли всякая истина? <...> Детерминист ответит утвердительно на эти вопросы, индетерминист отрицательно. *Ибо под детерминизмом я понимаю точку зрения, гласящую, что если A является b в момент t, то истинно в любой момент, предшествующий t, что A есть b в момент t* [Лукасевич 1999: 183]¹⁶.

Анализ аристотелевского парадокса привел Я. Лукасевича к его фундаментальному открытию — многозначной логике, свободной

это; и со всем происшедшим дело всегда обстояло бы так, что оно произошло бы по необходимости. Ибо если кто-то правильно сказал, что это будет, то оно и не может не произойти; и о происшедшем всегда было истинно сказать, что оно будет. Если же эти [выводы] несостоятельны (ибо мы видим, что будущие события имеют своим истоком и решения, и некоторую деятельность и что вообще у того, что деятельно и не постоянно, возможность быть и не быть одинакова; у него возможно и то и другое, т. е. быть и не быть, а потому и произойти, и не произойти <...>), то очевидно, что не все существует и происходит в силу необходимости, а кое-что зависит от случая и относительно его утверждение ничуть не более истинно, чем отрицание; а другое хотя и бывает скорее и большей частью так, чем иначе, однако может произойти и иначе, а не так» [Аристотель 1978: 101].

¹⁶ Здесь и далее курсив в цитатах принадлежит цитируемым авторам.

от аксиомы *tertium non datur*. Высказывание «Завтра будет морское сражение» или же его отрицание могут быть ни истинными, ни ложными — поскольку возможно и то, и другое:

Итак, я утверждаю, что существуют высказывания, которые не являются ни истинными, ни ложными, а лишь только *неопределенными*. Таковы все высказывания о будущих событиях, которые в настоящее время еще не предопределены. Эти высказывания в данный момент еще не истинны, так как не имеют никакого действительного эквивалента. Используя не совсем точную философскую терминологию, можно было бы сказать, что этим высказываниям онтологически не соответствуют ни бытие, ни небытие, но лишь *возможность*. Безразличные высказывания, которым онтологически соответствует возможность, имеют третье логическое значение [Лукаевич 1999: 196].

Другое важное уточнение Я. Лукаевича, подрывающее основы логического фатализма, — то, что не следует рассматривать всю цепь причин и следствий начиная с сотворения мира как неразрывную, иначе, как это изображено в знаменитой новелле Рэя Брэдбери «И грянул гром» («A Sound of Thunder»), смерть бабочки в мезозойскую эпоху может спустя тысячелетия привести к установлению диктатуры. Лукаевич исходит из идеи о прерывности причинно-следственной цепи событий (тогда момент взрыва можно представить как ситуацию их полного разрыва) (см.: [Там же: 190–191]).

Действительно, не было бы свободы, если бы в каждый момент существовали бы причины всех событий, которые когда-либо произойдут. К счастью, принцип причинности не заставляет нас принимать это следствие. <...> Это доказательство показывает, что могут существовать причинные цепи, которые еще не начались, а целиком лежат в будущем. Такая точка зрения представляется не только логически возможной, но и действительно кажется более умеренной, нежели высказывание, что даже каждое мельчайшее будущее событие имеет свою причину, действующую с сотворения мира. Я не сомневаюсь, по крайней мере, что некоторые будущие события имеют свои причины уже сегодня и имели их извечно. Небесные явления, затмения солнца или луны астрономы предвидят на много лет вперед с точностью до минуты и секунды, основываясь на наблюдениях и законах движения небесных тел. Но то, что такая-то и

именно такая муха, которая сегодня еще вообще не существует, зажужжит мне над ухом в самый полдень 7 сентября будущего года, этого еще никто сегодня предвидеть не в силах, а высказывание о том, что это будущее поведение этой будущей мухи имеет уже сегодня свои причины и имело их извечно, кажется скорее фантазией, чем утверждением, имеющим хотя бы тень научного обоснования [Лукаевич 1999: 190–191].

Весьма близко к идеям Я. Лукаевича стоит осуществленная Ю. М. Лотманом экспликация восприятия истории в момент «исчерпания взрыва», понимаемая как «подмена информативности фатализмом» (см.: [Лотман 1992: 33]).

Происходит ретроспективная трансформация. Происшедшее объявляется единственно возможным — «основным, исторически предопределенным». То, что не произошло, осмысливается как нечто невозможное. Случайному приписывается вес закономерного и неизбежного. В таком виде события переносятся в память историка. Он получает их уже трансформированными под влиянием первичного отбора памяти. Особенно же важно, что в его материале изолированы все случайности, взрыв трансформирован в закономерное линейное развитие <...>. Из понятия взрыв исключается момент информативности — он подменяется фатализмом. Взгляд историка — это вторичный процесс ретроспективной трансформации. Историк смотрит на событие взглядом, направленным из настоящего в прошлое. Взгляд этот по самой своей природе трансформирует объект описания. Хаотическая для простого наблюдателя картина событий выходит из рук историка вторично организованной. Историкам свойственно исходить из неизбежности того, что произошло [Там же: 33].

Подобная позиция историка парадоксальным образом отрицает время и тем самым историю, поскольку в таком случае нет никакой разницы между прошлым, настоящим и будущим:

Тот, кто принимает подобную точку зрения, не может по-разному трактовать будущее и прошлое. Поскольку все, что когда-нибудь осуществится и когда-нибудь будет истинным, сегодня уже истинно, было им извечно, то будущее точно так же осуществлено, как и прошлое. Только лишь еще не наступило [Лукаевич 1999: 183].

Ю. М. Лотман наделяет историка двойным видением события — чего, по Лукасевичу, лишен и детерминист, и индетерминист. Историк, по Лотману, одновременно и детерминист, и индетерминист. Соответственно, индетерминистский подход к истории приводит к ее изменямости. Сходства и некоторые различия между концепцией истории Я. Лукасевича и Ю. М. Лотмана рельефно проявляются в используемом ими обоими сравнении истории с кинофильмом (спектаклем) (см.: [Лукасевич 1999: 183, 197; Лотман 1994б: 427]).

Детерминист рассматривает события, происходящие в мире, как повторную демонстрацию кинодрамы, снятой где-то во всемирной киностудии. Мы находимся внутри представления, и хотя каждый из нас не только зритель, но и участник действия, тем не менее финал фильма нам не известен. Но этот финал есть, существует с начала представления, ибо весь фильм снят бесконечно давно. В этом фильме заранее предусмотрены все наши роли, все наши включения и жизненные коллизии, все наши решения и злые и добрые поступки, и предвидены моменты и твоей и моей смерти. Во всемирной драме мы выступаем лишь в роли марионеток. Нам не остается ничего другого, как только созерцать зрелище и терпеливо ожидать конца [Лукасевич 1999: 183].

Иная позиция у индетерминиста:

Нам ничто не мешает принять, что не все будущее заранее предопределено. Если существуют причинные цепи, начинающиеся лишь в будущем, то только некоторые события, наиболее близкие к настоящему, какие-то *завтрашние* происшествя являются причинно определенными настоящим моментом. Чем дальше в будущее, тем меньше событий даже всевидящий разум сумел бы предвидеть с позиции настоящего момента: предопределены какие-то каждый раз более общие *рамки* событий, а в рамках этих все больше места отводится *возможности*. Всемирная драма не является фильмом, снятым извечно; чем дальше от мест, как раз демонстрируемых, тем больше пробелов и пустых пятен появляется в фильме. И хорошо, что именно так. Ибо ничто нам не препятствует верить, что мы не только лишь пассивные зрители драмы, но и ее исполнители. Среди возможностей, ожидающих нас, мы можем выбрать лучшие возможности и избежать худших. Мы можем как-то сами изменять будущее мира согласно нашим намерениям. Как это возможно, я не знаю; верю только, что это возможно [Лукасевич 1999: 197].

Для Ю. М. Лотмана история — это спектакль, который историк смотрит второй раз:

Ретроспективный взгляд позволяет историку рассматривать прошедшее как бы с двух точек зрения: находясь в будущем по отношению к описываемому событию, он видит перед собой всю цепь реально совершившихся действий, переносясь в прошлое умственным взглядом и глядя из прошлого в будущее, он уже знает результаты процесса. Однако эти результаты как бы еще не совершились и преподносятся читателю как предсказания. В ходе этого процесса случайность из истории полностью исчезает. Положение историка можно сравнить с театральным зрителем, который второй раз смотрит пьесу: с одной стороны, он знает, чем она кончится, и непредсказуемого в ее сюжете для него нет. Пьеса для него находится как бы в прошедшем времени, из которого он извлекает знание сюжета. Но одновременно как зритель, глядящий на сцену, он находится в настоящем времени и заново переживает чувство неизвестности, свое якобы «незнание» того, чем пьеса кончится. Эти взаимно связанные и взаимоисключающие переживания парадоксально сливаются в некое одновременное чувство [Лотман 1994б: 427].

Подход Ю. М. Лотмана дополняет Я. Лукасевича в одном существенном отношении, чей зритель может лишь выбирать из данных ему возможностей, при этом никак не проясняется, на основании чего он способен оценивать одни возможности как лучшие, а другие — как худшие (видимо, это основано на некоторой способности предвидеть будущие события). Я. Лукасевич вообще не затрагивает вопрос об осмыслении событий, и тем более — об изменении их возможного осмысления. Между тем, как пишет Ю. М. Лотман, «случайный *до* реализации выбор становится детерминированным *после*. Ретроспективность усиливает детерминированность» [Лотман 1999а: 325]. Тем самым Лотман допускает определенное (пусть хотя бы семантическое) воздействие настоящего на прошлое. Здесь возникает вопрос — насколько предсказуемым явится результат этого воздействия? И на помощь ученому приходит сравнение истории с кинофильмом. Лотман, полемизируя с Марком Блоком, использует парадоксальный образ:

Сравнивая восстанавливаемое историком прошлое с кинофильмом, М. Блок использует метафору: «В фильме, который он (историк. — Ю. Л.) смотрит, целым остался только последний кадр.

Чтобы восстановить стершиеся черты остальных кадров, следует сперва раскручивать пленку в направлении, обратном тому, в котором шла съемка» <...>. Если пользоваться образом Марка Блока, то это такой странный кинофильм, который, будучи запущен в обратном направлении, не приведет нас к исходному кадру. Здесь корень разногласий. По Блоку, — и это естественное следствие ретроспективного взгляда — события прошлого историк должен рассматривать как единственно возможные [Лотман 1994б: 319–320].

Далее Лотман никак не объясняет, каким образом запущенная в обратном направлении кинолента приведет нас не к «исходному», а к некоторому иному, «ставшему исходным» кадру. И откуда взялся этот «новый исходный» кадр? Можно ли понимать это сравнение как признание изменяемости прошлого, причем непредсказуемой изменяемости? Хотя Ю. М. Лотман и не ставит вопрос в такой радикальной форме, уйти от подобной постановки проблемы невозможно. Изменяемость прошлого — это не только возможность политического манипулирования историей вплоть до той радикальной формы, которая представлена в романе Джорджа Оруэлла «1984»¹⁷. Это и вытекающая из индетерминированности истории логико-семантическая особенность высказываний о прошлом. Оруэлл не выдумал, а лишь предельно эксплицировал те возможности политической манипуляции, которые обусловлены зависимостью образов будущего и прошлого от образа настоящего. Так, центральный лозунг ингсоца (английского социализма) гласит: «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим; кто управляет настоящим, управляет прошлым». Власть над настоящим формирует тот образ прошлого и будущего, который со-

¹⁷ Ср. доведенное Оруэллом до предела представление об изменяемости истории: «The mutability of the past is the central tenet of Ingsoc. Past events, it is argued, have no objective existence, but survive only in written records and in human memories... It also follows that though the past is alterable, it never has been altered in any specific instance. For when it has been recreated in whatever shape is needed at the moment, then this new version is the past, and no different past can ever have existed. <...> And if all others accepted the lie which the Party imposed — if all records told the same tale — then the lie passed into history and became truth. “Who controls the past”, ran the Party slogan, “controls the future: who controls the present controls the past”».

ответствует сегодняшним политическим целям: «Nothing exists except an endless present in which the Party is always right» («Ничего не существует, кроме бесконечного настоящего, в котором Партия всегда права»). И такая зависимость — вовсе не выдумка, приписанная Оруэллом безымянным властителям Океании. По сути так же понимает соотношенность между историей и настоящим и гуманист Карл Ясперс — история есть зеркало, в которой я узнаю себя¹⁸ (зеркало само по себе от меня независимо, но образ в зеркале есть уже мое отображение).

Стоит лишь продолжить и обобщить подобный подход, как это сделал Карл Поппер, введя понятие «исторической интерпретации», под которой он понимает «сознательное введение точки зрения»¹⁹. Как правило, историк легитимизирует современную ему власть:

<...> люди, обладающие властью, как правило, хотят того, чтобы их боготворили, и это им вполне удается — многие историки писали под надзором императоров, генералов и диктаторов [Поппер 1992: 312].

Единой универсальной и «объективной» истории, то есть независимой от точки зрения историка, нет и не может быть:

На мой взгляд, единой истории человечества нет, а есть лишь бесконечное множество историй, связанных с разными аспектами человеческой жизни, и среди них — история политической власти.

¹⁸ «Картина всемирной истории и осознание ситуации в настоящем определяют друг друга. Так же, как я вижу целостность прошлого, я познаю и настоящее. Чем более глубоких пластов я достигаю в прошлом, тем интенсивнее я участвую в ходе событий настоящего. К чему я принадлежу, во имя чего я живу — все это я узнаю в зеркале истории» [Ясперс 1991: 309].

¹⁹ «Попытка проследить причинные цепочки, уводящие в далекое прошлое, ни к чему не приводит, ибо каждое следствие, с которого мы начинаем, имеет великое множество различных причин; иначе говоря, начальных условий слишком много и в большинстве случаев они не очень интересны. Единственный способ, которым мы можем преодолеть эту трудность, состоит в том, чтобы сознательно ввести в историю точку зрения, то есть писать ту историю, которая нас интересует. Назовем такую селективную точку зрения или фокус исторического интереса, если она не может быть сформулирована в виде проверяемой гипотезы, Исторической Интерпретацией» [Поппер 1993: 172–173].

Ее обычно возводят в ранг мировой истории, но я утверждаю, что это оскорбительно для любой серьезной концепции развития человечества. Такой подход вряд ли лучше, чем трактовка истории воровства, грабежей или отравлений как истории человечества, поскольку история политической власти есть не что иное, как история международных преступлений и массовых убийств (включая, правда, некоторые попытки их пресечения). Такой истории обучают в школах и при этом превозносят как ее героев некоторых величайших преступников [Поппер 1992: 312].

Поэтому, по Попперу, лучше не обманывать других и себя «бесплодной идеей научной объективности», а честно и открыто соотносить прошлое с сегодняшними политическими целями. Правда, это должно быть сделано не столь прямолинейно, как в оруэлловской Океании: это соотношение должно осуществиться не путем выдумывания несуществующего, а за счет сознательного привнесения в историю того смысла, который будет служить благородным идеалам²⁰. Поскольку политические, пусть даже самые благородные, цели изменчивы, то, по Попперу, каждое поколение будет воспринимать историю по-другому:

Ведь у каждого поколения есть свои трудности и проблемы, свои собственные интересы и свои взгляды на исторические события, и, следовательно, каждое поколение вправе воспринимать историю по-своему, интерпретировать ее со своей точки зрения, которая дополняет точку зрения предшествующих поколений. В конечном счете мы изучаем историю для того, чтобы удовлетворять свои интересы и, по возможности, понять при этом свои собственные проблемы. Однако ни одной из этих двух целей мы не достигнем, если, находясь под влиянием бесплодной идеи научной объективности, не

²⁰ «Я утверждаю, что история не имеет смысла. Из этого, конечно, не следует, что мы способны только с ужасом взирать на историю политической власти или что мы должны воспринимать ее как жестокую шутку. Ведь мы можем интерпретировать историю, исходя из тех проблем политической власти, которые мы пытаемся решить в наше время. Мы можем интерпретировать историю политической власти с точки зрения нашей борьбы за открытое общество, за власть разума, за справедливость, свободу, равенство и за предотвращение международных преступлений. Хотя история не имеет цели, мы можем навязать ей свои цели, и хотя история не имеет смысла, мы можем придать ей смысл» [Поппер 1992: 320–321].

решимся представить исторические проблемы со своей точки зрения [Поппер 1992: 309].

Как видим, нет и не может быть некой неизменной и «объективной» истории — есть постоянно дополняемое и изменяемое множество *историй*, определяемых различными политическими интересами различных акторов. (Наглядную иллюстрацию тому можно найти в английском: *The History — histories — stories*.) Сама история изменяется во времени — «каждое новое поколение» привносит новые версии истории. Тоталитарные властители Океании и поборник открытого общества сходятся в том, что история есть инструмент политической власти и вопрос лишь в том, реализации каких — «хороших» или «плохих» — политических целей служит та или иная «историческая интерпретация». Но кто должен оценивать эти цели? Естественно, некий орган, поощряющий «хороших» и наказывающий «плохих», как то было предусмотрено еще Платоном²¹ — кстати, главным объектом критики Поппера.

Однако едва ли подобная политизированная интерпретация изменчивости истории оказалась бы приемлемой для Ю. М. Лотмана, хотя он и оценивает такую изменчивость как «психологическую потребность общества» [Лотман 1992: 196]. Его скорее привлекла бы интеллектуальная или, как назвал это М. Л. Гаспаров, «эстетическая» изменчивость. Лотман осознает необходимость творческого подхода к истории и, одновременно, чувствует опасность перерастания «творческого» подхода в фальсификацию, особенно при наличии политического заказа²².

²¹ «Прежде всего нам, вероятно, надо смотреть за творцами мифов: если их произведение хорошо, мы допустим, если же нет — отвергнем. Мы уговорим воспитательниц и матерей рассказывать детям лишь общепризнанные мифы. А большинство мифов, которые они теперь рассказывают, надо отбросить» (Рер., 377b–c — Платон 1994: 139).

²² Интересные наблюдения приведены в статье Михаила Трунина, где, в частности, прослеживается оппозиция «домысел — вымысел», предложенная Лотманом для исторических описаний (см.: [Трунин 2013]). Показательно и негативное отношение Ю. М. Лотмана к Сергею Эйзенштейну, обусловленное вольным, доходящим до прямой фальсификации отношением к истории со стороны великого режиссера (см. об этом: [Белобровцева 2012; Трунин 2016]). Пользуясь случаем, приношу благодарность Михаилу Трунину за его

Однако признавать подобную изменяемость, субъективность и даже — возможную ненаучность исторических интерпретаций вовсе не означает объявлять всякую интерпретацию произвольной (см.: [Вригт 1986: 184]). Как отмечает Вригт,

Свойственное историческому исследованию рассмотрение одного и того же прошлого каждый раз с новой точки зрения называется иногда процессом переоценки прошлого. Но такая характеристика легко может ввести в заблуждение, так как делает суждение историка вопросом его вкусов и предпочтений, в соответствии с которыми он выбирает важное или «ценное». Разумеется, этот элемент присутствует в историографии. Однако по существу приписывание нового значения прошлым событиям является не вопросом субъективной «переоценки», а вопросом *объяснения*, справедливость которого в принципе допускает объективную проверку. Например, утверждение, что более раннее событие сделало возможным более позднее событие, может быть, и нельзя окончательно верифицировать или опровергнуть. Но это утверждение основано на *фактах*, а не на том, что *думает* историк об этих фактах [Там же].

Нам представляется, что для Ю. М. Лотмана была бы ближе именно такая версия изменяемости истории, которая исходила бы не из политических целей, а из внутреннего смыслового потенциала соотнесенных между собой исторического прошлого и настоящего, многовекторности и многозначности устанавливаемых при подобном соотнесении причинно-следственных отношений и объясняющих моделей. Как следствие уже отмеченной неизбежной при описании исторического процесса ретроспекции, осмысление прошлого исходит из настоящего — вновь используя метафору М. Блока, можно сказать, что кинолента прокручивается в обратном направлении. Но, как и предполагал Ю. М. Лотман, такой показ не приведет нас к начальному кадру. Остается лишь выдвинуть гипотезу, что сама лента изменилась к моменту просмотра.

консультации и указание на неопубликованные работы Ю. М. Лотмана, которые, как можно будет убедиться в заключительной части настоящего раздела, имеют огромное значение для понимания лотмановской концепции описания исторического процесса.

Ретроспективная взаимозависимость прошлого и настоящего приводит к возможному воздействию настоящего на прошлое. Как было убедительно продемонстрировано Артуром Данто, невозможно осмысленное описание происшедших событий без знания событий, которые произойдут позже. Идеальный хронист, который был бы в состоянии наблюдать, а затем представить полное описание всех происшедших событий, тем не менее не в состоянии написать историю, поскольку он не обладает знанием о том, что произошло потом. Поэтому:

Чтобы понимать историческое значений событий в тот момент, когда они происходят, необходимо знать, с какими более поздними событиями их свяжут историки будущего в своих нарративных предложениях. Так что недостаточно одной способности предсказывать события будущего, необходимо знать, *какие* будущие события окажутся относящимися к делу, для этого потребуется предсказать *интересы* историков будущего [Данто 2002: 164].

Идеальный хронист, если использовать термин Ю. М. Лотмана, лишен проспективного, следовательно, и ретроспективного видения происходящего события. И если само происшедшее в прошлом событие остается неизменным, то его описание подвержено постоянным изменениям, набор которых не может быть описан исчерпывающим образом:

В каком-то смысле можно говорить об изменении прошлого. Имеется в виду, что событие в момент времени t_1 приобретает новые свойства не потому, что мы (или что бы то ни было) каузально воздействуем на него, и не потому, что оно продолжает происходить в момент времени t_1 , хотя t_1 завершился, но потому, что это событие вступает в различные отношения с событиями, которые произойдут позже. А это, по сути, означает, что *описание* события-Е-в-момент-времени- t_1 может становиться со временем разнообразней, хотя само событие не проявляет каких-либо изменений, и именно поэтому «полное описание» события Е, происшедшего в момент времени t_1 , не может быть окончательным [Там же: 151–152].

При этом если некоторое более раннее событие является необходимым условием для более позднего события, то более позднее

событие, соответственно, явится достаточным условием для более раннего²³:

Поэтому достаточное условие для некоторого события E_1 может появиться по времени позже, чем само событие $\langle \dots \rangle$. Трудно предположить, что E_2 обуславливает появление E_1 , но по крайней мере оно делает возможным такое описание события E_1 , которого не мог дать очевидец $\langle \dots \rangle$. Может существовать бесконечно много таких описаний, поскольку каждое достаточное условие для события E_1 , появившееся позже E_1 , предлагает новое описание этого события. Точно такие же соображения могут быть применимы к более поздним по времени необходимым условиям события E_1 [Данто 2002: 151].

Как видим, расхожая в свое время шутка «Россия — страна с непредсказуемым прошлым» оказывается применимой к любой истории. Недетерминированность описаний прошлого есть оборотная сторона индетерминированности будущего. (В противном случае, как мы уже отмечали, ссылаясь на Я. Лукасевича, не было бы разницы между прошлым, настоящим и будущим.)

Близкая идея, учитывающая точку зрения А. Данто, содержится и у Вригта:

²³ А. Данто обосновывает это формально: «Если E_1 — необходимое условие для E_2 , а E_2 — достаточное условие для E_1 , то первое событие влечет второе: $E_1 \supset E_2$. Если же второе событие не имеет места ($\sim E_2$), стало быть, не имело места и первое событие как причина второго, следовательно: $\sim E_2 \supset \sim E_1$ » [Данто 2002: 152–153, 281]. Подобная соотнесенность выглядит весьма странно, но на практике можно найти немало подтверждающих ее примеров. Например, факт независимости государства Х становится достаточным основанием для признания некоторой лингвистической системы (диалекта) языком. Так, распад Югославии стал достаточным основанием для того, чтобы вместо рассматриваемого ранее как единый язык сербохорватского появились четыре новых (сербский, хорватский, черногорский и боснийский). Правда, хотя это и соответствует приведенной А. Данто формуле, несколько странно в данной связи говорить о том, что существование этих языков в прошлом было необходимым условием для распада Югославии, — даже если понимать слово «язык» в его архаичном значении — как «народ». Этот пример показывает, что чисто логическая интерпретация событий может не соответствовать содержательной.

Пересмотр отдаленного прошлого в свете более недавних событий в высшей степени характерен для научного исследования, именуемого историографией. Это объясняет, почему по концептуальным основаниям невозможно полное или окончательное описание исторического прошлого. Причина не только в том, что могут выясниться еще не известные факты. Это верно, но довольно тривиально. Нетривиальное основание заключается в том, что в процессе понимания и объяснения более недавних событий историк приписывает прошлым событиям такую роль и значение, которыми они не обладали до появления этих новых событий. А поскольку будущее нам неизвестно, то мы не можем сейчас знать все характеристики настоящего и прошлого [Вригт 1986: 184].

Поэтому, согласно Вригту, «полное понимание исторического прошлого предполагает, что будущего нет, что история окончена», и тот, кто претендует на такое понимание, должен, подобно Гегелю, рассматривать самого себя как «завершение мировой истории» [Там же].

Идеальный хронист, будучи очевидцем, уже по этой причине не может быть историком, поскольку право на написание истории принадлежит будущим победителям (ср. знаменитый афоризм Оруэлла «History is written by the winners»). Бомбили ли нацисты Лондон или нет в 1944 г., когда Оруэлл писал свою статью и чему он должен был быть очевидцем? Ответ зависел от того, кто выйдет победителем из этой войны, чего, конечно, Оруэлл в тот момент знать не мог²⁴.

Однако позволим себе предположить, что наиболее близкой к концепции Ю. М. Лотмана является иная версия изменчивости прошлого (именно прошлого, а не его описания), которая дана у Я. Лукасевича:

Но и к прошлому мы должны относиться точно так же, как и к будущему. Если из будущего только лишь то сегодня действительно, что причинно предопределено в настоящий момент, а начинающиеся в будущем причинные цепи принадлежат сегодня сфере возможного, то и из прошлого реально сегодня лишь то, что еще сегодня

²⁴ «For the purposes of a future historian, did those raids happen, or didn't they? The answer is: If Hitler survives, they happened, and if he falls they didn't happen» [Orwell 1968: 89].

действует в своих следствиях. События, которые в своих следствиях полностью исчерпались так, что даже всевидящий разум не мог бы их вывести из событий, происходящих сегодня, принадлежат сфере возможного. Нельзя о них утверждать, что они *были*, но лишь, что они были *возможны*. И хорошо, что именно так. В жизни каждого из нас случаются тяжелые минуты страданий и еще более тяжелые минуты вины. Мы хотели бы стереть эти минуты не только из нашей памяти, но и в действительности. Ничто не препятствует нам верить, что когда исчерпают себя все следствия этих роковых минут, даже если бы это произошло лишь *после* нашей смерти, тогда и они сами будут вычеркнуты из материального мира и перейдут в сферу возможного. Время утоляет печали и несет нам прощение [Лукаевич 1999: 198].

Как видим, Я. Лукаевич намечает такое понимание, которое наверняка заинтересовало бы Ю. М. Лотмана, — по крайней мере, оно достаточно близко к его концепции эволюции культуры. Событие, хоть и реализованное в прошлом, но переставшее быть соотнесенным с событиями настоящего, вновь становится не актуальным, а только возможным — если только некоторое новое событие не сделает его вновь актуальным. Естественно предположить, что поскольку с течением времени будут исчерпаны все следствия некоторого события, то тем самым любое историческое событие в какой-либо момент вновь становится возможным — каким оно и было до того, как произошло.

3

После проделанного сопоставления рассмотрим, какое решение непредсказуемая изменчивость прошлого получает у Ю. М. Лотмана. Его подход не столь парадоксален и более академичен. Ученый исходит из того, что «историческая реальность всегда бесконечно сложнее моделей историка, хотя не может быть осмыслена без них. Необходимо только учитывать предел адекватности, за гранями которого научная мысль превращается в поэтическую метафору» [Лотман 2010: 85].

Однако если применительно к концепции Карла Поппера уместен вопрос, как отличить «хороших» деятелей от «плохих», то

здесь возникает другой вопрос: кто и как может определить «предел адекватности»? Для Лотмана происшедшее событие является непреложным фактом, игнорирование которого недопустимо. Это, по Лотману, — «домысел». «Домыслом» является и домысливание событий, относительно которых нет документальных подтверждений. Для него это тот предел, который не позволяет в явной форме говорить об изменяемости прошлого. Вместе с тем в истории происходило множество событий, о которых не оставлено каких-либо свидетельств, но которые, *возможно*, имели место. Тем самым засвидетельствованная документами история дополняется *возможной* историей. Все, что прямо не противоречит фактам, есть «вымысел», который, хоть и будучи ненаучным (поскольку не может быть ни верифицируем, ни фальсифицируем), вполне допустим при описании истории и культуры²⁵.

Поэтому, не приемля «оруэллизации» или даже «эйзенштейнизации» истории, но при этом осознавая ограниченность традиционного методологического инструментария, Лотман допускает при соблюдении определенных условий наличие в ней «вымысла»:

Домысел <...> не может иметь места, а вымысел должен быть строго обоснован научно истолкованным документом [Лотман 1987: 13].

Безусловно, «строго обоснованный» и «научно истолкованный» вымысел едва ли можно назвать таковым (это скорее гипотеза — ср.: [Лурье 1976: 13]), поэтому столь жесткие условия, как правило, не соблюдаются. Но само появление этого слова не случайно. Говоря о различных аспектах человеческой деятельности, Ю. М. Лотман постоянно обращается к идее вымысла. Начиная с ранних работ по поэтике и кончая последними по философии истории, Лотман постоянно цитирует пушкинские строки «Над вымыслом слезами обольюсь» — в подтверждение того, что вы-

²⁵ Характерное для последних работ Ю. М. Лотмана противопоставление «вымысла» и «домысла», как явствует из подготовленной М. Труниным публикации, восходит к неопубликованной заметке Лотмана «О вымысле и доммысле», написанной в 1963 г. (машинопись, 6 страниц, см.: [ESV: f. 1 [J. Lotman]), поводом для которой послужили опубликованные в «Вопросах литературы» «домыслы» Б. Лавренева [Трунин 2013].

мысел есть особого рода реальность. Поэтому в отличие от упомянутых выше логиков Ю. М. Лотман предлагает не логико-семантические, а художественные механизмы дополнения (тем самым и изменения, хотя этого слова он избегает) прошлого. Лотман находит решение в медиативных формах (в духе медиации К. Леви-Строса): противоречие между неизменяемостью прошлого и изменяемостью истории не устраняется, но принимает промежуточную, не столь радикальную форму.

«Вымысел» может быть различной степени и принимать различные формы: от гипотезы до исторического романа. Условно можно выделить следующие ступени. Историк «невольно» — в силу особенностей своего методологического инструментария — обречен оставаться в пространстве текстов. Из текстов он «создает» факты и как минимум дважды «деформирует» (тем самым изменяет) историю: при превращении данных ему текстов в факты и затем уже при преобразовании созданных фактов в новый текст. При таком подходе историк мало чем отличается от писателя. Ю. М. Лотман детально описывает этапы подобной «деформации». Во-первых, в отличие от «идеального хрониста», который может наблюдать события непосредственно, историк имеет дело исключительно с *искаженными образами* событий:

Следовательно, сама необходимость для историка опираться на тексты, а для текстов — пересказывать события по законам языковых и логических, риторических и нарративных конструкций связана с тем, что историческая реальность попадает в руки исследователя в заведомо деформированном виде. К этому еще следует прибавить идеологическое кодирование, составляющее высшую иерархическую ступень построения нарративного текста и подразумевающую жанровые, идейно-политические, социальные, религиозные, философские и прочие коды [Лотман 1999а: 307–308].

Во-вторых, исторический факт есть не объект описания, а его результат:

Историк обречен иметь дело с *текстами*. Между событием «как оно произошло» и историком стоит текст, и это коренным образом меняет научную ситуацию. Текст всегда кем-то и с какой-то целью создан, событие предстает в нем в зашифрованном виде.

Историку предстоит, прежде всего, выступить в роли дешифровщика. Факт для него не исходная точка, а результат трудных усилий. Он сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии — событие [Лотман 1999а: 301–302].

Тем самым историк выступает не как описатель фактов, а как их создатель. Но при этом, создавая факт, историк не в состоянии отделить его от текста, ибо:

<...> факт — не концепт, не идея, он — текст, то есть имеет всегда реально-материальное воплощение, он есть событие, которому придано значение, а не значение, которому, как в притче, придан вид события. В результате факт, выбранный отправителем, оказывается шире значения, которое ему приписывается в коде, и, следовательно, однозначный для отправителя, он для получателя (в том числе и для историка) подлежит интерпретации [Там же: 304].

Вследствие этого факт «вынужден» разделить судьбу всех других типов текстов — он теряет свой абсолютный характер, поскольку он детерминирован не событием, а культурным кодом и оказывается не столько производным от события, сколько порождением культуры в целом. Таким образом, воздействие факта на историю оказывается семиотическим или даже текстуальным²⁶, а не причинно-следственным, как это принято понимать в философии истории (см.: [Там же: 306]).

Наконец, историк, некоторым образом выделив факты из исходных текстов, далее вынужден создать новый текст об этих фактах. Текстуализация истории влечет ее последующие трансформации: во-первых, нарративизацию, во-вторых, ее ретроспективную оценку с точки зрения будущих событий:

Необходимость опираться на тексты ставит историка перед неизбежностью двойного искажения. С одной стороны, синтагматическая линейная направленность текста трансформирует событие,

²⁶ Чтобы правильно понять эту мысль, следует учитывать, что, согласно теории текста Ю. М. Лотмана — А. М. Пятигорского, статус текста определяется не лингвистическими или структурными характеристиками, а прагматическими и функциональными, согласно которым «текст» может быть только истинным и только правильным (см. предыдущий раздел, с. 28–33).

превращая его в нарративную структуру, а с другой, противоположная направленность (ретроспективная. — С. 3.) взгляда историка [Лотман 1999а: 331].

Тем самым история оказывается организованной не вследствие некоторой трансцендентальной причины или глубинной идеи (так называемый смысл истории), а будучи детерминированной, но не причинно-следственными или интенциональными структурами, а лингвистическими и семиотическими. На историю переносятся такие характеристики текста, как связность, нарративность и истинность (о последнем Ю. М. Лотман не упоминает, но это следует из его критерия разграничения текста от не-текста):

<...> историк обречен иметь дело с текстами. Это обстоятельство решающим образом сказывается не только на структуре исторического факта, но и на его осмыслении, на представлении об исторических закономерностях. Превращение события в текст, прежде всего, означает пересказ его в системе того или иного языка, то есть подчинение его определенной заранее данной структурной организации. Само событие может предстать перед зрителем (и участником) как неорганизованное (хаотическое) или такое, организация которого находится вне поля осмысления, или как скопление нескольких взаимно не связанных структур. Будучи пересказано средствами языка, оно неизбежно получает структурное единство. Единство это, физически принадлежащее лишь плану выражения, неизбежно переносится на план содержания. Таким образом, самый факт превращения события в текст повышает степень его организованности. Более того, система языковых связей неизбежно переносится на истолкование связей реального мира [Там же: 307].

Как видим, Лотман, не рассматривая возможности сознательной или бессознательной фальсификации истории, выделяет как минимум пять факторов ее деформации, происходящей в процессе ее описания историком. Тем самым открывается возможность для постоянного уточнения, дополнения и изменения истории. Поскольку все эти уточнения, дополнения и изменения основываются на текстах, прилагаются к текстам и имеют форму текстов, то все эти факторы приложимы и к ним. В силу этого процесс уточнения, дополнения и изменения истории становится постоянным и бесконечным.

4

Подобное представление о методологических ограничениях и неизбежной нарративизации и текстуализации истории может привести к парадоксальному выводу — историю должны писать не историки, а «специалисты» по текстам и нарративам, то есть филологи, семиотики и романисты²⁷. Поэтому претендующий на адекватное описание событий историк становится... художником:

Всякий профессиональный историк рано или поздно убеждается, что исторические документы не дают полного знания эпохи. Не только очень важные стороны жизни вообще не отражаются на бумаге, но и понять то, что пишут люди другой эпохи<, > бывает трудно, а часто и невозможно. Документ раскрывается лишь в контексте эпохи, а контекст этот, во всей своей полноте, часто нам неизвестен. Историк, такой как, например, Ключевский<, > поступает как художник: интуитивно воссоздает контекст и дух времени, а затем с его помощью связывает воедино и интерпретирует документы²⁸.

Еще дальше, согласно Ю. Лотману, идет Ю. Н. Тынянов — он не ограничивается интерпретацией документов, а вынужденно становится романистом:

Ю. Н. Тынянов сделался романистом, я в этом убежден, т. к. буквально страдал от невозможности, основываясь на одних документах, понять эти документы. Так, от Грибоедова дошло так мало документальных данных, что разгадать мотивы его поведения и загадку его личности на их основании мы бессильны. И Тынянов создает

²⁷ В определенной степени это и произошло — после работ Хейдена Уайта история рассматривается как нарратив, а методологией исторического описания становится поэтика (см.: [Уайт 2002; Анкерсмит 2003], а также антологии: [Jenkins 1997; Roberts 2001]). С иных позиций, но к аналогичным выводам в свое время пришел и Ролан Барт [Барт 2003]. Однако поскольку у Ю. М. Лотмана нет каких-либо упоминаний о подобном подходе к историческому описанию, мы эту тему рассматривать не будем.

²⁸ Письмо Ю. М. Лотмана к Я. Кроссу от 9.X.1982 приводится по публикации: [Трунин 2013]. Оригинал: [ESV: f. 1].

«миф о Грибоедове», с помощью которого дешифрует исторические факты²⁹.

Безусловно, интуиция исследователя, основанная на знании документов и проникновении в изучаемую эпоху, может в некоторой мере компенсировать неполноту исторических данных. Но, как видим, вопрос не только в «неполноте» нашего знания и отсутствии документальных свидетельств о множестве имевших место событий — куда более серьезным оказывается вопрос о невозможности понимания документов, если основываться лишь на них одних. И дело здесь не столько в «праве» романиста на вымысел, скорее речь идет о той же проблеме, о которой по разному поводу писали А. Данто и Ю. М. Лотман. Идеальный хронист видит только прошлое, для историка, глядящего на прошлое из настоящего, история становится детерминированной и лишается непредсказуемости. Поэтому необходим «взгляд в будущее», которым в данном случае не обладает историк и обладает романист:

<...> если историк стремится понять уже совершившееся прошлое и опирается на данные ему застывшие факты, то пишущий о прошлом художник восстанавливает момент совершения событий во всей их непредсказуемости. Следовательно, в отличие от историка, романист, даже удаляясь в далекое прошлое, всегда пишет о будущем, которому еще предстоит свершиться на следующих страницах его книги [Лотман 2010: 70].

Историк и романист — две ипостаси, два аспекта осмысления прошлого, которые соединяются в историческом романе: «Исторический роман — синтез двух противоположных способов осмысления жизни: история трактуется со свободой вымысла, а вымысел получает у читателя ценность подлинного факта»³⁰.

Но, безусловно, подобный подход превращает историю в художественный текст, который, в свою очередь, замещает действительность. Несомненно, такой подход сродни общесемиотическому подходу Ю. М. Лотмана (который прекрасно выражен в заглавии, видимо, последней из написанных им рецензий: «Иллюзия до-

²⁹ См. примеч. 30.

³⁰ Там же.

стоверности — достоверность иллюзии», см.: [Лотман 1994в]). Но вполне допустимый в сфере художественного творчества, он череват уже не метафорическим, а буквальным «со-творением» истории путем вольной или невольной фальсификации³¹:

Документальный фильм (который сродни историческому роману) не только объясняет, но и *творит историю* (Вальтер Скотт буквально создал для целых поколений эпохи европейской истории). Это прибавляет ему еще один аспект — современность опрокидывается в прошлое, а прошлое проецируется на современность³².

Можно предположить, что, по всей видимости осознавая возможные нежелательные последствия, эти идеи сам Лотман считал не до конца доработанными — в столь явной форме они содержатся либо в неопубликованных, либо в маргинальных работах (предисловиях). Очевидно, однако, что, по Лотману, художественное творчество призвано дополнить ограничивающее и деформирующее воздействие, неизбежно возникающее как следствие методологии исторического описания. В уже упомянутой полемике с М. Блоком Ю. М. Лотман, возвращаясь к используемому обоими сравнению истории с прокручиваемым в обратном направлении фильмом, предлагает следующее:

³¹ В упомянутом выше письме к Я. Кроссу, а затем в монографии «Диалог с экраном» Ю. М. Лотман приводит в качестве примера «сатанинскую жигу» Гитлера:

<...> все книги о второй мировой войне (зарубежные) обошло описание того, что Гитлер, приехав в Париж, захваченный немцами, в кафе Ротонда станцевал от радости дикий танец, который даже получил у историков название «сатанинская жига» или «танец скальпов». Между тем английский режиссер-документалист Джон Грирсон рассказал в газете в 1958 г., что этот факт создал он: монтируя захваченные немецкие киноплёнки<, > он обнаружил кадр: Гитлер, шагающий по Ротонде<, > в этом кадре оказался снятым со смешно поднятой ногой. Он размножил этот кадр и повторил его в английской кинохронике подряд 200 раз. Получился дикий танец. Миллионы людей увидели танцующего Гитлера. Саморазоблачение Грирсона не помогло: танец Гитлера стал историческим фактом (см. также: [Лотман, Цивьян 1994: 17]).

³² См. примеч. 30.

Представим себе кинофильм, демонстрирующий жизнь человека от рождения до старости, просматривая его ретроспективно, мы скажем: у этого человека всегда была только одна возможность, и он с железной закономерностью кончил тем, чем должен был кончить. Ошибочность такого взгляда станет очевидной при перспективном просмотре кадров: тогда фильм станет рассказом об упущенных возможностях и для глубокого раскрытия сущности жизни потребует ряда параллельных альтернативных съемок. И возможно, что в одном варианте герой погибнет в 16 лет на баррикаде, а в другом — в 60 лет будет писать доносы на соседей в органы госбезопасности [Лотман 1999а: 320–321].

Конечно же, такое повествование предполагает совсем иной тип повествования, характерный для художественного творчества: «В сфере искусства разыгрываются все возможные варианты реальности» [Лотман 2010: 78]. Искомый синтез видится Ю. М. Лотману не только в жанре исторического романа. Как было сказано, по Лотману, романист дополняет историка. Поэтому в полной мере осуществить такой синтез дано автору, который в одном лице совмещает обе ипостаси — историка и романиста (филолога, семиотика и т. д. — специалиста по текстам):

Историк, не склонный к теоретизированию, а занимающийся исследованием конкретного материала, обычно склонен удовлетворяться формулой Ранке: восстановить прошлое («wie es eigentlich gewesen») — как оно произошло на самом деле [Лотман 1999а: 301], —

этот историк уступает место не романисту, а романисту-историку. Воплощение подобного идеала Ю. М. Лотман находит в таких авторах, как Умберто Эко и Тынянов (с некоторыми оговорками это также и Пушкин, и Карамзин — однако эта тема требует отдельного рассмотрения). Характеристики, даваемые этим авторам, показывают, что в данном случае Лотман описывает собственный идеал возможного синтеза и преодоления методологических границ:

Тынянов не был писателем и филологом <...>. Он был писателем-филологом: художественное творчество и научный анализ сливались у него воедино, не противостоя, а дополняя друг друга <...>.

Тынянов пошел на шаг огромной научной смелости и честности: он объективизировал свою научную интуицию, показал читателю Пушкина с двух точек зрения: в научных статьях говоря: «Вот он, Пушкин; он таков потому, что таким его рисуют документы, которые я анализирую», и в романе, говоря: «Он таков потому, что я убежден, что он таков; я всю жизнь его изучал, я сжился с ним и могу вообразить себе его и в ситуациях, о которых не говорят никакие документы. Более того, именно эта моя вера осветит вам, объяснит и свяжет воедино разрозненные и немые без нее документы»³³.

Если прежде романист мог сказать: меня интересует то, чем не занимаются историки, — то теперь историк вводит читателя в те уголки прошлого, которые прежде посещали только романисты. Умберто Эко замыкает этот круг: историк и романист одновременно, он пишет роман, но смотрит глазами историка, чья научная позиция сформирована идеями наших дней [Лотман 1989: 478].

Но возможен и другой путь — историк из хрониста (по Лотману — биографа) становится реконструктором. И этот путь Ю. М. Лотман прошел сам — в созданных им «романах-реконструкциях» о Карамзине и Пушкине. Так, в книге «Сотворение Карамзина» Лотман предлагает — и сам же реализует — новый жанр «романа-реконструкции». Это синтетический жанр документальной прозы, где автор, объединяя в одном лице историка и романиста, лишен того, что дозволено писателю-романисту — «он не имеет права создавать — он должен воссоздавать»:

Исследователь и романист на равных правах соавторствуют в создании биографического романа-реконструкции. И оба они находятся в необычных условиях. Исследователь, вооруженный привычными навыками анализа документа, все время должен помнить о синтезе, соединять свои наблюдения в единое и живое целое. И методы работы у него синтетические — весь круг «наук о человеке» не должен быть ему чужд. Но и романист в необычном положении. Он не имеет права создавать — он должен воссоздавать <...>. Так, Ю. Н. Тынянов в своих романах, для того чтобы объяснить роковое для Грибоедова и русского посольства решение приближенного

³³Послесловие Ю. М. Лотмана к эстонскому переводу романа Ю. Н. Тынянова «Пушкин». Цит. по: [Трунин 2013]. Опубликовано по-эстонски: [Лотман 1985]; оригинал на русском языке хранится в архиве ученого в Таллине [ESV: f. 1].

шахского евнуха Мирза-Якуба (урожденного Маркаряна) попросить убежище в русской миссии, имел право создать фигуру влюбленного евнуха, а сердечную жизнь Пушкина построить вокруг «утаенной любви» к Карамзиной. Автор романа-реконструкции таких прав не имеет [Лотман 1987: 13].

Однако и этот синтетический жанр — еще не идеал. Как уже было сказано, столь строгие условия, предъявляемые к «вымыслу», превращают его в гипотезу. Верный своему подходу находить новые смыслы в диалогических отношениях, Ю. М. Лотман предлагает еще одну возможность — построение романа-реконструкции как диалога между историком и романистом:

Роман-реконструкция — особый жанр. Сюжет его создается жизнью и только жизнью. Домысел в нем не может иметь места, а вымысел должен быть строго обоснован научно истолкованным документом. Документальные, имеющие характер разысканий и исследований, главы в нем неизбежны и закономерно чередуются с такими, где анализ должен уступить место воображению. Может быть, лучше всего было бы писать произведения этого жанра в форме диалога между ученым и романистом, попеременно предоставляя слово то одному, то другому [Там же: 13].

Здесь — хотя это и прямо не высказано — вновь возникает вопрос о непреодолимой ограниченности средств исторического описания, почему и даже в более свободном жанре романа-реконструкции требуется дополнить исторические тексты художественными. Это — первое уточнение. Второе касается целей романа-реконструкции:

<Такой роман направлен> на воссоздание того целостного идеала личности, который создавал в своей душе герой биографии. Это был план, по которому он строил себя. Мы должны раскрыть, обнаружить этот план, угадать его среди других, возможных и невозможных, тех, которые следует отбросить, потому что они не были реализованы, и тех, которые по этой самой причине заслуживают особого внимания, и этим оживить сохранившиеся обломки, придать им смысл, заставить заговорить [Лотман 1987: 13].

Здесь уместно прозвучат те же возражения, которые сам Ю. М. Лотман адресовал Р. Дж. Коллингвуду:

За этими рассуждениями стоит убеждение в том, что семиотический (и, следовательно, психологический) мир англичанина XX в. и Цезаря или Феодосия идентичен и что, для перевоплощения в Цезаря или Феодосия, достаточно воображения и интуиции, изоощренной работой над источниками <...>. Коллингвуд предполагает снять антиномию между «миром Феодосия» и «миром историка» путем их полной идентификации. Путь семиотики противоположен: он подразумевает предельное обнажение различий в их структурах, описание этих различий и трактовку понимания как перевода с одного языка на другой. Не устранение исследователя из исследования (что практически и невозможно), а осознание его присутствия и максимальный учет того, как это должно сказаться на описании. Поэтому, в такой мере, в какой инструмент семиотического исследования есть перевод, инструментом историко-культурного изучения должна стать типология с обязательным учетом историка и того, к какому типу культуры принадлежит он сам <...>. Историк и история находятся внутри единого пространства человеческой культуры, но они в принципе говорят на разных языках и отношения их асимметричны [Лотман 1999а: 382–383].

Как видим, жанр романа-реконструкции, помимо историка и романиста, требует и третьего собеседника — семиотика. Иначе поставленная Лотманом задача «воссоздания целостного идеала личности» не разрешима. Ведь очевидно, что собственный язык историка требует быть описанным на некотором ином языке (метаязыке), а его адекватность может быть оценена уже неким другим субъектом (ср.: [Золян, Чернов 1977: 162]).

Подобное описание различий между миром и языком «историка» и миром и языком Феодосия предполагает некоторую точку, внешнюю по отношению к этим мирам, которая будет, как это предусмотрено у А. Данто, ретроспективным описанием из будущего и самого описывающего Феодосия историка. Это будет уже новая история, в которой сам историк оказывается объектом описания со стороны историка-семиотика. Но вследствие хорошо известного тезиса о бесконечной иерархии языков (язык низшего уровня может быть описан только посредством языка более высокого уровня) мир и язык нашего семиотика X также подлежит описанию со стороны семиотика Y , и тогда позиция X станет прошлой для описывающего его из будущего семиотика Y . То же самое об-

стоятельство должно иметь место применительно к семиотику Y , которого станет описывать метасемиотик Z . Но если при этом мы исходим из диалогического отношения между историком и семиотиками, то наш историк вынужден будет постоянно учитывать метаописания его романа-реконструкции, что приведет к необходимости его постоянного изменения. Следовательно, предполагаемый Ю. М. Лотманом роман-реконструкция должен быть не только бесконечным, но и постоянно изменяемым. Однако то, что предлагает Коллингвуд и с чем полемизирует Лотман, относится не только к роману-реконструкции, а характерно для исторического описания в целом. Тем самым — уже на иных основаниях — мы вновь приходим к идее о бесконечном и открытом характере исторических описаний и, по мере продвижения в будущее, их постоянных изменений.

Заключение

Особенность исторического описания, согласно концепции Ю. М. Лотмана, это — его проспективно-ретроспективный характер, в результате чего непредсказуемые в момент его совершения события в историческом описании выступают как детерминированные. Лотман прав, говоря, что ретроспективный взгляд историка деформирует их и приводит к тому, что случайное и недетерминированное событие *post factum* осмысляется как неизбежное. Подобный взгляд, соответственно, приводит к детерминистским концепциям философии истории. Однако, как было показано в аналитической философии при анализе так называемого логического фатализма, это есть свойство не самих событий, а высказываний о них. Но логико-семантические и лингвосемиотические характеристики исторического повествования этим не ограничиваются. Возможны различные версии взаимоотношений между темпоральными (настоящее, прошедшее, будущее) и модальными (необходимость, возможность, случайность, невозможность) характеристиками высказывания, что позволяет по-разному оценивать одно и то же событие (исчисление различных комбинаций этих модальностей дано в ряде работ, см.: [Прайор 1981; Вригт 1984; Смирнов 1984]).

Ю. М. Лотман использует наблюдение Д. С. Лихачева [1967: 262] о восприятии прошлого как будущего:

Для понимания этого места в тексте исключительно важно глубокое наблюдение Д. С. Лихачева о природе чувства времени в древнерусской культуре: «Прошлое было где-то впереди, в начале событий, ряд которых не соотносился с воспринимающим его субъектом. “Задние” события были событиями настоящего или будущего. “Заднее” — это наследство, остающееся от умершего, это то “последнее”, что связывало его с нами. “Передняя слава” — это слава отдаленного прошлого, “первых” времен, “задняя же слава” — это слава последних деяний» [Лотман 1999а: 333].

Подобное осмысление, которое Лотман связывает с мифологическим циклическим восприятием времени, характерно не только для древнерусской культуры, но имеет универсальный характер:

Действие обретает смысл, реальность исключительно в той мере, в какой они возобновляют некое прадействие. Для большей части человечества, сохранявшей еще традиционную точку зрения, история не имела и не могла иметь собственной ценности. Каждый новый герой повторял архетипическое действие, каждая война возобновляла борьбу между злом и добром, каждая новая социальная несправедливость отождествлялась со страданиями Спасителя (или, в дохристианском мире, со страстями божественного Посланца или бога растительности и т. д.); каждая новая бойня повторяла смерть мучеников [Элиаде 1987: 133, 135].

Однако подобное соотношение между временами — восприятие прошлого как будущего, будущего как прошлого — характерно не только для циклического, но может иметь место и при линейном восприятии времени (ср.: [Золян 2012а]). Но это повторение в таком случае может оказаться не воспроизведением прототипической ситуации, а воссозданием «нового прошлого». Повторяемым оказываются не ситуации, а отношение повторяемости или даже какой-либо иной соотнесенности при возможном изменении самих ситуаций³⁴.

³⁴ Так, линейному или же циклическому образам времени Мандельштам противопоставляет образ истории как веера («Таким образом связанные

Как мы могли убедиться, вследствие фундаментальных особенностей нет и не может быть завершено исторического описания. Более того — нет и не может быть и некоторого конечного, исчерпывающего и завершено списка этих историй (ср.: [Burrow 2009]), при этом ни одна из входящих в этот список историй также не может считаться завершеной, исчерпанной и конечной. Незавершеность истории предопределяет незавершеность любого исторического описания, и наоборот (вспомним, что история не описывает факты, а (вос-)создает факты из текстов). Как правило, подобную ситуацию связывают с недетерминированностью будущего³⁵. Принимая подобную точку зрения, считаем нуж-

между собой явления образуют как бы веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время они поддаются умпостигаемому свертыванию. Уподобление объединенных во времени явлений такому вееру подчеркивает только их внутреннюю связь и вместо проблемы причинности, столь рабски подчиненной мышлению во времени и надолго поработившей умы европейских логиков, выдвигает проблему связи, лишенную всякого привкуса метафизики и, именно потому, более плодотворную для научных открытий и гипотез» («О природе слова»; [Манделштам 1990: 173]) или камня («Камень — импрессионистский дневник погоды, накопленный миллионами лихолетий; но он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность. Он аладдинова лампа, пронцающая геологический сумрак будущих времен» («Разговор о Данте»; [Там же: 250])). Подобные метафоры исходят из парадоксального синхронного видения времени:

Время для Данта есть содержание истории, понимаемой как единый синхронистический акт, и обратно: содержание есть совместное держание времени — сотоварищами, соискателями, сооткрывателями его <...>. Соединив несоединимое, Данте изменил структуру времени, а может быть и наоборот — вынужден был пойти на глоссалолию фактов, на синхронизм разорванных веками событий, имен и преданий именно потому, что слышал обертону времени [Там же: 234, 251].

Анализ манделштамовской концепции истории дан нами в [Золян 2012a]; см. также [Левин и др. 1974].

³⁵ Помимо вышеприведенных цитат из работ Данто и Вригта, считаем уместным привести и аналогичную мысль Н. Бердяева: «Философия истории есть не только познание прошлого, но и познание будущего, она всегда пытается открыть смысл, который может быть явлен только в будущем» [Бердяев 1995: 259].

ным продолжить: незавершенность и недетерминированность исторического описания определяются прежде всего *незавершенностью и недетерминированностью настоящего*.

Конечно, соотношение между семантическими образами прошлого, настоящего и будущего может принимать самые разнообразные формы, но в целом их можно описать, слегка перефразировав Оруэлла: «Настоящее контролирует прошлое. Прошлое контролирует настоящее». Часто цитируют и слова Бенедетто Кроче, что «вся история есть современная история» (вспомним и Я. Лукасевича: события, которые не имеют следствий в настоящем, из имевших место становятся возможными). В самом деле, настоящее — это не только некая временная точка, это некоторый смысловой фрейм, содержащий образ прошлого и будущего, или, используя образ Мандельштама, «веер, створки которого можно развернуть во времени, но в то же время они поддаются умпостижаемому свертыванию». Хотя это единый фрейм, в нем можно выделить различные сегменты, из которых проекция настоящего на прошлое и описание этого прошлого предстает как историческая память и история, а проекция настоящего на будущее и описание этого будущего — как политика.

Применительно к данной ситуации настоящее — это время, включающее не только актуализируемое прошлое, но и одновременно сосуществующие проекты будущего, то есть это не столько текущий момент, реализованный в физическом пространстве, сколько виртуальное политическое пространство логиковременных возможностей в смысле современной модальной логики. Между тем настоящее многосубъектно. В настоящем взаимодействуют различные акторы, преследующие различные цели и в соответствии с этим создающие различные образы будущего. Подобным же образом они ревитализируют или создают различные образы прошлого. В случае конфликта между этими акторами, в том настоящем, в котором еще не ясно, кто окажется победителем, могут конкурировать различные образы истории (подробнее см.: [Золян 1994]). Борьба за будущее оборачивается борьбой за прошлое и созданием новых историй, что может привести к так называемым войнам памяти. А забвение и примирение можно понимать как исчерпание следствий прошедших событий, что под-

разумеает актуализацию новых условий, в которых нет места переставшим существовать событиям (ср.: [Рикер 2004]).

Подобно знаменитой апории об Ахиллесе, который никогда не догонит черепаху, будущее никогда не наступит — то событие, которое планируется и предсказывается, в некий момент станет настоящим со своим будущим. Реализация некоторого события не отменяет того, что оно может быть оценено только как случившееся или неслучившееся, иначе оно — не событие, а лишь возможность события. Тем самым множественность вариантов будущего оказывается принципиально неустранимой, что, в свою очередь, предопределяет множественность образов прошлого³⁶.

Множественность и непредсказуемость прошлого, так же как и будущего, особенно явно проявляется в момент взрыва. Так, распад СССР дал начало не только новым национальным государствам, но и новым историям. Подобно политическому распаду, в соответствии с административными границами бывших республик, распалась и единая до этого история СССР, которая, в свою очередь, сама была сформирована ситуацией взрыва 1917 г. Безусловно, создание новых историй сопровождается и отказом от прежних — как иронично констатирует Эрнст Геллнер, в таком случае «народная традиция должна была получить не дар памяти, а дар забвения. На Востоке вспоминают то, чего не было, на Западе — забывают то, что было» [Геллнер 1992: 55].

Зависимость исторического описания от событий настоящего и планируемых в будущем приводит к постоянной и бесконечной изменчивости осмыслений истории и тем самым исторических описаний. Осознавая это, Ю. М. Лотман намечает дополнительный метод описания истории — «эстетический», основанный не только на воссоздании имевших место событий, но и на реконструировании возможных. «Вымысел» призван дополнить ограниченность методологического инструментария исторического описания и

³⁶ Неизбежность появления новых историй и их несводимость к единому нарративу может привести к так называемому мультиперспективному взгляду на историю — как на множество описаний, осуществленных с различных точек зрения. Интересная реализация такого подхода дана в коллективном труде [Crossroads 2009].

скорректировать его деформирующее воздействие. Недетерминированность будущего, а также многогранность и многоакторность настоящего приводят к тому, что описания (осмысления, интерпретации) прошлого также становятся непредсказуемыми. Можно сказать, что Лотман нашел особый, присущий именно ему подход, который помог уйти от, казалось бы, неизбежной политизации или же релятивизации проблемы.

3. ЮРИЙ ЛОТМАН И СОЦИАЛЬНАЯ СЕМИОТИКА

0. Введение. К постановке проблемы

Ю. М. Лотман известен в первую очередь как историк русской литературы и семиотик культуры. Вопрос о том, насколько правомерно рассматривать его идеи в рамках социальной семиотики, до сих пор практически не рассматривался. В настоящей статье мы попытаемся показать, что в своих работах Лотман, не заостряя на том внимания, достаточно ясно выразил те идеи, которые сегодня принято считать основами социальной семиотики и которые сформулированы в работах Майкла Хэллидея, а впоследствии Роберта (Боба) Ходжа и Гюнтера Кресса. Внимание заслуживает уже тот факт, что сам термин «социальная семиотика» появляется в работах Лотмана 1975 г. — ровно тогда же, когда и у Хэллидея. При этом, в отличие от представителей Лондонской школы, Лотман не ограничивался анализом знаковых и коммуникативных отношений, а рассматривал их в системе социальных и политических процессов. Другое дело, что Лотман определял социальные отношения как подобласть культуры, поэтому описывал их соответствующим образом. Та версия социальной семиотики, которая прочитывается в трудах Лотмана, не является аналогом принятых в настоящее время представлений об этой дисциплине. Она скорее дает возможности для разработки новой, более глубокой теории, в которой как знаковые феномены будут рассматриваться не только знаки и сообщения, но и социальные действия и поведенческие структуры.

Подобная версия позволит соотнести концепты социальной семиотики с такими базовыми понятиями теоретической социологии (в особенности с теми ее направлениями, которые развивают принципы «понимающей социологии» Макса Вебера), как социальное действие, смысл и коммуникация. Развертыванию и обоснованию этих положений будут посвящены соответствующие разделы нашей статьи. Разумеется, в данном случае мы лишь приближаемся к довольно обширной теме, и многочисленные аспекты как лотмановского семиотического наследия, так и социальной семиотики неизбежно окажутся обойденными вниманием³⁷. Заметим также, что многие из высказанных Лотманом идей были разработаны в недрах Тартуско-московской семиотической школы совместно с исследователями из ближайшего окружения ученого (прежде всего это Б. А. Успенский, А. М. Пятигорский, И. А. Чернов). Поэтому допустимо, хотя и со значительными оговорками, говорить о подходах к развитию социальной семиотики не только в научном творчестве Лотмана, но в наследии школы в целом.

1. Лотман и термин «социальная семиотика»

Появление термина «социальная семиотика», описывающего соответствующую область исследований, принято связывать с выходом книги Майкла Хэллидея «Язык как социальная семиотика» («Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning»; см. [Halliday 1978])³⁸. Однако оформление отдельной дис-

³⁷ Так, остались без рассмотрения работы Лотмана 1950-х — начала 1960-х гг., не имеющие непосредственного отношения к семиотике, но характеризующие его не только как историка русской общественной мысли, но и социального философа, изучающего механизмы символизации и репрезентации. Практически исключены из нашего рассмотрения также и лотмановские работы последних лет [Лотман 1992; 2010], в которых обсуждаются семиотические структуры (формы) социальных процессов: ввиду их особой значимости, они должны стать предметом отдельных статей (об их актуальности для анализа текущих политических процессов см., например, [Золян 1999; 2013]), а также следующий раздел книги.

³⁸ Ср.: «Different “versions” of social semiotics have emerged since the publication of Michael Halliday’s *Language as Social Semiotic* in 1978» [Bezemer, Jewitt

циплины скорее имеет смысл относить к более позднему времени, когда появились такие работы, как [Hodge, Kress 1988; Lemke 1988]³⁹. Между тем в статьях Лотмана этот термин появился уже в 1975 г., хотя и без какой-либо экспликации: тартуский ученый никак не заострял на нем внимания и в дальнейшем к нему не возвращался.

2009] (см. также [Гаврилова 2016: 102]). Однако в книге Хэллидея есть глава «Language as Social Semiotic», которая является перепечаткой ранее опубликованной статьи «Language as Social Semiotic: Towards a General Sociolinguistic Theory» с указанием, что она впервые появилась в материалах конференции Лингвистической ассоциации Канады и США (LACUS) в 1975 г. К сожалению, первопубликация осталась для нас недоступной, и для знакомства со статьей мы пользовались 10-м томом собраний сочинений Хэллидея (см.: [Halliday 2009]). Как видим, заглавие статьи послужило названием для всей книги, в котором был изменен только подзаголовок. Заметим, однако, что первоначальный подзаголовок представляется более уместным: в самой статье о семиотике практически не говорится, автор скорее пытается наметить общую социолингвистическую теорию. Об этом свидетельствует и предметный указатель в книге Хэллидея, из которого по непонятной причине выпали пусть и не часто употребляемые слова *Semiotic* и *Sociosemiotic* — притом что другие словосочетания с *Socio-* и *Social* представлены в изобилии. Помимо основной «англо-австралийской» версии, в [Cobley, Randviir 2009: 24–27] выделяется ряд других школ социосемиотики: итальянской, финской, греческой, тартуской, венской. Однако обсуждение локальных разновидностей социосемиотики увело бы нас от основной темы.

³⁹ Роберт Ходж предлагает разграничивать два термина — при строчном написании и при заглавном, которое относится именно к представляемому им и Гюнтером Крессом направлению:

«Social semiotics» can refer to two related but distinct entities. «Social semiotics» without capitals is a broad, heterogeneous orientation within semiotics, straddling many other areas of inquiry concerned, in some way, with the social dimensions of meaning in any media of communication, its production, interpretation and circulation, and its implications in social processes, as cause or effect. «Social Semiotics» with capitals is a distinguishable school in linguistics and semiotics which specifically addresses these issues. It is important because it synthesizes these issues, not because it covers those issues in a distinct or authoritative form. Social semiotics makes semiotics more broadly useful, and Social Semiotics assists in this process (Hodge, online).

Хэллидей здесь отнесен к первому, «строчному», направлению. Такое разграничение, однако, не является общепринятым.

Нам удалось обнаружить два употребления указанного термина в лотмановских трудах. В первом случае контекст явным образом указывает на то, что речь идет не о специальной научной дисциплине, своего рода «ответвлении» семиотики, а о сфере функционирования знаков (или типе знаковой системы)⁴⁰:

Таким образом, воспроизведение жизни на сцене приобретало черты театра в театре, удвоения социальной семиотики в семиотике театральной. Это неизбежно приводило к тяготению гоголевского театра к комизму и кукольности, поскольку игровое изображение реальности может вызывать серьезные ощущения у зрителя, но игровое изображение игрового изображения почти всегда переключает нас в область смеха [Лотман 1975б: 20].

Второе употребление, также без дефиниции, относится к более общему аспекту — регуляции поведения:

Поведение человека регулируется не только законами антропологии и общей психологии («поведение ребенка», «поведение мужчины», «женское поведение» и проч.), но и социальной семиотики («рыцарское», «монашеское», «богемное», «дворянское», «крестьянское» поведение), этических нормативов («грешное», «благочестивое», «позорное» поведение), художественных категорий («романтическое поведение», «жизнестроительство» русских символистов) и стилей («благородное», «вульгарное», «низкое», «нейтральное» поведение). В целом можно говорить о поведении людей как о сложной, гетерогенной системе, выполняющей многообразные информационные, семиотические, социально организующие функции. Поведение имеет свой сложный язык, на котором оно создает определенные тексты — понятные для тех, кто находится внутри данного коллектива, и порой весьма загадочные для не знающих языка его культуры [Лотман 1976: 292–293].

Такое понимание в противоположность первому весьма широко и куда ближе к социологии, чем к тому, что принято счи-

⁴⁰ Примерно так употребляется термин «семиотика» в неоднократно цитируемых Лотманом «Пролегоменах к теории языка» Луи Ельмслева, где о языке говорится как о наиболее удобной и хорошо поддающейся описанию *sub specie semioticae* системе, основываясь на которой можно рассматривать и другие культурные феномены (см.: [Ельмслев 1960: 364]).

тать «социальной семиотикой» в версии М. Хэллидея, Г. Кресса и Р. Ходжа. К нему мы еще вернемся в заключительном разделе, пока же заметим, что и первая, «узкая», трактовка дана Лотманом применительно к описанию системы социальных отношений николаевской России. Однако Лотман не считал необходимым специально останавливаться на этом своем нововведении (возможно, он и не обратил внимания на то, что ввел в обиход не существовавший до него термин). Как нам представляется, это объясняется тем, что, говоря о поведении с точки зрения семиотики, Лотман в 1970-е гг. рассматривал его как порождаемое культурой, которая сама по себе предполагает социальные функции. Впоследствии, уже в 1980-е гг., социальные и культурные знаковые системы были описаны как взаимодействующие и неотделимые друг от друга механизмы семиосферы (см.: [Лотман 1984]). Лотмана больше интересовало взаимодействие различных кодов и отношений, нежели изолированное рассмотрение одного из них.

Заметим, что и у Хэллидея «социальное» и «культурное» в ряде случаев употребляются как синонимы (акцентирование социального аспекта происходит уже у его последователей, Ходжа и Кресса):

A social reality (or a «culture») is itself an edifice of meanings — a semiotic construct. In this perspective, language is one of the semiotic systems that constitute a culture; one that is distinctive in that it also serves as encoding system of many (though not all) of the others. It means interpreting language within a sociocultural context, in which the culture itself is interpreted in semiotic terms — as an information system [Halliday 1978: 2].

Однако было бы ошибкой представлять Лотмана в роли мольеровского Журдена, не осознающего, что он говорит. Интерес к социальным аспектам семиотики для Лотмана был глубоко органичен и во многом подготовлен его опытом историка литературы и общественной мысли. Для него был очевиден социальный характер языка и всех иных функционирующих в обществе знаковых систем:

Язык — упорядоченная коммуникативная (служащая для передачи информации) знаковая система. Из определения языка как

коммуникативной системы вытекает характеристика его социальной функции: язык обеспечивает обмен, хранение и накопление информации в коллективе, который им пользуется [Лотман 1973а: 4].

Безусловно, это слишком общее положение, которое есть в любом учебнике. Но из него Лотман выводит нетривиальное следствие: в обществе функционируют знаки, смысл которых определяется исключительно социальной системой, они перестают служить коммуникации, а формируют особую автореферентную область, «знаки вытесняют людей»:

...человека окружают вещи, ценность которых имеет социальный смысл и не соответствует их непосредственно вещественным свойствам. Так, в повести Гоголя «Записки сумасшедшего» собачка рассказывает в письме своей подруге, как ее хозяин получил орден <...>. Для собачки ценность ордена определяется его непосредственными качествами: вкусом и запахом, и она решительно не может понять, чему же обрадовался хозяин. Однако для гоголевского чиновника орден — знак, свидетельство определенной социальной ценности того, кто им награжден. Герои Гоголя живут в мире, в котором социальные знаки заслоняют, поглощают людей с их простыми, естественными склонностями. Комедия «Владимир третьей степени», над которой работал Гоголь, должна была завершиться сумасшествием героя, вообразившего, что он превратился в орден. Знаки, созданные для того, чтобы, облегчив коммуникацию, заменять вещи, вытеснили людей. Процесс отчуждения человеческих отношений, замены их знаковыми связями в денежном обществе был впервые проанализирован Карлом Марксом [Там же: 4–5].

Примечательна и отсылка к теории Маркса: Лотман реинтерпретирует идею немецкого философа примерно так же, как впоследствии Толкотт Парсонс и Никлас Луман: деньги есть «язык», универсальное средство коммуникации в такой социальной подсистеме общества, как экономика. Попытка объяснить «широкому читателю», что есть знак, неожиданно приводит мысль Лотмана к фундаментальным социологическим понятиям. Как видим, социальная семиотика была для Лотмана не специальным разделом науки о знаках, а определялась как часть ее методологического и концептуального аппарата. С другой стороны, метаязык семиотики дает возможность описания социальных процессов:

социальная ценность чиновника обозначается имеющимся у него орденом, то есть его дифференциальными признаками. Судьба несчастного чиновника из неосуществленного гоголевского замысла предстает как реализация фундаментального положения сосюрговской теории:

В применении к единице принцип дифференциации может быть сформулирован так: *отличительные свойства единицы сливаются с самой единицей*. В языке, как и во всякой семиологической системе, то, что отличает один знак от других, и есть все то, что его составляет. Различие создает отличительное свойство, оно же создает значимость и единицу [Соссюр 1977: 154].

Поэтому более важным представляется даже не поиск в лотмановских текстах словосочетания «социальная семиотика», а то, в каких случаях Лотман считает необходимым вовлечь в сферу анализа знаковых отношений также и социальные факторы. Это происходит всякий раз, как только ученый обращается к проблеме «недостаточности чисто языковедческих методов» [Лотман 1963: 46] и разграничения между собственно лингвистическими и надлингвистическими структурами.

2. Слово в социальном контексте

Первой серьезной попыткой анализа социальных аспектов языкового знака можно считать лотмановскую статью «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры» (1963). Начиная с достаточно очевидной констатации того, что слово приобретает значение только в контексте, Лотман делает несколько необычный для лингвистов следующий шаг: он предполагает, что и контекст может оказаться недостаточным. Опыт историка позволяет ему увидеть то, что тогда (да и до сих пор) недостаточно учитывалось в лингвистике: слово это не только единица словаря, но и элемент некоторой идеологической системы (мировоззрения, литературного направления, научной дисциплины и т. п.). Одни и те же языковые выражения «естественное состояние», «человек», «гражданин» получают различные, подчас

противоположные толкования в политической философии и публицистике (см.: [Лотман 1963: 45–46]). Или же:

Пример столкновения двух идейно-стилистических систем («дворянской» и «крестьянской»), наполняющих одно и то же слово различным содержанием, находим у Пушкина в черновых примечаниях к «Евгению Онегину»: «Кто-то спрашивал у старухи: по страсти ли, бабушка, вышла ты замуж. — По страсти, родимый, отвечала она. — Приказчик и староста обещали меня до полусмерти прибить» [Там же: 48].

Поэтому лингвистический анализ должен быть дополнен методом, условно названным Лотманом «структурно-идеологическим»:

Весьма интересный материал дали бы в этом случае опыты сравнительной характеристики формально одинаковых, но семантически различных (входящих в разные системы) терминов, употребляемых разными публицистами одной эпохи. Так, например, структурно-идеологический метод позволит вскрыть интересную разницу в употреблении одинаковых терминов близкими публицистами, например Чернышевским и Добролюбовым. Однако, подходя к подобной работе, лингвист неизбежно столкнется с недостаточностью чисто языковедческих методов. Ему придется восстановить идеологическую структуру, взаимообусловленность составляющих ее понятий, прежде чем установить специфику терминов — знаков, служащих для их передачи [Там же: 46].

Здесь важно отметить, что, при всем уважительном отношении Лотмана к лингвистике и ее методам⁴¹, он уходит от рассмотрения «идейно-стилистических» явлений в лингвистическом, пусть даже и в социолингвистическом ключе. Социолингвистика изучает функционирование языка в обществе, в том числе и различные функционирующие в обществе подъязыки («идейно-

⁴¹ Ср.: «Литературовед нового типа — это исследователь, которому необходимо соединить широкое владение самостоятельно добытым эмпирическим материалом с навыками дедуктивного мышления, вырабатываемого точными науками. Он должен быть лингвистом (поскольку в настоящее время языковедение “вырвалось вперед” среди гуманитарных наук и именно здесь зачастую вырабатываются методы общенаучного характера), владеть навыками работы с другими моделирующими системами» [Лотман 1967б: 100].

стилистические системы» — термин явно в духе В. В. Виноградова, но в нем просвечивает то содержание, что сегодня связывают с понятием дискурса и дискурсивной формации). Лотмана они интересуют не сами по себе, а как средство выражения некоторого содержания. Это позволяет наметить грань, отделяющую социолингвистику от социальной семиотики.

3. Контекстуализм и функционализм: Лотман и Малиновский

Лотман задается вопросом: при каких условиях знание собственно языкового значения знака оказывается недостаточным и для понимания требуется его включение в некоторую иную концептуальную систему? Впоследствии Лотман придет к выводу, что иной ситуации в принципе не может быть, поскольку в реальной коммуникации текст закодирован как минимум дважды (подробнее о подходе Лотмана к понятию текста см. в соответствующих разделах). Именно в подобной ситуации и осознаётся «недостаточность» лингвистических методов. Однако точнее было бы говорить не о «недостаточности», а о необходимости их модификации, учета того, что единица естественного языка, становясь единицей коммуникации, может приобретать новые значения, которые перестают определяться одной только системой исходного языка. Лингвистическая значимость дополняется иной — культурной либо социальной. Более того, при обращении к не знакомому для нас социокультурному контексту, лингвистическая значимость перестает быть определяющей.

И здесь можно найти примечательные совпадения между идеями Лотмана и Хэллидея, считающегося основоположником социальной семиотики. Однако прежде целесообразно указать на возможный общий источник — статью Бронислава Малиновского, опубликованную в качестве приложения к знаменитой книге Огдена и Ричардса «*Meaning of Meaning*» (1923). Хотя Малиновский считается классиком культурной и социальной антропологии, общепризнано и его влияние на формирование Лондонской лингвистической школы, одним из продолжений работы которой стало появление социальной семиотики в 1970–1980-е гг. Исследуя абсо-

лютно отличное явление, функционирование языка в бесписьменном обществе, Малиновский пришел к выводам, которые позже были во многом повторены или, скорее, самостоятельно получены Лотманом при анализе развитых культурных систем (иные возможные аналогии, кроме проблемы языкового знака, в данной статье не рассматриваются). Даже идеальное знание языка оказывается бесполезным без знания социокультурного контекста. Сравним:

Взаимозависимые высказывания вводятся в текст, просто присоединяясь друг к другу, для своего разрешения требуя чего-то большего, нежели указания на их референты, чтобы вполне уяснить роль и значимость этого текста <...>. Сразу становятся очевидными ложность и бесполезность концепции, согласно которой значение содержится в выражениях этого языка. В реальной жизни всякое предположение неотделимо от ситуации, в которой оно высказывается <...>. Очевидность тесной связи между интерпретацией языка и анализом культуры, к которой относятся эти языки, убеждает в том, что ни Слово, ни его Значение не обладают независимым и самодостаточным существованием [Малиновский 2005: 203–204, 207, 209].

Трудно судить, был ли Лотман знаком с этой статьей Малиновского, но его слова звучат как непосредственное развитие и обобщение вышеприведенной идеи:

Слово в реальной языковой ситуации никогда не выступает изолированно, как в словаре. Оно всегда входит в известную речевую и внеречевую ситуацию, которая определяет однозначность семантического восприятия. Взятое само по себе, оно не обеспечивает необходимой однозначности. Но в реальной речевой практике оно не может существовать само по себе. Оно включено в определенное высказывание и в определенную жизненную ситуацию, которые придают ему необходимую однозначность, снимая избыточность значений [Лотман 1963: 44–45].

При такой близости исходных позиций не случайны и другие концептуальные совпадения между подходом Лотмана и Малиновского. Это рассмотрение процесса семиозиса в действии и как действия:

...рассмотрение того, как используется язык в связи с каким-либо практическим делом, ведет к заключению, что язык в своих примитивных формах должен рассматриваться и изучаться на фоне человеческой деятельности и как форма человеческого поведения в практических делах. <...> язык в своей примитивной функции и первоначальной форме имеет существенно прагматический характер, что он есть форма поведения, — необходимый элемент согласованных человеческих действий. И в отрицательной форме: рассматривать язык как некое средство выражения и передачи мысли, значит занять одностороннюю позицию, абсолютизируя одну из его наиболее производных и специальных функций <...>. Такой подход позволяет отнести речь к активным формам человеческого поведения, а не к рефлексивным и когнитивным [Малиновский 2005: 211, 216].

Последнее положение явно нуждается в корректировке даже применительно к первобытным обществам и приведено нами лишь для полноты картины. Главное же в подходе к описанию культуры и Малиновского, и Лотмана — преодоление внутрисистемности и трактовка семиотических процессов с точки зрения их агентивного и динамического характера. Социальная семиотика, как она намечается в работах Малиновского и Лотмана, — это язык в действии и язык как действие, определяемое функциональными отношениями языка применительно к иным системам. Оба исследователя, не ограничиваясь констатацией недостаточности внутрисистемных лингвистических средств, приходят к необходимости их описания как регулирующих моделей поведения. Малиновский сосредотачивается на описании и объяснении уже сформировавшихся ритуализированных форм поведения в первобытных обществах, Лотман — на процессах формирования и интерпретации (в том числе и механизмах само- и метаописания) ритуализированных и семиотизированных форм поведения в развитых культурах. Функционализм и контекстуализм Малиновского, безусловно, были близки исследовательскому методу Лотмана — особенно с начала 1970-х гг., когда он ищет возможные способы расширения объекта семиотики и развития ее инструментария.

4. Социальная семиотика как социолингвистика: подход Майкла Хэллидея. Текст и функция

Как уже было сказано, термин «социальная семиотика» появляется в работах Лотмана и Хэллидея практически одновременно, поэтому говорить о возможном влиянии одного ученого на другого невозможно. Однако не приходится сомневаться, что в широкий научный оборот указанный термин вошел благодаря упоминавшейся выше книге Хэллидея. Свой подход Хэллидей называет системно-функциональной лингвистикой (*systemic functional linguistics*), претендуя тем самым на начало нового этапа лондонского функционализма, а то и на создание нового направления в лингвистике. (В более привычном смысле слово «системный» скорее употребляют последователи Хэллидея.)

Обоснование того, что язык есть социальная семиотика, дано лишь во введении к собранию ранее публиковавшихся статей, а в списке литературы к книге статья 1975 г. не приводится (см. републикацию: [Halliday 2009]). Согласно Хэллидею, речь идет о курсе рассмотрения языка:

The formulation «language as social semiotic» says very little by itself <...>. It belongs to a particular interpretation of language within this framework <...>. This in summary terms is what is intended by the formulation «language as social semiotic». It means interpreting language within a sociocultural context, in which the culture itself is interpreted in semiotic terms — as an information system, if that terminology is preferred [Halliday 1978: 1–2].

Поэтому если рассматривать не сам термин, а концепции, то идеи Лотмана будут ближе скорее к Малиновскому, чем Хэллидею, теория которого в большей мере социолингвистическая (а отчасти — социостилистическая), нежели социосемиотическая (напомним, что подзаголовок статьи Хэллидея 1975 г. — «Towards a General Sociolinguistic Theory» — определяет социальную семиотику как общую социолингвистическую теорию). Поэтому мы не будем заострять внимания на основных положениях теории Хэллидея, тем более что они достаточно широко известны. Другое дело — концептуальный инструментарий ученого, а именно понятия текста, контекста и функции.

Применительно к тексту и необходимым для его социализации понятиям контекста и функции сравнение концепций Лотмана и Хэллидея оказываются достаточно перспективными. Хэллидей отказывается от принятой схемы коммуникативного акта Бюлера — Якобсона и предлагает собственную триаду языковых функций, одной из которых оказывается текстуальная⁴². При рассмотрении языка в социальном контексте основной единицей оказывается текст:

Language does not consist of sentences; it consists of text, or discourse — the exchange of meanings in interpersonal contexts of one kind or another <...>. By their everyday acts of meaning, people act out of social structure, affirming their own statuses and roles, and establishing and transmitting the shared systems of values and knowledges [Halliday 1978: 2].

В области лингвистики текста Хэллидей высказал ряд новаторских идей, которые до сих пор не реализованы в полной мере. Последующими учеными была усвоена скорее техника анализа текста, выявление его структур связности (когезии и когерентности), но осталась обойденной должным вниманием идея о тексте как о социокультурном событии. Между тем языковая фиксация текста в виде последовательности предложений — это лишь форма манифестации текста-как-(социального)-события:

⁴² В определении этой важнейшей функции, детерминирующей все другие, Хэллидей вкладывает достаточно разнородные факторы, речь скорее идет о комплексном процессе актуализации языка в речь применительно к определенному контексту:

The textual component represents the speaker's text-forming potential; it is that which makes language relevant. This is the component which provides the texture; that which makes the difference between language that is suspended in vacuo and language that is operational in a context of situation. It expresses the relation of the language to its environment, including both the verbal environment — what has been said or written before — and the non-verbal, situational environment. Hence the textual component has an enabling function with respect to the other two; it is only in combination with textual meanings that ideational and interpersonal meanings are actualized [Halliday 1978: 112–113].

Obviously one cannot quarrel with the use of the term «text» to refer to a string of sentences but it is important to stress that the sentences are, in fact, the realization of text rather than constituting the text itself <...>. In its most general significance a text is a sociological event, a semiotic encounter through which the meanings that constitute the social system are exchanged <...>. By this act of meaning, and those of other individual meaner, the social reality is created, maintained in good order, and continuously shaped and modified <...>. Text is the primary channel for transmission of culture, and it is this aspect — text as the semantic process of social dynamics — that more than anything else shaped the semantic system [Halliday 1978: 135, 139, 141].

Здесь, безусловно, можно увидеть много точек соприкосновения с концепцией текста, предложенной Лотманом и Пятигорским: для них также определяющими оказываются понятия контекста, функции и взаимодействия между отправителем сообщения и адресатом:

Функция текста определяется как его социальная роль, способность обслуживать определенные потребности создающего текст коллектива. Таким образом, функция — взаимное отношение системы, ее реализации и адресата-адресанта текста [Лотман, Пятигорский 1968: 75].

Поскольку лотмановская концепция текста подробно рассматривается нами особо (см. соответствующие разделы), остановимся на различиях между ней и идеями Хэллидея, которые помогут нам увидеть разницу между социолингвистическим подходом к тексту (пусть даже при максимально широком его понимании) и социосемиотическим. Несмотря на обратную хронологию, можно сказать, что там, где заканчивает Хэллидей, Лотман и Пятигорский только начинают. Этой ключевой точкой является разграничение текста и не-текста. Для Хэллидея характеристики текста исчерпываются его лингвистическими, в том числе жанровыми, свойствами:

Three factors — generic structure, textual structure (thematic and informational), and cohesion — are what distinguish text from «non-text» [Halliday 1978: 134]⁴³.

⁴³ В [Halliday, Hasan 1976: 2, 4] дана еще более узкая дефиниция — текст определяется структурами связности и взаимозависимостью элементов:

Поэтому в реальной коммуникации «не-текстов» быть не может:

One does not normally meet non-text in real life, though one can construct it for illustrative purposes [Halliday 1978: 134].

Между тем для Лотмана и Пятигорского невозможна ситуация, когда все определенным образом оформленные сообщения, обладающие «текстурой» (ср.: [Halliday, Hasan 1976]; см. также примеч. 47), воспринимались бы как тексты, потому что такая ситуация является симптомом разрушения культуры:

Выделение среди массы общезыковых сообщений некоторого количества текстов может рассматриваться в качестве признака появления культуры как особого типа самоорганизации коллектива. Дотекстовая стадия есть стадия докультурная. Состояние, в котором все тексты возвращаются только к своему языковому значению, соответствует разрушению культуры.

С точки зрения изучения культуры, существуют только те сообщения, которые являются текстами. Все прочие как бы не существуют и во внимание исследователем не принимаются. В этом смысле можно сказать, что культура есть совокупность текстов или сложно построенный текст [Лотман, Пятигорский 1968: 82].

На текст переносятся те принципы разграничения между языковыми и надязыковыми структурами, которые до этого были выделены Лотманом в статье 1963 г. на примере лексических единиц (см. об этом выше, с. 103–105).

Вкратце повторим основные пункты концепции Лотмана — Пятигорского. Чтобы стать текстом, некоторый набор языковых единиц должен быть: 1) определенным образом выделен — будь то письменная фиксация, ритмика, публикация, нотариальное заверение и т. п., сам характер подобной дополнительной выделенности варьируется в различных культурных контекстах; 2) второе требование, если судить по приведенным ранее цитатам, есть осо-

«A text has texture and this is what distinguishes it from something that is not a text <...>. The texture is provided by the cohesive relation. Cohesive relationships within a text are set up where the interpretation of some element in the discourse is dependent on that of another. The one presupposes the other in the sense that it cannot be effectively decoded except by recourse to it».

бая, принятая в данном социуме конфигурация истинности и авторитетности [Лотман, Пятигорский 1968: 78 (см. с. 28–32 настоящего издания)]. Позицию соавторов можно трактовать так, что дополнительными к собственно языковой семантике условиями текстуальности является то, что текст понимается как перформатив, то есть как некоторое социально детерминированное действие (событие), которое в то же время описывает само себя. Поэтому функционирование некоторого сообщения в качестве текста-перформатива определяется существующими в социуме «удачными условиями» («*felicitous conditions*») функционирования текста и его особыми референциально-семантическими характеристиками («истинностью», которую в данном случае следует также понимать в «перформативном», а не логико-семантическом смысле — как авторитетность).

Как видим, концепции Хэллидея и Лотмана — Пятигорского не следует противопоставлять: они естественно дополняют друг друга. Согласно Хэллидею, внутренние характеристики текста («текстура»), будучи опосредованными текстуальной функцией языка, выступают как социосемиотический процесс и становятся коммуникативным событием⁴⁴. Дальнейшее функционирование либо нефункционирование текста определяется социокультурным контекстом, именно в нем текст приобретает свое отличное от общезыкового значение и социокультурную функцию.

Система текстовых значений определяет социальные функции текстов в данной культуре. Таким образом, можно отметить три типа отношений:

- 1) субтекстовые (общезыковые) значения;
- 2) текстовые значения;
- 3) функции текстов в данной системе культуры.

⁴⁴ Именно эта мысль привлекла Лотмана в теории текста Хэллидея. Ср. в статье «Текст в тексте»: «Ср. определение М. А. К. Хэллидея: «Текст» — это язык в действии» (Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII. М., 1978. С. 142); если в формуле Хэллидея выделяется оппозиция «потенциальная возможность — динамическая реализация», то П. Хартман и З. Шмидт подчеркивают противопоставление «идеальная структура — материально воплощенная конструкция» [Лотман 1981б: 3, примеч. 1].

Следовательно, возможно описание культуры на трех различных уровнях: на уровне общезыкового содержания составляющих ее текстов, на уровне текстового содержания и на уровне функций текстов [Лотман, Пятигорский 1968: 78].

5. «Социальная семиотика» Роберта Ходжа и Гюнтера Кресса

Как уже было отмечено, институционализация социальной семиотики происходит после выхода в 1988 г. книги Роберта (Боба) Ходжа и Гюнтера Кресса «*Social Semiotics*» [Hodge, Kress 1988]. Часто она трактуется как естественное продолжение и обобщение идей Хэллидея его последователями, и именно в этом смысле — как основа для современной социальной семиотики. И то, и другое можно оспорить.

Сама книга лишь в незначительной степени продолжает идеи учителя одного из соавторов (Гюнтера Кресса), к Хэллидею оба они относились с огромным уважением и дружелюбием, почему и, по их личному свидетельству, попытались избежать какой-либо публичной полемики. Поэтому их «разрыв» с учителем внешне выразился лишь в оставшейся незамеченной замене... одной буквы: *Social Semiotic* они заменили на *Social Semiotics*. Новая дисциплина мыслилась как своего рода «бунт» против соссюрианской лингвистики. Методика функционального анализа в духе Лондонской школы причудливым образом сочетается здесь с ориентированным на марксизм критическим дискурс-анализом. И сам термин «социальная семиотика» приобретает совсем иной смысл: она мыслилась авторами не как новая отрасль семиотики, а как ее новая парадигма.

«Социальная семиотика» продолжает предыдущую работу тех же авторов «Язык как идеология» [Hodge, Kress 1979], где идеология понимается в духе Маркса как «ложное сознание». К этому добавляется концепция новой семиотики — в отличие от традиционной, она называется «социальной» не потому, что она есть ответвление общей семиотики, а потому что она базируется на постулатах, каждый из которых прямо противоположен соссуровским. Несоциальными семиотиками могут быть только био-

системы (например, геном), даже коммуникацию между двумя машинами авторы рассматривают как социальный процесс, поскольку они и их программы созданы людьми [Hodge, Kress 1988: 261]. Основной вдохновившей авторов работой названа знаменитая книга Бахтина — Волошинова «Марксизм и философия языка» [Волошинов 1930]. Также соавторы опираются на некоторые идеи Пирса о динамическом характере семиозиса — но делают это со значительными оговорками. Именно в критике «лингвистического объективизма» Соссюра Ходж и Кресс видят основы новой семиотики⁴⁵. По мнению соавторов, идеи Бахтина — Волошинова по причине их марксистской ориентации, с одной стороны, не были восприняты западноевропейской и американской лингвистикой, с другой — не обрели популярности и в сталинском Советском Союзе [Hodge, Kress 1988: 15]. Книга Ходжа и Кресса представляет особый интерес также и с этой точки зрения: здесь высказывается предположение, какой могла бы быть семиотика в духе бахтинской, а не соссюровской традиции.

Основными положениями социальной семиотики становится все то, что Соссюром отрицается или признается несущественным, его теория именуется в книге *anti-guide* («антинаставлением»; см.: [Ibid.: 18]). Соавторы предлагают следующие основополагающие тезисы:

Основной объект семиотики — речь, а не язык.

Помимо естественного языка, необходимо наличие иных знаковых систем, не менее существенных для процесса коммуникации.

Диахрония и история, а не синхрония оказываются определяющими для описания характеристик знаковых систем.

Языковой знак в речи является мотивированным, а не условным.

Внешней лингвистике (социальные и культурные факторы) отдается предпочтение перед внутренней: приоритетной задачей признается описание не означаемых, а означающих.

⁴⁵ Примечательно, что вниманием соавторов оказались обойдены достаточно похожие идеи Бронислава Малиновского, который, хоть и не полемизировал с Соссюром прямо, предложил достаточно острую критику «филологического» подхода.

Выявление соотнесенности между сигнификативными и референциальными аспектами семантики (см.: [Hodge, Kress 1988: 18]).

Обоснованию этих положений служит анализ различных форм комбинации вербальных и невербальных кодов — это и современные массмедиа, и классическая литература, и искусство Ренессанса и т. п. Столь разнородный материал призван показать универсальный характер предлагаемой авторами методики. Завершает книгу данное как приложение тезисное оформление основных принципов новой семиотики (возможное, главное в книге — это конкретные анализы, временами мало связанные с теоретическими постулатами).

Что касается дальнейшего развития социальной семиотики, то оно лишь частично основано на идеях книги «Social Semiotics». В первую очередь из поля зрения данной дисциплины оказались исключенными полемика с «традиционной» семиотикой и претензии объединить семиотику с направленным на выявление политических отношений критическим дискурс-анализом. В роли «классика» Бахтина — Волошинова заменяет Хэллидей, роль которого в формировании социальной семиотики с течением времени все более возрастает (см., например, ряд интервью, собранных в книге [Andersen et al. 2015]); а пафос создания новой всеобъемлющей теории сменяется уточнением процедуры анализа мультимодальных текстов и умножением *case studies*⁴⁶. Собственно социальные категории (власть, солидарность, контроль над контекстом, манипуляции посредством знаков и т. п.) заменяются образовательными задачами (мультимедийное обучение, эффективность коммуникации и т. п.).

Впоследствии и сам Кресс, говоря о книге «Social Semiotics», самым важным в ней считал только реинтерпретацию понятия знака:

When we wrote *Social Semiotics* (Hodge & Kress, 1988) we took the notion of agency, power and representation developed in the theory of

⁴⁶ Если обратиться к вышедшей недавно «International Handbook of Semiotics», то можно заметить, что социальная семиотика, в отличие от других разделов науки о знаках, представлена в книге как анализ различных, не связанных между собой кейсов (см.: [Trifonas (ed.) 2015: 1213–1224]).

Language as Ideology as the agency of anyone who makes any kind of sign. But this was more than just a choosing from existing resources; it was actively making signs <...>. I had written something in 1977 on the non-arbitrariness of signs, but it now became the idea that signs are made and motivated; so agency was in the making of signs. The sign and the meanings that a sign-maker makes are an expression of their disposition, habits, identity — of their interest. We applied that understanding to lots of things — sculptures, photographs, children's drawings, pages from books, newspapers and so on. It was a social semiotics. Unlike existing semiotics which says signs are used — a notion take over from Saussure — we said signs are made and signs, therefore, are always newly made [Lindstrand 2008: 62–63].

Иными словами, знак — это ἐνέρυεια, а не ἔργον в гумбольдтовском смысле. Или, говоря словами кэрролловского Шалтая-Болтая: «Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше» (перевод Н. Демуровой; в оригинале «“When I use a word,” Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, “it means just what I choose it to mean — neither more nor less”»).

К сказанному следует добавить и другое положение: объект семиотики — это не знак, а семиозис: в формировании смысла принимает участие не только говорящий, но и слушающий. После книги Ходжа и Кресса, положения которой были дополнены модифицированной теорией мультимодального текста Хэллидея, социальная семиотика стала скорее прикладной, а не теоретической дисциплиной. Именно так, например, она трактуется в работах [Leeuwen 2005] и [Bezemer, Jewitt 2009], где в систематизированном виде даны основные понятия и инструментарий, а «социальная семиотика» определяется не как теория, а «как изыскание» (*enquiry*):

Social semiotics is not «pure» theory, not a self-contained field. It only comes into its own when it is applied to specific instances and specific problems, and it always requires immersing oneself not just in semiotic concepts and methods as such but also in some other field <...>. Social semiotics is a form of enquiry. It does not offer ready-made answers. It offers ideas for formulating questions and ways of searching for answers [Leeuwen 2005: 2].

Из исследовательского аппарата социальной семиотики наиболее востребованной оказалась категория мультимодальности,

что во многом объясняется развитием новых информационных технологий, кардинально изменивших характер коммуникации и понятие сообщения (текста) (ср.: [Кресс 2016]). Однако и эта категория стала трактоваться крайне узко. Первоначально модальность определялась как отношение текста к внетекстовой реальности, но не как объективное отношение, а как конструируемое и репрезентируемое знаком, текстом и жанром: «Modality refers to the status, authority and reliability of a message, to its ontological status, or to its value as truth or fact» [Hodge, Kress 1988: 124]. Так, «истинность» определяется не как объективное отношение, а скорее как перформатив (вспомним отношение «истинности» в теории текста Лотмана — Пятигорского), она конструируется в процессе семиозиса:

A social semiotic theory of truth cannot claim to establish the absolute truth or untruth of representations. It can only show whether a given «proposition» (visual, verbal or otherwise) is represented as true or not. From the point of view of social semiotics, truth is a construct of semiosis, and as such the truth of a particular social group, arising from the values and beliefs of that group [Kress, van Leeuwen 1996: 154–155].

В этом смысле не только тексты, но и отображаемые ими «реальности» имеют автора.

В процессе анализа модальность (*modality*) сменяется модулем, который принято трактовать как «семиотический ресурс»: это знаковая система (или код), используемая коммуникантами для построения комплексного, или «мультимодального», сообщения, основанного на взаимодействии различных по характеру знаков (вербальных, иконических, музыкальных и т. п.):

Multimodality asserts that «language» is just one among the many resources for making meaning. That implies that the modal resources available in a culture need to be seen as one coherent, integral field, of — nevertheless distinct — resources for making meaning. The point of a multimodal approach is to get beyond approaches where mode was integrally linked, often in a mutually defining way, with a theory and a discipline [Kress 2011: 38].

A mode is often defined as a set of socially and culturally shaped resources for making meaning <...>. Multimodal research attends to the interplay between modes to look at the specific work of each mode and how

each mode interacts with and contributes to the others in the multimodal ensemble [Bezemer, Jewitt 2009: 5–6].

Описание мультимодальных взаимодействий становится, пожалуй, основным направлением социальной семиотики (см.: [Кресс 2016]), и полученные результаты могут существенно уточнить и конкретизировать высказанные Лотманом идеи о тексте как о феномене, порождаемом посредством взаимодействия (перевода, трансформации, дополнения) между различными семиотическими системами (кодами, языками).

При всех достаточно значимых отличиях налицо некоторый параллелизм между двумя не зависимыми друг от друга линиями развития социальной семиотики. Это, в первую очередь, акцентирование динамического характера смыслообразования: в процессе коммуникации существенна не только передача информации, но и ее порождение. При этом не только автор, но и адресат участвует в процессе со-творения значения (ср.: [Лотман 19776]). Дальнейшее развитие этих идей приводит Лотмана к концепции текста как самовозрастающего логоса.

Никак не декларируя разрыва с соссюрианской традицией, Лотман вместо изучения знаковых систем «в себе и для себя» предлагает совершенно иную перспективу рассмотрения. Можно указать на следующие точки соприкосновения лотмановских идей с изложенной выше концепцией Ходжа — Кресса: динамический характер (историческая динамика вместо застывшей синхронии), особая организация означаемых и их связь с внесемиотическим миром (связь сигнификативной и референциальной семантики). Достаточно близок к лотмановской проблематике и вопрос мультимодальности — у Лотмана он приобретает форму «многоязычия» текста и культуры (см.: [Лотман 1981a; 1992]). Основанная на этих положениях программа «новой семиотики» в концентрированном виде представлена во введении к книге «Культура и взрыв»:

Коренными вопросами всякой семиотической системы являются, во-первых, отношение к вне-системе, к миру, лежащему за ее пределами, и, во-вторых, отношение статики к динамике. Последний вопрос можно было бы сформулировать так: каким образом система, оставаясь собой, может развиваться <...>. Пространство, лежа-

щее вне языка и за его пределами, попадает в область языка и превращается в «содержание» только как составной элемент дихотомии содержания-выражения. Говорить о невыраженном содержании — нонсенс. Таким образом, речь идет не об отношении содержания и выражения, а о противопоставлении области языка с его содержанием и выражением вне языка лежащему миру. Фактически этот вопрос сливается со второй проблемой: природой языковой динамики <...>. План содержания в том виде, в каком это понятие было введено Ф. де Соссюром, представляет собой конвенциональную реальность. Язык создает свой мир. Одновременно возникает вопрос о степени адекватности мира, создаваемого языком, и мира, существующего вне связи с языком, лежащего за его пределами <...>. Одним из центральных вопросов окажется вопрос перевода мира содержания системы (ее внутренней реальности) на внележащую, запредельную для языка реальность. Следствием будут два частных вопроса: 1. Необходимость более чем одного (минимально двух) языка для отражения запредельной реальности; 2. Неизбежность того, чтобы пространство реальности не охватывалось ни одним языком в отдельности, а только их совокупностью <...>. Представление об оптимальности модели с одним предельно совершенным языком заменяется образом структуры с минимально двумя, а фактически с открытым списком разных языков, взаимно необходимых друг другу в силу неспособности каждого в отдельности выразить мир [Лотман 1992: 7–10].

В таком виде программа «новой семиотики» выглядит не только академичнее, но и убедительнее.

6. Социальная семиотика как семиотика социального действия (поведения)

6.1. Поведение как текст: социальная семиотика Московско-тартуской школы

Завершить статью мы намерены рассмотрением проблематики, которая не имеет аналогий в концепции Хэллидея — Кресса — Ходжа. Между тем именно она, на наш взгляд, должна составить концептуальную основу новой версии социальной семиотики, что позволит вывести ее из нынешнего застойного состояния. Речь идет об аспектах, связанных с семиотикой социального действия. Как видно из приведенной в начале настоящей статьи цитаты, для

Лотмана социальная семиотика связана именно с поведенческими типами и структурами.

Такая трактовка поведения возникает еще в конце 1960-х гг., когда исследователи Московско-тартуской школы начинают рассматривать поведение как текст, что хорошо соотносится с «текстоцентризмом» данного научного направления. Такой подход естественным образом в дальнейшем приводит к вопросу об описании, с одной стороны, его языка и грамматики, с другой — смысла. Впервые подобную постановку мы встречаем в статье Лотмана «К проблеме типологии культуры» [1967а] и в совместной работе А. М. Пятигорского и Б. А. Успенского (оба они впоследствии неоднократно выступали в качестве соавторов Лотмана; см.: [Пятигорский, Успенский 1967]). Хотя последняя статья посвящена вопросам персонологии, психологическим типам личности, предлагаемая авторами типология основывалась на характере семиотизации или десемиотизации поведения, его осмысления и планирования:

Говоря о семиотичности поведения, мы можем иметь в виду, с одной стороны, п о р о ж д е н и е некоторого текста поведения, который выступает как знаковый по отношению к некоторому другому тексту, или, с другой стороны, о с м ы с л е н и е каких-то явлений действительности (вообще — явлений окружающего мира) как знаковых — в частности, как принадлежащих к некоторой условной знаковой системе или же соотносимых с некоторой иной действительностью, которая и обуславливает значение данных явлений [Там же: 11].

Поведение рассматривается соавторами как следующее определенному порядку, если оно может быть преобразовано в текст:

Под *порядком* поведения понимается создание личностью текста своего поведения, либо текста текста и т. д. Иначе говоря, порядок поведения предполагает возможность описания наблюдателем такого поведения личности, которое включает в себя описание внешнее (актуализированный текст) либо внутреннее (текст сознания) своего поведения [Там же: 28].

И. А. Чернов, не ограничиваясь констатацией того, что поведение можно рассматривать как текст, ставит вопрос о семиотических механизмах организации такого текста, их специфике:

Если поведение личности рассматривать как «говоренье» на разных языках, то кодом этих языков является механизм запретов. Правила кода определяют все нормированное поведение человека: код функционирует по принципу — «нельзя, ибо невозможно», норма употребления кода — «нельзя, хотя возможно». Правила кода регулируют поведение, реальные потенции человека [Чернов 1967: 45].

Десять лет спустя эти идеи были расширены и уточнены Черновым вместе с автором этих строк в работе, основанной на экспликации возможных аналогий между правилами поведения и правилами языка, и метаязыками их описания (грамматиками). Грамматика запретов предполагает одновременное существование и грамматики норм:

В системе культуры функционируют многочисленные тексты, экстраполирующие и эксплицирующие компетенцию социума (система норм и запретов). Механизм, порождающий такие тексты, назовем грамматикой. В принципе, возможно построение двух типов грамматик — нормоустанавливающих, функционально направленных на выполнение правил, и грамматик, ориентированных дисфункционально, описывающих поведение через нарушение правил. Эти два типа грамматик можно обозначить как грамматику норм и грамматику запретов (т. е. потенциальных нарушений), причем в качестве регулирующей может быть выбрана любая из них; противонаправленной грамматике в этом случае будет приписана отрицательная ценность [Золян, Чернов 1977: 155].

Индивид рассматривается как владеющий несколькими языками поведения «полиглот», способный к усвоению новых языков, при этом разграничиваются глубинный и поверхностный уровни описания поведения. Принципиальный характер имело разграничение между собственно невербальным текстом поведения и его описанием, вербализованной рефлексией над поведением:

Рефлексия над поведением, как правило, имеет языковой характер и выражение. Реализации всех видов рефлексии в естественном языке мы будем называть метаязыками. Они представляют обобщение данной конкретной ситуации и связаны (достаточно часто имплицитно) с ее оценкой. Одним из важных свойств метаязыка в организации поведения является его способность позволять прои-

грывать ситуации в уме, производить «мысленные эксперименты», где метаязыковая репрезентация поведения рассматривается как реальное поведение, которое можно всесторонне описать (оценить) в рамках языка более высокого порядка. Метаязык оказывается, таким образом, инструментом прогнозирования поведения [Золян, Чернов 1977: 154].

Эта статья стала первой (и, как впоследствии оказалось, единственной) попыткой совмещения семиотической теории поведения с социологической — в данном случае с концепцией Бергера — Лукмана о конструируемом характере социальной реальности (1966; см. русский перевод: [Бергер, Лукман 1995]).

Указания на все эти работы имели целью продемонстрировать актуальность подобной проблематики для исследователей Московско-тартуской школы. Содержащиеся в них теоретические положения разделялись Лотманом, хотя сам он в большей мере ориентировался не на язык и лингвистику, а на художественные тексты. К поведенческим текстам он приходит «от противного», рассматривая, каким образом тексты культуры (живопись, театр, литература) оказывают влияние на поведение. В ряде случаев поведение исторических лиц строится чуть ли не как цитирование художественных прототипов: не искусство подражает жизни, а наоборот (см., например: [Лотман 1973б: 42–89]). После этого вполне логичным оказывается рассмотрение и самого поведения как автономного текста. Как и в других случаях, Лотмана интересует прежде всего динамика его создания и становления:

Иерархия значимых элементов поведения складывается из последовательности: жест — поступок — поведенческий текст. Последний следует понимать как законченную цепь осмысленных поступков, заключенную между намерением и результатом. В реальном поведении людей — сложном и управляемом многочисленными факторами — поведенческие тексты могут оставаться незаконченными, переходить в новые, переплетаться с параллельными. Но на уровне идеального осмысления человеком своего поведения они всегда образуют законченные и осмысленные сюжеты. Иначе целенаправленная деятельность человека была бы невозможна. Таким образом, каждому тексту поведения на уровне поступков соответствует определенная программа поведения на уровне намерений [Лотман 1975а: 38–39].

Лотман не останавливается на общих семиотических характеристиках поведения, хотя именно при помощи этих схем и понятий (таких, как текст, язык, код, уровни, оппозиции) он описывает их конкретные проявления. Ключевыми оказываются понятия, с одной стороны, «смысла» и «кодовых структур», а с другой — «нормы» и «узуса» (последнее можно описать и как различие между уровнем наблюдения (или самонаблюдения) и уровнем описания и (само-)описания), обрисованные Лотманом еще при первом подходе к проблеме:

Так, например, идеальные нормы поведения рыцаря и монаха в рамках средневековой культуры (для ее историка текстами будут и реальные, графически зафиксированные памятники, и идеальные, реконструируемые нормы; вероятно, здесь будет иметь смысл говорить о текстах разных уровней) будут различными. Поведение их будет казаться осмысленным (мы будем понимать его «значение») только при применении особых для каждого кодовых структур (всякая попытка применить другой код представляет это поведение «бессмысленным», «абсурдным», «лишенным логики», т. е. не дешифрует его) [Лотман 1967а: 32].

В 1970-е гг. следует целая серия лотмановских работ по поведению: «О Хлестакове», «Декабрист в повседневной жизни», «Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века», «Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII века». В них явно вырисовывается теория, хотя ее положения даны не как тезисы и дефиниции, а как обобщение рассмотренных случаев. Так, в этих статьях появляются, хотя и остаются без пояснений, такие понятия, как «иерархия социальных норм», «социальный код», «правила поведения», «социальное поведение», «социальный сценарий». В присущей ему манере Лотман щедро разбрасывается терминологией — притом что каждое из приведенных словосочетаний могло бы стать основой специального исследования. В лотмановском же научном творчестве вводимые термины совмещаются с тонким анализом конкретного историко-культурного материала. Именно этот анализ, а не теоретические построения приводит к выводу: поведение организуется не только как удачное или неудачное воспроизведение системных эталонных текстов; действует разветвленная система социальных регуляторов.

Возникает диалог, который ведут между собой личность и общество, прибегая к различным языкам и создавая новые тексты, а также и различные интерпретации одних и тех же текстов:

...под воздействием исключительно сложных социально-исторических процессов складываются специфические формы исторического и социального поведения, эпохальные и социальные типы реакций, представления о правильных и неправильных, разрешенных и недозволенных, ценных и не имеющих ценности поступках. Возникают такие регуляторы поведения, как стыд, страх, честь. К сознанию человека подключаются сложные этические, религиозные, эстетические, бытовые и другие семиотические нормы, на фоне которых складывается психология группового поведения [Лотман 1975а: 25].

Сами по себе поступки индивида не образуют поведенческого текста, он рождается как результат своеобразного соавторства индивида и общества, вследствие которого поступки индивида начинают интерпретироваться в соответствии с действующими социальными кодами:

...практически для общества существуют совсем не все поступки индивида, а лишь те, которым в данной системе культуры приписывается некоторое общественное значение. Таким образом, общество, осмысляя поведение отдельной личности, упрощает и типизирует его в соответствии со своими социальными кодами. Одновременно личность как бы доорганизовывает себя, усваивая себе этот взгляд общества, и становится «типичнее» не только для наблюдателя, но и с позиции самого субъекта [Там же: 26].

При этом возможны интерпретации, ориентированные на различные социальные коды и сценарии — как на принятые, так и нарушающие признанные нормы. С одной стороны, личное поведение может сливаться с тем амплуа, которое было задано жесткими социальными нормами:

То, что лежит по ту сторону текста, отнюдь не лежит по ту сторону семиотики. Человек, которого наблюдал Гоголь, был включен в сложную систему норм и правил. Сама жизнь реализовывалась, в значительной мере, как иерархия социальных норм <...>. В этом смысле сама действительность представляла как некоторая сцена, навязывающая человеку и амплуа. Чем зауряднее, дюжиннее был че-

ловек, тем ближе к социальному сценарию оказывалось его личное поведение [Лотман 1975б: 20].

В этом случае осмысление такого поведения как текста также оказывается тривиальной операцией. С другой стороны, сложный и «многоязычный» характер социальной семиотики позволяет «недюжинным» личностям варьировать различные роли, в том числе строя многозначные (амбивалентные) тексты, допускающие различные интерпретации, в том числе и зашифрованные, понятные только для «избранных» или «своих»:

...реальное поведение человека декабристского круга выступает перед нами в виде некоторого зашифрованного текста, а литературный сюжет — как код, позволяющий проникнуть в скрытый его смысл [Лотман 1975а: 47].

Понятие смысла и здесь оказывается определяющим. Уже позднее, в предисловии к вышедшему в Польше сборнику статей по семиотике истории (1993), Лотман так обобщает цели и задачи изучения поведения:

Обращение к культуре как семиотическому объекту ставит исследователя перед исключительно сложной ситуацией: он изучает семиотические модели, определяющие круг представлений и действий людей в потоке их исторического существования. Культура в семиотическом аспекте предстает как некоторый континуум языков, которыми пользуется самосознающее мышление человека, а действия, как вербальные, так и совершаемые с помощью разнообразных поступков, могут быть истолкованы как тексты на некоторых языках. Понять смысл исторических поступков людей, их поведения и их сочинений означает овладеть языками их культур [Лотман 2008: 510].

6.2. Социальная семиотика как семиотика социального действия

Как видим, характеризуя культуру как семиотический объект, Лотман останавливается прежде всего на таких понятиях, как, с одной стороны, язык, смысл, текст, а с другой — поступки (действия) и поведение. «Язык культуры» связывается с пониманием смысла человеческих действий (акцентирование исторических

аспектов в вышеприведенной цитате объясняется спецификой сборника работ Лотмана на польском языке; о его появлении см.: [Жилко 2008]).

Возникает возможность построения такой теории социальной семиотики, в которой получило бы экспликацию соотношение между действиями и заложенными в них смыслами. Не столь важно, что Лотман и в данном случае выступает как семиотик культуры: объектом его теории является объяснение поведения. Но именно этот теоретический фокус мог бы составить трансдисциплинарное единство с так называемой понимающей социологией Макса Вебера и ее продолжением в работах Толкотта Парсонса и Никласа Лумана.

Напомним, что понятие «смысла» является основополагающим в социологической теории Вебера, а предмет социологии — понимание «смысла поведения»:

Социология <...> есть наука, стремящаяся, истолковывая, понять социальное действие и тем самым каузально объяснить его процесс и воздействие. «Действием» мы называем действие человека (независимо от того, носит ли оно внешний или внутренний характер, сводится к невмешательству или терпеливому принятию), если и поскольку действующий индивид или индивиды связывают с ним субъективный *смысл*. «Социальным» мы называем такое действие, которое по предполагаемому действующим лицом или действующими лицами *смыслу* соотносится с действием *других* людей и ориентируется на него...

«Мотивом» называется некое смысловое единство, представляющее действующему лицу или наблюдателю достаточной причиной для определенного действия...

Следовательно, в науке, предметом которой является *смысл* поведения, «объяснить» означает постичь смысловую *связь*, в которую по своему субъективному *смыслу* входит доступное непосредственному пониманию действие [Вебер 1990: 611].

Уже в конце XX в. понятие *смысла* и коммуникации становится стержнем социологической концепции Никласа Лумана: «Общество — это система, конституирующая *смысл*» [Луман 2004: 54]. Заметим, однако, что, говоря о *смыслах*, *знаках* и коммуникации, классики социологии не утруждали себя их анализом. Осмысленность поведения и коммуникации предстает у них как

нечто данное и самоочевидное. Обращение к смысловым аспектам было произведено уже в несколько иной области, в философии языка — это теория перформативов и речевых актов Джона Остина [Austin 1962], затем — Джона Серля ([1969]; и особенно [Searle 1995]). Однако поведение в этих теориях ограничивается вербальными высказываниями, что конечно же ограничивает сферу их применимости. В социальной же семиотике связь с теоретической социологией практически отсутствует; заявленные исследовательские программы⁴⁷ остались лишь благим пожеланием.

Между тем если воспользоваться определением социологии Вебера — Лумана, то можно увидеть основы трансдисциплинарного симбиоза вокруг изучения проблемы смыслов и их манифестации: предмет социологии — изучение самой системы «конституирования смыслов» и ее механизмов, тогда как изучение смыслов и их конструирования станет уделом лингвистической семантики, общей семиотики, семиотики культуры и социальной семиотики. Разумеется, здесь требуется как дифференциация, так и учет того, что между этими дисциплинами будет множество пересекающихся исследовательских сфер. В данном случае может оказаться плодотворной лотмановская концепция семиосферы, предполагающая взаимодействие и пересечение различных под-областей и языков (см.: [Лотман 1984]).

Подход Лотмана к проблемам социальной семиотики представляет интерес не только как факт истории науки. Стоит напомнить слова Манделъштама из эссе «Слово и культура» (1921): «Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился» [Манделъштам 1987а: 40–41]. Совмещение исследовательских ипостасей историка русской культуры и семиотика-теоретика позволило Лотману наметить основные точки новой версии социальной семиотики, в которую естественным образом оказались включены достижения предшественников, в том числе идеи Малиновского, а также Бахтина и его последователей. Однако лотмановское научное насле-

⁴⁷ «The same applies to the “social” in “social semiotics”. It can only come into its own when social semiotics fully engages with social theory. This kind of interdisciplinarity is an absolutely essential feature of social semiotics» [Leeuwen 2005: 2].

дие может дать импульс принципиально новым трансдисциплинарным направлениям исследований, объектом которых будут не знаки и тексты, а действия и события, описываемые как обладающие социальным смыслом знаки, тексты и — добавим — коммуникативные акты.

4. МЕЖДУ ВЗРЫВОМ И ЗАСТОЕМ: ПОСТСОВЕТСКАЯ ИСТОРИЯ КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА (ПО КНИГЕ Ю. М. ЛОТМАНА «КУЛЬТУРА И ВЗРЫВ»)*

Рассматривая современные политические процессы, протекающие на пространстве бывшего Союза, можно на многочисленных примерах убедиться в неадекватности языка, используемого его участниками. Может показаться, что это обусловлено спецификой самого процесса, его конфликтным характером. Не отрицая подобного воздействия, мы тем не менее в ряде случаев сталкиваемся с проблемами, не имеющими отношения к собственно конфликту, а обусловленными семиотикой и метасемиотикой самого языка политического и исторического процесса. В этом смысле примечательно, что к подобным выводам, но уже с культурологической точки зрения, приходит выдающийся исследователь культуры и семиотики Юрий Лотман, материалом для которого послужили драматические события периода распада СССР и первых лет формирования новых, независимых государств.

* Чтобы сохранить аутентичность восприятия и избежать сделанных задним числом прогнозов, мы не вносим каких-либо изменений в написанную в 1994–1995 гг. и опубликованную в 1999 г. статью, за исключением цитат из книги «Культура и взрыв», которые подверглись сокращению в журнальной версии. Что касается устаревших и почти забытых имен политиков тех лет, их вполне можно заменить на сегодняшние.

Удивительно, но блестящая советская школа исследователей культуры (семиотики, историки, философы, литературоведы), ставшая в застойные годы духовно-интеллектуальным камертоном общества, в последнее время почти не заметна: процессы осмысления интереснейшей эпохи отданы политикам и журналистам — при всем уважении к ним, это специалисты сегодняшней «злобы дня», «злобы» в обоих смыслах этого слова. Тем же, которые прекрасно разбирались в перипетиях пушкинских времен или культуре Контрреформации, казалось бы, предоставилась уникальная возможность — актуализовать собственной позицией столь часто цитируемые ранее слова Тютчева: «Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые, Его призвали всеблагие, Как собеседника, на пир». И это притом, что в гуманитарных науках застойных лет была очень развита культура аллюзии — на доклады о семиотике Смутного времени ломались, почти как на Таганку, ибо и докладчики, и участники дискуссий прекрасно понимали, что речь не только о Смутном времени, и это воспринималось как академическая элитарная форма утверждать те истины, которые непосвященным требовалось растолковывать в самиздате. И неслучайно, что культурологические штудии уже сами по себе несли оттенок оппозиционности, а с началом перестройки ведущие ученые приняли самое активное участие в политических процессах — став депутатами, сопредседателями различных «трибун» и публицистами, — чтобы своими усилиями приблизить «чаемую» свободу.

Но их профессиональный опыт и политическая активность оказывались явлениями настолько разноуровневыми, что несоответствие между идеальными целями и маловдохновляющими результатами порождало растерянность и отказ либо от одного, либо другого. Доходит до крайностей — так, историк-профессионал, признанный специалист в области раннего средневековья, став президентом Армении, ссылаясь на свой уже опыт политика, объявляет историю лженаукой. Показателен этот разлад между работавшим исключительно на основе письменных памятников историком (и в этом смысле принимающим за истинную реальность только то, что записано в этих памятниках) и политиком-практиком, видящим, что реальность ускользает от письменной фикса-

ции. Возможен и противоположный отказ — объявить ложной не науку, а реальность (то есть недостойной фиксации и даже внимания) и продолжать те же академические штудии без какой-либо поправки на «ненастоящее» настоящее.

Поэтому столь важен опыт Юрия Лотмана — не ввязываясь в сиюминутные политические сценарии (но при этом недвусмысленно и незамедлительно осуждая бесчеловечность, как это было после погрома в Сумгаите в 1988 г. — см. Приложение), этот самый известный и оригинальный из советских исследователей культуры продолжал то же, что он делал и до этого, — изучал культуру, общество и историю, но уже периода, очевидцем которого был он сам. Не беря на себя внеположную исследователю ответственность политика, он не уходил от ответственности ученого, обязанного проследить действие лучше чем кому-либо знакомых ему культурно-семиотических механизмов и предлагать адекватные ответы на возникающие вызовы. Его статьи 1990–1992 гг. — не только обобщение опыта, но и фундаментальное поле, за разнообразием возникающих лозунгов, идеологий, персон и государств он видел нерв и суть проблемы, к исследованию которой прилагалась не всеобъясняющая схема, а академический аппарат. Это увело от ситуационных лозунговых решений, хотя, видимо, оставалось непонятым адресатам его послания.

Настоящая заметка — попытка приближенного к политической публицистике комментария и развития одной из главных идей, изложенной в последней книге Юрия Лотмана «Культура и взрыв» [Лотман 1992a]*, а именно — выявленной им зависимости политических процессов от принципа бинарной организации культурно-семиотических систем. Связь, казалось бы, между несопоставимыми явлениями, но реальность и даже злободневность этой связи неожиданно стала нуждающейся в осознании практикой. Возможно, на основе нашего комментария возникнет потребность более адекватного обращения к первоисточнику, а также и несколько отличная от нашей интерпретация. Политическая проблема формулируется им как проблема семиотики:

* Далее ссылки по этому изданию приводятся с указанием номера страницы.

Сказанное имеет непосредственное отношение к событиям, протекающим сейчас на бывшей территории Советского Союза. С точки зрения исследуемых нами вопросов процесс, свидетелями которого мы являемся, можно описать как переключение с бинарной системы на тернарную. Однако нельзя не отметить своеобразие момента: сам переход мыслится в традиционных понятиях бинаризма (с. 264).

Дилемма, на которую указывает Ю. Лотман, — ключевая для постсоветского или, может быть, эсэнговского пространства, это постоянная осцилляция между взрывом и застоем и неизбежная катастрофа в конце обоих путей. «В сфере реальности взрывы исчезнуть не могут, речь идет лишь о преодолении фатального выбора между застоем и катастрофой» (с. 265). Возможно ли уйти от этой дилеммы? Ответ Юрия Михайловича крайне пессимистичен, хотя и оставляет надежду на «непредсказуемое»:

...этический максимализм настолько глубоко укоренился в самих основах русской культуры, что об «опасности» абсолютного утверждения золотой середины вряд ли можно говорить и уж тем более опасаться, что выравнивание противоречий затормозит творческие взрывные процессы. Если движение вперед — альтернативой ему является лишь катастрофа, границы которой трудно предсказать, — все же преодолеет ту грань, на которой мы находимся, то возникший порядок вряд ли будет простой копией западного. История не знает повторений. Она любит новые, непредсказуемые дороги (с. 265).

Между тем на практике постоянно создаются ситуации, когда общество вынуждено выбирать между новой, еще одной революцией (или реставрацией) и еще одной, более глубокой стадией стагнации (ее сегодня обозначают благозвучным словом «стабильность»). Но стагнация вызывает кризис, грозящий перейти в открытый конфликт («революцию»), «революция» и «шоковые терапии» усиливают кризис и, истощая и без того скудный ресурс общества, приводят к еще более глубокой стагнации. Сама по себе эта схема хорошо известна (хотя Лотман предупреждал о ее актуальности не сейчас, а еще в «розовые» времена 1991–1992 гг.), но вина за ее регулярность до сих пор связывается с нехорошими лидерами (или с происками внешних и внутренних врагов). Между

тем объяснение Лотмана не входит в политологический лексикон, и закономерности переживаемого периода описываются им как свойство бинарной системы, то есть системы, определяемой двоичными противопоставлениями (оппозициями). Это — двуполосный мир, единая парадигма, единый понятийный код, но с диаметрально различающимися оценками («свое — чужое», «хорошее — плохое») и основополагающим принципом — «кто не с нами, тот против нас» (с. 264). Во внешнем мире — противостоящие друг другу империи добра и зла, сыны тьмы и света, внутри — борьба между светом и тьмой в душе человека⁴⁸. Памятник Хрущеву работы Эрнста Неизвестного, выполненный как чередование черного / белого с «победой» белого, — это еще и памятник бинарному мировосприятию. Причем мировосприятию не только «совковому». Безотносительно к тому был ли знаком Ю. М. Лотман со статьей Фрэнсиса Фукаямы «Конец истории», согласно которой победа либералистских идеологии и способов производства и потребления знаменует конец истории⁴⁹, но сам механизм возникновения подобных представлений был описан им как результат той же бинарной культурологической модели:

Идеалом бинарных систем является полное уничтожение всего уже существующего как запятнанного неисправимыми пороками. Цена, которую приходится платить за утопии, обнаруживается лишь на следующем этапе. Характерная черта взрывных моментов в бинарных системах — их переживание себя как уникального, ни с чем не сравнимого момента во всей истории человечества. В идеале — это апокалиптическое «времени больше не будет», а в практической реализации — слова, которыми Салтыков завершает свою «Историю одного города»: «История прекратила течение свое» (с. 258).

⁴⁸ Ср.: «...победе должна предшествовать кровавая борьба, возможно — поражение. Зато победа рисуется как “последний и решительный бой” — воцарение царства Божия на земле» (с. 264).

⁴⁹ «То, чему мы, вероятно, свидетели, не просто конец холодной войны, или очередного периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной демократии как окончательной формы правления» [Фукаяма 1990: 134–135].

Но победа «добра над злом» никогда не бывает окончательной — не потому, что вездесущий «враг» проникает в ряды «своих». Бинарная система по определению не может существовать без второго члена, и он обязательно возникает. Несмотря на оптимизм Фукаямы или эсэнговских реформаторов, то здесь, то там регенерируют коммунизм и национализм, а место центральной империи зла занимают ее региональные бастионы. Происходит постоянная демонизация «бросающих вызов мировому сообществу» периферийных лидеров: Саддам, генерал Айдид, Милошевич (он был главным демоном зла 1992–1993 гг., в какой-то момент, в период Дейтона, стал уважаемым прагматиком и тогда же — но уже в другой системе координат — предателем, по отзыву занявшего его место в интернациональной демонологии Караджича. После Косовского кризиса он опять возглавляет мировое зло). Тот же концептуальный язык используется и с противоположной стороны — это героические Давиды, отстаивающие национально-патриотическую истину в неравной борьбе с транснациональным Голиафом. И для описания этих процессов наиболее адекватным инструментом оказываются не декларируемые механизмы постиндустриального общества, а описанные М. Элиаде архические схемы мифологического сознания: необходимо поразить дракона в голову, это — первый акт сотворения и утверждения уже не подверженного дальнейшим изменениям мирового порядка. (Постоянно обсуждаемые планы нанесения ракетно-бомбовых ударов по бомбоубежищам Саддама, Каддафи и Милошевича — это воплощенный в современных технических средствах древний миф о громовержце, молнией поражающем укрывшееся под землей хтоническое чудовище, змея или дракона.)

Мир, организованный как система бинарных оппозиций, исключает трансформацию, в нем возможна только «нейтрализация оппозиции». Семиотические термины звучат как политические: «нейтрализация» оппозиции на языке «реальной» политики — это ее уничтожение или, в лучшем случае, игнорирование. Эта, может быть и случайная, омонимия выявляет наличествующий смысловой слом, поскольку исчезновение дистанции между семиотической терминологией и обиходным политическим жаргоном — показатель кризиса, к которому приводят попытки сконструировать бинарный («двуполосный») мир.

Бинарность была закреплена и как мировая идеология («свободный мир — коммунистический мир»), и как мировая экономическая система (сосуществование капиталистической и социалистической экономики), и как основополагающий принцип в международной системе безопасности. Ее политико-правовым оформлением стали такие международные структуры, как НАТО и Варшавский пакт, ОБСЕ с ее основополагающим правом вето, Совет Безопасности ООН с паритетным участием супердержав, представляющих оба полюса. Все, что не вписывалось в бинарную модель, оказывалось маргинальным и внесистемным, его подчиненная роль была фактом не только политики и экономики, но и языка: сами термины «третий мир» или «движение неприсоединения» есть свидетельство их маргинальной роли — они характеризуются исключительно негативно, как нечто, что не имеет собственного места в системе.

Хотя реальная практика вносит необходимые коррективы, но сама логика бинарных систем диктует решения типа «Все или ничего» или «Победитель получает все» (ср. с ситуацией выборов президента и мажоритарной системой выборов в целом). Возможными ответами в такой системе могут быть только «да / нет», и наиболее демократическая процедура выявления воли народа — референдум — оказывается в то же время наиболее наглядной иллюстрацией ограниченности выразительных средств подобной логики⁵⁰.

После падения коммунизма и распада СССР много говорится о переходе от биполярного мира к однополюсному. Такой переход, если он действительно имеет место, можно рассматривать как достаточно тривиальное проявление общесемиотического принципа нейтрализации оппозиций. При нейтрализации двучленной оппозиции остается один член — это не «среднее» между двумя членами и не сумма их признаков, а их минимальный набор. На-

⁵⁰ Как ответ этому политическому манихейству неожиданно возникает претендующий на откровение Каддафи, который, среди прочего, в своей «Зеленой книге» утверждает, что референдум — это средство обмана и тирании, поскольку «народу позволено сказать только “да” или “нет”, и тот, кто говорит “да”, и тот, кто говорит “нет”, не в состоянии выразить своей собственной воли» (цит. по: [Dovrig 1997]).

пример, в большинстве языков мира существует оппозиция между звонкими и глухими согласными — например, «г» и «к». Они отличаются одним признаком: «+ звонкость» / «- звонкость». В случае нейтрализации оппозиции по звонкости / глухости оставшийся член совпадает с минимальным, то есть глухим согласным. Например, в русском языке позиция согласного на конце слова — это так называемая слабая позиция, или позиция нейтрализации. Поэтому два разных слова, «лук» и «луг», произносятся одинаково: как «лук». Если в русском исчезнет противопоставление по звонкости / глухости, то все согласные зазвучат как глухие, и даже для тех, кто будет продолжать произносить их как звонкие — для языкового коллектива, безотносительно к реальной фонетике, они будут восприниматься как глухие. Таков процесс утраты изначально куда более богатой системы звуков индоевропейского языка — в большинстве современных языков-наследников утрачено протипоставление долготы / краткости гласных (кроме литовского) и придыхательности согласных (кроме армянского), во многих утрачено протипоставление согласных по мягкости / твердости, в ряде языков — также и по звонкости / глухости. Процесс развития языков — как правило, это процесс упрощения их фонетической и грамматической систем, что в свое время дало основание Авг. Шлегелю и его последователям (Гумбольдт, Шлейхер) распространить на историю языка мифологическую схему перехода от «золотого века» к «бронзовому».

Но в принципах организации языка можно найти и другие формы, и на них, как на возможные способы построения культурных кодов, указывается в книге «Культура и взрыв», — это куда менее исследованные тернарные и многочленные оппозиции. Если бинарная система — это логика противопоставления, противостояния и конфликта, разрешением которого оказывается нейтрализация (исчезновение) более сложного состояния, то тернарная система оппозиций — это логика компромисса. Пример тернарной оппозиции: мужчина — женщина — человек; последний член совмещает (обобщает) оба предыдущих и является общей частью первых двух. В английском языке это противопоставление выражается бинарной оппозицией — «man — woman», что, кстати, характерно для большинства языков мира (это — отражение ситу-

ации патриархального общества, или того, что Деррида называет экзотическим термином «фаллоцентризм языка»). Чтобы компенсировать ограниченность бинарной структуры, в современном английском в значении 'человек' стали использоваться выражения *person* или новая словарная единица *he or she*, эти новообразования трансформируют бинарную структуру в тернарную. При бинарной структуре нейтрализация сведется к потере маркированного члена:

man (He) vs woman (She) = > Man (He).

При новой системе возможны такие формы, как:

*man (He) vs woman (She) = > He or She; person
[(He or She) or (He) or (She)] —*

трансформы в тернарной оппозиции включают первые два как свои подмножества, или элементы, тогда как в бинарной оппозиции при нейтрализации сохраняется только минимальный член. В бинарной системе действует операция исключения, в тернарной — включения.

Или же другой пример: звуки языка делятся на гласные — согласные — полугласные (или в другой классификации — сонорные), последние могут выполнять функции и гласных, и согласных. Таким образом, помимо бинарных оппозиций, которые, как правило, носят контрадикторный (взаимоисключающий) характер, возможны также и трех-, и четырехчленные, контрарные оппозиции, члены которых противопоставлены, но не исключают друг друга. Так если форма бинарной оппозиции — это «А или не-А», то во втором случае возможны и такие случаи, как «А»; «не-А»; «А и не-А», «А или не-А» (ср.: «мужчина» — «женщина» — «гермафродит» — «человек»). В первом случае действует классическая логика и закон исключенного третьего, во втором случае — неклассическая многозначная логика, частным случаем которой является логика классическая.

Есть еще один аспект — это градуальность оппозиций, о которой также писал Юрий Лотман. Как пример можно показать столь важное для современной политики понятие границы и сравнить — как воплощается это понятие в физической и политической гео-

графии. Если на физической карте границы носят градуальный характер, то политическая карта задает однозначные границы и предполагает аналогичное однозначное членение мира, в котором нет переходов⁵¹.

Респектабельный научный анализ после значительных успехов в фонологии и перенесении ее методов в гуманитарные науки (К. Леви-Строс) основывается именно на сведении многочленных оппозиций к двучленным. Поэтому неслучайно, что метод бинарных оппозиций разработан куда лучше; что касается многочленных, то в этой области практически нет разработанных концепций и методологий — есть, пожалуй, лишь ряд исследований Умберто Эко, посвященных критике как бинарного метода, так и основанному на нём леви-стросовскому рассмотрению этих структур как основы цивилизации, а также наметки цельной теории, представленные оставшимся в одиночестве Ю. Лотманом. Но и у него не дано ни определений, ни методов анализа, место которых занимают примеры тех или иных культурологических механизмов.

Разумеется, бессмысленно оспаривать очевидную истину, что любую многочленную систему можно свести к набору двучленных противопоставлений. Но вопрос в том, насколько сводимость системы к элементарному «да-нет» адекватна самой системе. Такая сводимость весьма эффективна, если предусмотрена возможность выявить несводимый к двоичному коду семантический компонент системы. Поэтому Ю. Лотман проницательно предостерегает: восстание против бинарных систем есть продолжение той же двоичной логики, утопического бунта или, словами Лотмана, это попытка осуществлять эволюцию механизмами взрыва⁵². «Уничтожение» бинарной системы приведет либо к ва-

⁵¹ Ср.: «Самоописание культуры делает ее границу фактом самосознания. Это можно сопоставить с размытыми границами на реальной карте распространения языков и четким членением их, например, на политической карте. Момент самосознания придает границам культур определенность, а включение государственно-политических соображений неоднократно придавало вопросу драматический характер» (с. 267).

⁵² Ср.: «Даже постепенное развитие мы хотим осуществить, применяя технику взрыва. Это, однако, не есть результат чьего-либо недомыслия, а суровый диктат бинарной исторической структуры» (с. 267).

кууму, либо к ее воспроизведению в еще более упрощенном варианте (ср. неудачные результаты революций, направленных на уничтожение «разницы между богатыми и бедными», и эффективность социальных технологий, направленных на градуализацию, смягчение имущественных границ). Если оставить тщетные попытки «бороться» с бинарными системами и попытаться обойти нежелательные для нас следствия, то в первую очередь следует поставить вопрос: почему внутренняя организация бинарной системы порождает конфликты? Прежде всего, потому, что используемые социумом оппозиции образуют эту ценностно организованную систему и любое понятие описывается в ней в первую очередь как оценочное: свое — чужое, плохое — хорошее. Такой язык однозначно определяет нормативное поведение, направленное на уничтожение плохого и восстановление хорошего (оба эти аспекта есть «торжество справедливости», наказание плохих и поощрение хороших). Язык такой системы вместо слов, отсылающих к конкретному референту, представляет собой скорее набор эмоционально окрашенных этикеток, диктующих и позицию, которую надо (нельзя не) занять. При использовании такого языка не надо вникать в ситуацию — сама номинация предполагает, кто прав, кто нет. Современный политический жаргон еще более стирает конкретную референцию и усиливает оценочность. Например, президентские выборы в России 1996 г. прошли под конфронтационными лозунгами: демократы боролись с «коммуняками», тогда как коммунисты выступали против «дерьмократов». Разумеется, в такой ситуации обсуждение любого технологического вопроса (например, обсуждение различных вариантов бюджета) сразу перерастает в вопрос о спасении / предательстве родины, и — *tertium non datur*. Действует однозначная корреляция: «мы — они», «свои — чужие», «хорошее — плохое». Кто не с нами — тот... козел. *Иного не дано* (лозунг интеллектуальных «прорабов перестройки»).

В таких системах нет альтернатив, есть только возможность победы одной стороны над другой или же консервация существующего состояния. Видимо, в этом смысле следует понимать прозорливо отмеченную Ю. М. Лотманом идею о том, что после падения коммунизма и распада СССР общество продолжает находиться

перед дилеммой «взрыв — застой». Застой — это нейтрализация оппозиции, взрыв — ее возрождение с обратным знаком или легитимизация посредством возрождения «образов врага» (выясняется, что и после падения коммунизма коммунисты продолжают представлять чуть ли не главную опасность «конституционному строю России»). «Безальтернативность» («неизбежность») тех или иных ситуаций обеспечивается модально-семантическими манипуляциями с языком.

Используемый на постсоветском политическом пространстве язык выдает следование прежней советской идеологической традиции с ее определяющей категорией «неизбежности»: неизбежности как победы коммунизма в целом, так и любого способствующего этой победе фактора. Сегодня вместо категории «неизбежности» используется «нет альтернативы»: если X — некоторое желаемое состояние, то X-у нет альтернативы. Поэтому любое действие, направленное на установление некоторого иного состояния, обречено на провал и бессмысленно, ибо входит в противоречие не с конкретной ситуацией, а с незыблемыми категориями модальной логики. Вспомним — в свое время не было альтернативы ни перестройке, ни Горбачеву, затем — не было и нет альтернативы Ельцину. Сегодня в странах СНГ, как правило, нет альтернативы действующему президенту, нет альтернативы демократическим реформам и рыночной экономике, нет альтернативы любому из принимаемых судьбоносных решений, нет альтернативы миру и переговорам (когда продолжается война), нет альтернативы расширению НАТО на Восток. (Победи в августе ГКЧП, мы бы читали о трудном, мужественном, не всеми в тот момент понятом решении, но которого не было альтернативы.)

Разговоры об отсутствии альтернативы (перестройке, курсу реформ, Горбачеву / Ельцину или же их отставке) основываются на модально-семиотическом манипулировании, разъясненном Ю. Лотманом, правда в иной связи: настоящее описывается в терминах якобы настоящего, так, как оно может представляться, глядя из будущего, то есть как уже свершившееся. При взгляде из будущего на событие как на якобы настоящее оно становится неизбежным (безальтернативным), остальное, несвершившееся, становится эфемерным («контрконструктивным»):

Момент взрыва создает непредсказуемую ситуацию. Далее происходит любопытный процесс: совершившееся событие бросает назад ретроспективный взгляд. При этом характер происшедшего решительно трансформируется. Следует подчеркнуть, что взгляд из прошлого в будущее, с одной стороны, и из будущего в прошлое — с другой, решительно меняют наблюдаемый объект. Глядя из прошлого в будущее, мы видим настоящее как набор равновероятных возможностей. Когда мы глядим в прошлое, реальное для нас обретает статус факта, и мы склонны видеть в нем нечто единственно возможное. Нереализованные возможности превращаются для нас в такие, какие фатально не могли быть реализованы. Они приобретают эфемерность (с. 194–195).

К этому можно добавить, что иллюзия отсутствия альтернативы в бинарных социальных системах носит принципиальный характер, поскольку составляющие их термы и используемый язык ценностно ориентированы: естественно, что выбор между «хорошим» и «плохим» должен осуществляться в пользу «хорошего», поэтому «защитники конституционного строя» *должны* одержать победу над «сепаратистами», тогда как «борцы за свободу» *должны* победить «угнетателей», хотя речь может идти об одной и той же ситуации. Бинарные системы не допускают нейтральных, ценностно не отмеченных вариантов ни развития событий, ни их описаний, поэтому внутри себя и применительно к себе безальтернативны. Другое дело, что альтернативой явится иная конкурирующая система, несовместимая с первой. Отсюда неизбежно будут воспроизводиться «битвы за будущее», каждый из вариантов которого представляется как «неизбежность».

Но если отвлечься от идеологических схем самих участников процесса, альтернативы всегда есть. Но они могут быть рассмотрены только в многочленных системах, представляющих собой не взаимоисключающие термы, а градуально отличающиеся синонимические ряды. Здесь опять-таки уместно рассмотреть то расширительное объяснение синонимии / антонимии, которое предлагается Ю. М. Лотманом:

Момент взрыва есть момент непредсказуемости. Непредсказуемость не следует понимать как безграничные и ничем не определенные возможности перехода из одного состояния в другое. Каждый момент взрыва имеет свой набор равновероятных возможностей пе-

рехода в следующее состояние, за пределами которого располагаются заведомо невозможные изменения. Всякий раз, когда мы говорим о непредсказуемости, мы имеем в виду определенный набор равновероятных возможностей, из которых реализуется только одна. При этом каждая структурная позиция представляет собой набор вариантов. До движения от места взрыва все более и более разводит их в смысловом пространстве. Наконец, наступает момент, когда они становятся носителями смысловой разницы. В результате общий набор смысловых различий все время обогащается за счет новых и новых смысловых оттенков. Этот процесс, однако, регулируется имеющим противоположное направление стремлением ограничить дифференциацию, превращая культурные антонимы в синонимы (с. 190–191).

Нам представляется весьма продуктивной не только сама схема, но и возможность описания исторического процесса в терминах лексико-семантических отношений — таких, как антонимия, синонимия, а также многозначность (амбивалентность) и энантиосемия⁵³. В лексико-семантической системе языка — это взаимосвязанные отношения, представляющие результат различных трансформаций некоторого исходного семантического комплекса (сем). Разумеется, применительно к описанию исторического процесса эти лексико-семантические отношения получают расширительное толкование (как у Ю. М. Лотмана).

Синонимия — это возможность выразить одно и то же содержание различными способами, и внимание концентрируется уже на этих различающихся оттенках и способах выражения одного и того же содержания, относительно которого существует базовый

⁵³ В лексико-семантической системе языка энантиосемия занимает маргинальное место и, как правило, есть результат определенного развития многозначности: некоторый семантический инвариант приобретает противоположные дополнительные семы (ср.: отказать кому что — отказать кому в чем; одолжить кому что — одолжить у кого что). Энантиосемии можно рассматривать как антонимию, локализованную в парадигме различных лексико-семантических вариантов многозначного слова. Если же рассматривать этимологию (происхождение) слов, то можно найти многочисленные примеры, когда энантиосемия распределяется по разным языкам, происходящим из одного источника.

консенсус. Это — различные видения одной и той же реальности, а не уничтожение одной реальности во имя утверждения другой. То есть — это культура и политика, тонко реагирующая на стилистические отличия при тождестве смысловых. И напротив, для бинарных систем характерно отношение антонимии, и, соответственно, язык, использующий стилистику, маркирующую все объекты и явления как «наше — не наше», «хорошее — плохое», и создающий тем самым несовместимые базовые онтологии при описании одних и тех же объектов. Так, один и тот же индивид в одних мирах (онтологиях) предстанет как герой-разведчик, в других — как изменник-шпион; или же раскольник-еретик в одних мирах в других превратится в мученика за истинную веру.

Бинарная система — это архаичная система близнецов и двойников, которые, как показывает мифология, обречены стать непримиримыми антагонистами (то есть, как и намечено Ю. Лотманом, синонимия переходит в антонимию). Для тернарной и многочленных систем более адекватной является предложенная Людвигом Витгенштейном для описания значения теория фамилного сходства: мы не можем найти нечто общее на фотографиях членов семьи (скажем, один и тот же нос — у всех, отличающий семью Сидоровых от Петровых), но можем найти нечто общее между всеми, что и неуловимо, но явственно говорит о том, что все они — близкие родственники⁵⁴. Это синонимия вместо антонимии.

Тернарная система не является нейтральной, она также ценностно ориентирована, но она допускает как ценностно неотмеченные, так и амбивалентные категории. Подобный язык описания предполагает мир градуальности, в ряде случаев — неопределенности, а также ситуации многоязычия, признающей множественность реальностей при отсутствии ответа, какая из этих реальностей окончательная (истинно верная). Непереводаемость одной теории (концепции, идеологии) на другой язык — этот методологический постулат на деле подразумевает неполную перево-

⁵⁴ Заметим, что народная «мудрость» требует то расширить, то сузить критерий Витгенштейна: ср. такие случаи, как, с одной стороны: *В семье не без урода*, а с другой — *Ни в мать, ни отца, а в проезжего молодца*.

димось⁵⁵ или же возможность множественности приемлемых переводов⁵⁶, но вовсе не невозможность перевода.

Путь от конфронтации к компромиссу на языке семиотики — это путь от нейтрализации оппозиций к их совмещению, а это и есть путь конструирования тернарных (и более) систем. Логике взрыва и логике застоя (опасения взрыва) может быть противопоставлена идея динамической стабильности, но не застойной стабильности, во имя которой приносится в жертву возможность развития, но которая есть органичное свойство находящейся в развитии системы, это динамическое равновесие внешних и внутренних факторов и стимулов. Как механизм реализации подобного пути, возникает понятие гражданского общества в его современном понимании — как возможность совместного координированного участия в управлении и организации политического процесса.

Дилемме «катастрофа — застой» противопоставляется третий путь. Пока этот путь весьма неопределенный, для которого в обыденном политическом словаре нет адекватных терминов, и не ясно, какие термины должны быть использованы, чтобы в каждом из них изначально не таилось бы: «мы — они», «свои — чужие», «хорошее — плохое». Политические процессы описываются сегодня почти исключительно посредством слов, несущих оценку, из которой вытекает безальтернативное поведение. Но в обществе

⁵⁵ Ср. с подходом Ю. М. Лотмана к непереводаемости:

Чем труднее и неадекватнее перевод одной пересекающейся части пространства на язык другой, тем более ценным в информационном и социальном отношениях становится факт этого парадоксального общения. Можно сказать, что перевод непереводаемого оказывается носителем информации высокой ценности (с. 15);

Комбинация переводаемости — непереводаемости (с разной степенью того и другого) определяет креативную функцию. Поскольку смыслом в данном случае оказывается не только тот инвариантный остаток, который сохраняется при разнообразных трансформационных операциях, но и то, что при этом изменяется, мы можем констатировать приращение смысла текста в процессе этих трансформаций [Лотман 1999б: 17].

⁵⁶ Ср.: «Неопределенность означает не невозможность приемлемого перевода, а возможность множества таковых» [Куайн 2006: 43].

называет осознание недостаточности бинарных систем и необходимости перехода к тернарным. Как показатель этого — ставшее весьма модным, хотя и столь же неопределённым словосочетание: «третий путь». Пусть пока это лишь новый штамп, но его возникновение уже само по себе показательно — уже ясно, что «два пути» недостаточны, чтобы дойти до цели:

Фактически разрабатываются два возможных пути. Один, приведший Горбачева к реальной потере власти, заключался в замене реформ декларациями и планами и завел страну в тупик, чреватый самыми мрачными прогнозами. Другой, выражающийся в разнообразных планах вроде «500 дней» и других проектов скоростного преобразования экономики, — выбивает клин клином, взрыв взрывом (с. 264–265).

Хотя в современных ему реалиях Ю. М. Лотман не находит желаемого⁵⁷, тем не менее эта возможность им не исключается:

Переход от мышления, ориентированного на взрывы, к эволюционному сознанию приобретает сейчас особое значение, поскольку вся предшествующая привычная нам культура тяготела к полярности и максимализму (с. 265–266).

«Пропустить эту возможность было бы исторической катастрофой» (с. 270) — этим предложением завершает Ю. М. Лотман последнюю из при жизни опубликованных им книг. Безусловно, можно предлагать различные политические и экономические проекты дальнейшего развития постсоветского общества, но любая из концепций должна учитывать, что проблемы политики и экономики начинаются с языка: словаря и грамматики знаковых систем, на котором эти системы описывают и себя, и подлежащий реформированию мир. Тем самым постсоветская история предстает как семиотическая проблема.

⁵⁷ Так, в русской культуре он в качестве образца подобного мышления выделяет баснописца И. А. Крылова: «Крылов, конечно, не единственный, хотя и самый яркий представитель этого направления русской культуры, чуждой и славянофильства, и западничества, чуждой самого принципа “кто не с нами — тот против нас” — ведущего принципа бинарных систем. В этой связи также следует назвать имена Островского и особенно Чехова» (с. 264).

5. РОМАН-РЕКОНСТРУКЦИЯ: СОТВОРЕНИЕ ЖАНРА (О КНИГЕ Ю. М. ЛОТМАНА «СОТВОРЕНИЕ КАРАМЗИНА»)

1

«Нам не дано предугадать / Как наше слово отзовется» — эти часто цитируемые стихи Баратынского прекрасно выражают последующую жизнь и судьбу текста в новых контекстах. Крайне важно, чтобы помимо самих текстов были представлены и рожденные ими метатексты — они, с одной стороны, определяют функционирование текста в новых коммуникативных условиях, а с другой — эксплицируют происходящие при этом смысловые изменения. Соответственно, изучение подобных метатекстов и интертекстов позволяет выявить нетривиальные семантические и структурные характеристики самих исходных текстов.

Отсюда столь большой интерес к рецепции художественных текстов в иноязычной культуре. Но изменением контекста является не только иное пространство (иноязычная культура), но и время — та же культура, но представленная в ином синхроническом срезе. Так текст обретает двоякую жизнь — и как принадлежащий диахронии памятник литературы, и как его синхронное преломление-отражение в порождаемых им новых текстах и интерпретациях, неизбежно приводящих к новому прочтению и тем самым — новому со-творению текста.

Художественная проза, историография и сама личность Карамзина находят свое выражение в современной культуре, но не

непосредственно, а путем определенных репрезентаций, причем форма воспроизведения характеризует уже нынешнее состояние — что именно из творчества и биография Карамзина оказывается актуализовано в современном контексте. Здесь очень важна позиция «исследователя как последователя» и «последователя как исследователя»⁵⁸ — только гармоничное сочетание этих ипостасей позволит найти грань между академизмом (диахронической адекватностью) и актуальностью (синхронической значимостью).

Исходя из этого, экспликация характеристик личности и творчества Карамзина возможна не только путем их непосредственного анализа, но и обращения к тому, что можно назвать «ревитализацией» или «со-творением»: адаптацией (или даже имплантацией) Карамзина в современную культуру посредством метатекстов о нем. Метаморфозы и трансформации текста и смысла есть средство выявления глубинных структур (инвариантов) исходного источника.

Книга Ю. М. Лотмана «Сотворение Карамзина» может считаться образцом подобного подхода. Личность и творчество Карамзина подвигли Юрия Лотмана на «сотворение жанра», что позволяет по-новому увидеть ряд существенных характеристик творчества Карамзина: не только как историка и писателя, но как историка-писателя. Сам Лотман назвал свое произведение *«романом-реконструкцией»*. Наша статья — также «реконструкция», но обращенная на Карамзина уже опосредованно, поскольку описывает не содержание (образ Карамзина в тексте Лотмана), а характеристики сотворенного Ю. Лотманом текста о Карамзине.

2

В лице Ю. М. Лотмана Карамзин обрел своего выдающегося «исследователя и последователя». Жизнь и творчество Н. М. Карамзина — одна из постоянных исследовательских тем Ю. М. Лотмана уже со студенческих лет. Б. Ф. Егоров приводит следующие

⁵⁸ Мы воспроизводим характерное для 60–90-х гг. прошлого века противопоставление между официально признанной и реально функционирующей классикой, что дало жизнь известным строкам Евгения Евтушенко: «Не важно, есть ли у тебя исследователи, А важно, есть ли у тебя последователи».

факты (см.: [Егоров 1987]). Вернувшись после окончания войны в 1946 г. в Ленинградский университет, Ю. М. Лотман в семинаре Н. И. Мордовченко подготовил курсовую работу о журнале Карамзина «Вестник Европы» (1947), а годом позже — статью «Карамзин и масоны» (1948). Статья была принята Г. А. Гуковским к печати в авторитетном сборнике «XVIII век», но вследствие драматических обстоятельств (арест Г. А. Гуковского, борьба с космополитизмом) так и не увидела свет. К сожалению, обе статьи не сохранились, однако, вероятно, их положения были использованы Ю. М. Лотманом впоследствии. Это, прежде всего, статья «Эволюция мировоззрения Карамзина» [Лотман 1957], а также ряд других, посвященных литературным и общественным процессам того периода⁵⁹. Кроме того, Ю. М. Лотман подготовил к публикации для Большой серии «Библиотеки поэта» том стихотворений Карамзина (1966), а в серии «Литературные памятники» — «Письма русского путешественника» (1984). По отношению к Карамзину Лотман занимает позиции исследователя, редактора, публикатора, архивиста и, наконец, биографа. Завершает этот разножанровый ряд книга «Сотворение Карамзина», названная автором «романом-реконструкцией». Описанию структурно-семиотических принципов этого новосозданного жанра посвящена вводная глава («Роман-реконструкция»), но и она сама требует «реконструкции», точнее, системного объяснения. Предлагаемые Ю. М. Лотманом структурно-семиотические характеристики романа-реконструкции есть итог его многолетних исследований по семиотике текста и философии истории (о чем мы писали в предыдущих разделах) — в данном случае эти значительно отстоящие друг от друга дисциплины оказались сосредоточены вокруг одного и того же вопроса. Книга «Сотворение Карамзина» Ю. М. Лотмана — попытка реализации его представлений о том, что есть идеал историка и исторического исследования, каково должно быть соотношение между непреложными фактами, допустимыми «вымыслами» и неприемлемыми «домыслами». Осмысление соотношения между ними при

⁵⁹ В первую очередь, это статья «Пути развития русской прозы 1800–1810-х годов» [Лотман 1961], где Карамзину посвящена ее вторая половина (с. 25–57).

реконструкции и осмыслении прошлого — одна из постоянных тем Ю. М. Лотмана, однако ее теоретическое воплощение фактически оказалось нереализованным — ученый обращается к ней, но в заметках-маргиналиях (письмах и рецензиях), большей частью оставшихся неопубликованными при его жизни. Как можно судить по этим разрозненным заметкам, для Лотмана происшедшее событие является непреложным фактом, игнорирование которого не допустимо. Это, по Лотману, — «домысел». «Домыслом» является и домысливание событий, относительно которых нет документальных подтверждений. Вместе с тем в истории происходило множество событий, о которых не оставлено каких-либо свидетельств, но которые, *возможно*, имели место. Тем самым засвидетельствованная документами история дополняется *возможной* историей. Все, что прямо не противоречит фактам, есть «вымысел», который, хоть и будучи ненаучным (поскольку не может быть ни верифицируем, ни фальсифицируем), при соблюдении определенных условий может быть допустим при описании истории и культуры (ср.: [Трунин 2013; 2016]).

Эти принципы получили литературное воплощение в книге «Сотворение Карамзина» и бегло обрисованы в вводной главе:

Роман-реконструкция — особый жанр. Сюжет его создается жизнью и только жизнью. Домысел в нем не может иметь места, а вымысел должен быть строго обоснован научно истолкованным документом [Лотман 1987: 13].

Их адекватное понимание предполагает обращение к более широкому контексту — это размышления Ю. М. Лотмана о характере исторических процессов и их отражении в культуре, литературе и историографии.

3

Вкратце воспроизведем высказанное в разделе «О непредсказуемости прошлого». Согласно лотмановской концепции, история есть многомерный процесс, который никогда не может быть исчерпывающим образом описан. Кроме того, история выступает в виде текстов. В отличие от придуманного Артуром Данто «идеального хрониста», который может наблюдать события непосред-

ственно, историк имеет дело исключительно с образами событий. Событие преобразуется («пересказывается»), во-первых, «по законам языковых и логических, риторических и нарративных конструкций», к которым добавляется «идеологическое кодирование, подразумевающее жанровые, идейно-политические, социальные, религиозные, философские и прочие коды» [Лотман 1999а: 307–308]. Во-вторых, исторический факт есть не объект описания, а его результат: историк «сам создает факты, стремясь извлечь из текста внетекстовую реальность, из рассказа о событии — событие» [Там же: 302].

Таким образом, историк выступает не как описатель фактов, а как их создатель. Переход от хронографии к историографии приводит к тому, что историк (специалист по датам) становится «специалистом по интерпретации / созданию текста», а «факт» понимается уже и как текст [Там же: 304, 306]⁶⁰.

Наконец, историк, некоторым образом выделив факты из исходных текстов, далее вынужден создать новый текст об этих фактах. Текстуализация истории влечет ее последующие трансформации: во-первых, нарративизацию, поскольку «синтагматическая линейная направленность текста трансформирует событие, превращая его в нарративную структуру», а во-вторых, ее ретроспективную оценку с точки зрения будущих событий [Там же: 331]. На историю переносятся такие структурно-семантические характеристики текста, как единство, связность, нарративность и истинность (о последнем Ю. М. Лотман не упоминает, но это следует из его критерия разграничения текста от не-текста) [Там же: 307].

При таком понимании истории меняется и представление об «идеальном» историке. Расхожему идеалу историка как бесстрастного объективного идеального хрониста противопоставлен другой — историк-романист, который в состоянии на основе фактов создать связный нарратив и одновременно заполнить неизбежные

⁶⁰ Чтобы правильно понять эту мысль, следует учитывать, что, согласно теории текста Ю. М. Лотмана — А. М. Пятигорского, статус текста определяется не лингвистическими или структурными характеристиками, а прагматическими и функциональными, согласно которым «текст» может быть только истинным и только правильным [Лотман, Пятигорский 1968: 75, 77–78].

лакуны. Подобное представление о методологических ограничениях и неизбежной нарративизации и текстуализации истории может привести к парадоксальному выводу — историю должны писать не историки, а «специалисты» по текстам и нарративам, то есть филологи, семиотики и романисты. Поэтому в полной мере осуществить такой синтез дано автору, который в одном лице совмещает обе ипостаси — историка и романиста (филолога, семиотика и т. д. — специалиста по текстам). Воплощение подобного идеала Ю. М. Лотман находит в таких авторах, как «романист-историк» Умберто Эко и «писатель-филолог» Юрий Тынянов (с некоторыми оговорками это также и Пушкин, и Карамзин — см. ниже). Характеристики, даваемые этим авторам [Лотман 1989: 478; Трунин 2013], показывают, что в данном случае Лотман описывает собственное видение возможного синтеза и преодоления методологических границ между художественным творчеством, филологией и семиотикой (см. с. 88–90 наст. изд.).

4

Дальнейшее развитие подобного комплексного подхода к историографии можно увидеть в творчестве самого Лотмана в созданных им «романах-реконструкциях» о Карамзине и Пушкине. Историк из хрониста (биографа) становится *реконструктором*, совмещающим в одном лице различные ипостаси. Так, в книге «Сотворение Карамзина» Лотман вводит новый жанр: «роман-реконструкция», который мы описали ранее. Это синтетический жанр документальной прозы, где автор, объединяя в одном лице историка, семиотика и романиста, строит повествование, «попеременно предоставляя слово то одному, то другому» и перемежая анализ с «воображением» [Лотман 1987: 13]. С этой точки зрения роман-реконструкция «Сотворение Карамзина», как бы ни напоминал он биографию писателя, есть попытка наметить некоторое идеальное историографическое исследование, понимаемое как полилог между историком, романистом и семиотиком. При этом Лотман опирается на опыт самого Карамзина, назвавшего свою «Историю» «*поэмой*». Само слово «сотворение» навеяно словами Чаадаева о Карамзине и дано как эпи-

граф к книге⁶¹. Помимо этой особо выделенной Лотманом цитаты, название книги можно понимать и как отсылку к опыту Карамзина — интерпретируя приставку *со-* как указание на *совместное творение* жанра.

При таком рассмотрении переосмыслиется творчество самого Карамзина — как романиста и историка (а, возможно, также и семиотика и культуролога). Безусловно, что на формирование взглядов Ю. М. Лотмана об соотношении отображения истории в историографии и литературе повлиял проанализированный им опыт Карамзина — автора, с одной стороны, «Марфы Посадницы», а с другой — «Истории государства Российского». Оставаясь в пределах историко-литературного анализа, Ю. М. Лотман еще в 50–60-х гг. выделил то новое понимание «исторического», что было внесено Карамзиным в русскую культуру:

...само понятие «исторический роман» воспринималось в эпоху зарождения жанра как содержащее противоречие. Роман, — за исключением «политического» романа, философского и аллегорического, — считался жанром, лишенным важности, правдоподобия, имеющим целью простое развлечение читателя. История считалась сферой правды, роман — вымысла. История воспринималась как область политических и нравственных уроков, в романическом жанре на материале истории возможно было строить лишь утопию — произведение о нормативных идеалах общества. <...> Сказанное привело к тому, что интерес к глубочайшей старине, Киевской Руси, источниками сведений о которой были «Слово о полку Игореве» и летопись, отразился лишь в поэзии, почти не затронув романа [Лотман 1961: 25].

Отмечая, что «общераспространено мнение, что начало работы Карамзина над историей является, вместе с тем, и концом его биографии как писателя» [Там же: 28], Ю. М. Лотман, опираясь на авторитет Белинского, напротив, рассматривает обращение к истории и историографии как новый этап художественного творчества Карамзина и закономерное развитие его эстетических и идеологических взглядов. Вместо «раздвоения» Карамзина

⁶¹ «...чего стоит у нас человеку, родившемуся с великими способностями, сотворить себя хорошим писателем» [Лотман 1987: 11].

на писателя и историка Лотман видит в нем гармоничный синтез или даже симбиоз этих двух ипостасей, а именно – писателя-историка. Позволим привести пространную цитату из исследования Ю. М. Лотмана, где им воспроизведены также и показательные высказывания Карамзина. Лотман ищет и находит у Карамзина ответ на то, как можно совместить в едином повествовании принципы художественной прозы и исторической хроники:

Обращение Карамзина к «Истории государства Российского» означало совершенно новый этап в его художественном творчестве... В борьбе с субъективизмом, штурмерским бунтарством предромантизма Карамзин обретал в истории ту форму художественной прозы, которая сразу же отсекала все формы авторского произвола. Сюжет был наперед задан, характер и события определены самой жизнью — автор мог проявить себя лишь в структуре стиля. Такого рода произведение, для Карамзина, — поворот к принятию действительности, и политически это связано с дальнейшим движением в сторону консерватизма. Но, вместе с тем, поворот к истории был и попыткой преодолеть субъективистскую эстетику [Лотман 1961: 40–41].

Говоря о том, что историк не может обращаться лишь к ярким и интересным сюжетам, ибо не свободен в выборе изображаемых событий, Карамзин писал: «История не роман, и мир не сад, где все должно быть приятно: она изображает действительный мир». В «Марфе Посаднице» Карамзин, рассматривая повествование как иллюстрацию к политической концепции, произвольно влагал в уста исторических действующих лиц вымышленные монологи. В этом отношении он, хотя и совершенно с других позиций, подходил к методам историков-просветителей XVIII века. Мабли, считая историю лишь иллюстрацией к теории, специально оговаривал право историка вымышлять «речи». В «Истории государства Российского» Карамзин стоит на иной позиции, требуя от историка следовать за источниками. «Нельзя прибавить ни одной черты к известному, нельзя вопрошать мертвых; говорим, что предали нам современники; молчим, если они умолчали». Историк обязан «представлять единственно то, что сохранилось от веков в летописях и архивах. Древние имели право вымышлять речи согласно с характерами людей, с обстоятельствами. Но мы, вопреки мнению аббата Мабли, не можем витийствовать в Истории».

Особенно любопытно то, что Карамзин противопоставляет историю и поэзии, и философии — первой, как царству фантазии, второй, как порождению человеческих «теорий»... [Лотман 1961: 41].

Последнее указание особенно ценно. Оно очерчивает круг деятельности писателя, который, сковав себя требованием следования за источниками, все же рассматривает свой труд как литературное, художественное произведение. В чем же состоит его деятельность как писателя? Историкунепозволительно «для выгод своего дарования» «мыслить и говорить за героев, которые уже давно безмолвствуют в могилах. Что ж остается ему, прикованному, так сказать, к сухим хартиям древности? Порядок, ясность, сила, живопись. Он творит из данного вещества»... [Там же: 41–42].

В предисловии к «Истории государства Российского» тот же вопрос решен иначе: историк не имеет права произвольно менять «сюжет» своего повествования...

...он хотел преодолеть субъективизм, создать нечто, полностью противоположное описанию «китайских теней своего воображения». Карамзин достиг этой цели, слив свою точку зрения с летописной. Из многочисленных документальных источников Карамзин почерпнул не только «сюжет» своего повествования — события и их последовательность, но и точку зрения, освещение. Восставая против философских «апофегмат», он сам совсем их не чуждался, однако стремился построить их так, чтобы они осветили события не светом философской теории XVIII века, а наивным толкованием летописца [Там же: 42].

Вышеприведенные цитаты свидетельствуют, что принципы романа-реконструкции (в частности, соотношение между вымыслом и фактом, разграничение позиций летописца и историографа, а также перенесение на историческую хронику принципов художественного нарратива — «порядок, ясность, сила, живопись») во многом были проекцией на современность тех творческих и исследовательских задач, которые, по Ю. М. Лотману, решал и решил Карамзин. Но такое прочтение цитат из Карамзина становится возможным только после того, как они помещены в эксплицирующий их контекст лотмановской концепции, иначе они могли быть восприняты как дань современной Карамзину риторике. Карамзин предстает как совместивший в одном лице филолога, романиста и историографа. При таком подходе в новом свете видится и влия-

ние «Истории» Карамзина на русскую историческую прозу и историографию. В первую очередь, это Пушкин и Толстой, по-разному продолжившие карамзинский опыт совмещения в единой авторской позиции ипостасей историка и романиста. При этом «История» Карамзина могла выступать как исходный интертекст⁶², необходимый для адекватного понимания истории и описывающих ее новых текстов. Эти же цитаты из Карамзина показывают, что уже тогда, в 50-х — начале 60-х, исследуя творчество Карамзина, Ю. М. Лотман думал о возможности синтетического жанра, в котором адекватное воспроизведение истории процесса мыслилось бы как диалог историка и романиста (см. с. 88–90 наст. изд.), а его «роман-реконструкция» стал опытом воплощения подобного типа текста.

⁶² Ср.: «Вот моя трагедия (“Борис Годунов”. — С. 3.), раз уж вы непременно хотите ее иметь, но я требую, чтобы прежде, чем читать ее, вы перелистали последний том Карамзина. Она полна славных шуток и тонких намеков, относящихся к истории того времени, вроде наших киевских и каменных обиняков. Надо понимать их — [conditio] sine qua non <непременное условие. — лат.>» (черновик письма к Н. Н. Раевскому в 1829 г. Пушкин XIV, 46, 394 — *франц.*). — Здесь и далее цитаты из произведений Пушкина, за исключением «Уединенного домика на Васильевском», даются по академическому изданию с указанием тома.

Раздел II

Содержание

ВАРИАЦИИ

1. «БЕСКОНЕЧНЫЙ ЛАБИРИНТ СЦЕПЛЕНИЙ»: СЕМАНТИКА ТЕКСТА КАК МНОГОМЕРНАЯ СТРУКТУРА

Творческое наследие Юрия Михайловича Лотмана — это прежде всего семиотика, культурология, литературоведение. Вместе с тем практически во всех статьях он в той или иной форме затрагивает лингвистическую проблематику. Что касается собственно лингвистики, то здесь необходимо упомянуть его опубликованную в «Вопросах языкознания» статью «О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры» [Лотман 1963]. Сам факт ее публикации в тот период, когда для теоретических работ Юрия Михайловича были практически закрыты иные центральные издания, был прорывом, сделавшим возможным последующие публикации и в значительной степени стимулировавшим развитие структурной лингвистической поэтики (в особенности «поэтики слова» — школы В. П. Григорьева). Однако и в этой статье Ю. М. Лотман не «посягает» на обсуждение собственно лингвистических проблем, хотя, безусловно, его подход к описанию значения во многом опережал лексикологические представления того времени. Насколько я могу судить, Ю. М. Лотман, прекрасно владея лингвистической проблематикой, тем не менее не считал себя лингвистом, хотя среди его друзей и соавторов были выдающиеся лингвисты, с которыми он мог на равных вести профессиональный разговор. Но сама лингвистика скорее была для него методом и эталоном точности для гуманитарных наук¹. При-

¹ Ср.: «Литературовед нового типа — это исследователь, которому необходимо соединить широкое владение самостоятельно добытым эмпириче-

веду показательный эпизод — когда в 1976 г. я был на стажировке у Юрия Михайловича, то его совет был — как можно меньше читать книг по теории культуры и семиотике и как можно больше изучать источники. Что же касается теории и методологии, то, по словам Ю. М. Лотмана, в этой области хороших книг не так уж и много — это всего около десяти — пятнадцати фундаментальных книг по лингвистике². (Нетрудно заметить, то сам Юрий Михайлович этому подходу не следовал — по его работам очевидно, что он прочел куда больше, чем десять — пятнадцать книг.) Ю. М. Лотман и не претендовал на собственно лингвистические изыскания, в лингвистике своего времени ценя скорее точность и строгость, нежели «завиральные идеи», и крайне критически относясь к разговорам об «ограниченности и недостаточности» структурализма. Тем не менее в своих работах, прежде всего в исследованиях по семиосфере и «самовозрастанию смысла» в процессе коммуникации, он наметил те вопросы, которые стали актуальными для лингвистики следующего поколения. В частности, одним из таких ключевых элементов новой семиотической (и тем самым и лингвистической) теории может служить понятие текста как генератора смыслов. Поэтическая семантика стала основой для нового подхода к тексту, и теория текста в данном случае строилась не на

ским материалом с навыками дедуктивного мышления, вырабатываемого точными науками. Он должен быть лингвистом (поскольку в настоящее время языкознание “вырвалось вперед” среди гуманитарных наук и именно здесь зачастую вырабатываются методы общенаучного характера), владеть навыками работы с другими моделирующими системами <...> Он должен приучить себя к сотрудничеству с математикой, а в идеале — совместить в себе литературоведа, лингвиста и математика» [Лотман 1967б: 100].

²Как правило, теоретические положения Юрий Михайлович подкреплял емкими метафорами. Занятия культурологией он сравнил с тем, что некто придет в ресторан и вместо вкусной еды начнет есть... меню. Меню, конечно, нужно, чтобы выбрать, что именно есть. Без него посетителю придется опробовать все что имеется, пока он не поймет, что ему хочется. «Меню» — это метод, и его даст общее языкознание. А что касается «еды» — это тексты и факты той или иной культуры. Поэтому вместо культурологии были выбраны трагедии Сумарокова: изучение сюжета виделось как моделирование поведения (доклад по настоянию Лотмана был зачитан на годичной сессии кафедры в декабре 1976 г., опубликован в [Золян 1981б]).

«минимуме условий», а на их «максимуме» (как предлагал в свое время Ю. Н. Тынянов), — именно «минимальные условия» следует рассматривать как частный (если не вырожденный) случай. Рассматривая функционирование текста в социокультурном контексте — и это на тот момент значительно опережало лингвистику текста, — Ю. М. Лотман выделял прежде всего его надъязыковую семантику. Поэтому в своих ранних статьях о тексте он даже считал нужным отграничить текст как феномен культуры от феномена лингвистического (см.: [Лотман 1963], а также с. 24 наст. изд.) хотя достаточно быстро отказался от этого — признав и за лингвистическим пониманием текста пусть и меньшую, но принципиальную множественность кодирующих механизмов, как минимум — двух [Лотман 1981a: 4].

Вместе с тем заметим, что предлагаемый нами подход не есть иллюстрация (или формализация) предложенной Ю. М. Лотманом и рассмотренной нами ранее его теории текста. Идеи Ю. М. Лотмана послужили для нас скорее ориентиром для формулирования такой общей лингвистической теории, в которой текст рассматривается как **мультисемантический объект** (см. специально посвященный этой теме пункт 6, с. 36–46). Предлагаемая формализация с использованием аппарата модальной семантики служит для экспликации основных положений подобной теории текста и их последующего развития и расширения.

Говоря о необходимости основываться на лингвистической теории текста, напомним: неоднократно обращаясь к понятию текста, Ю. М. Лотман неизменно подчеркивал его динамическую природу, его смыслопорождающий потенциал и семиотическую разнородность / поливалентность. Неограниченная семиотическая разнородность текста мыслилась Ю. М. Лотманом как всякий раз достигаемое динамическое равновесие между различными текст-структурами: «Текст есть момент равновесия между тенденцией функционального распада его на два или несколько текстов и полной унификации как внутренне однородного» [Лотман 1982: 4].

Не отказывая в значимости экстра- и интертекстуальным факторам, мы предложили такую формализацию понятия текста и его семантики, которая моделировала бы его семиотическую (семантическую) многозначность и разнородность. В данном случае

мы затронем только один, но наиболее существенный для функционирования текста аспект — множественность его интенциональной и экстенциональной (референциальной) семантики. Тем самым мы применяем к тексту ключевое для семантики разграничение между смыслом и значением, а также между семантикой предложения (пропозициональным значением вне контекста) и высказыванием (контекстно зависимой референцией). Говоря о семантике текста, следует учитывать ее принципиальное отличие от семантики других единиц языка, что делает неверным рассматривать его только как определенным образом упорядоченную композицию предложений. Во-первых, в отличие от высказывания, текст не имеет фиксированной прагматической семантики — привязанности к определенному коммуникативному контексту: в принципе возможен любой, и ни один не является необходимым. Во-вторых, как еще в 1968 г. было замечено Ю. М. Лотманом и А. М. Пятигорским, это отсутствие у текста истинностного значения — по крайней мере в том понимании, которое, начиная с Фреге, прилагается к предложению, — и в то же время восприятие текста как прагматической семантики (необходимо?) истинного [Лотман, Пятигорский 1968: 77–78]. В-третьих, как уже было сказано, это многозначность, принципиально отличная от многозначности предложения / высказывания: она определяется не возможностью различных интерпретаций, а ситуацией, когда, вновь вспоминая Ю. М. Лотмана, сам текст выступает как «генератор смыслов». При этом текст подлежит семантизации, предполагающей соотнесение с областями референции (относительно текста правомочен вопрос — «о чем этот текст»). Это предполагает описание текста как бинарного отношения (функции, механизма соотнесения), соотносящего множество возможных миров с множеством возможных контекстов, причем таких миров и контекстов, при которых значение составляющих текст высказываний будет принимать значение «истинно». Тем самым текст выступает как своеобразный аналог понятия модели в логике (см. ниже).

Это позволяет уточнить приведенный тезис Лотмана — Пятигорского: текст, понимаемый как смыслопорождающий механизм, не может быть истинным или ложным, другое дело, что порождаемые этим механизмом бинарные формулы («текст» \Leftrightarrow «мир —

контекст») по определению принимают значения «истинно». Здесь необходимо ввести разграничение между смыслом текста — это и есть генератор, или схема создания новых смысловых структур — и тем, что порождает этот генератор: это возможные значения текста, такие области референции, при которых текст, соотносясь с определенными контекстами, принимает значение «истинно». Как область референции (интерпретации), задается не один мир, а их система — отражающиеся друг в друге и искажающие друг друга зеркала³, и описанием такой реальности оказывается не одно из них, а именно их совокупность, то есть система, в логике и лингвистике называемая модальной семантикой, или семантикой возможных миров. Тем самым текст предстает как такая языковая структура, которая сама по себе не имеет ни фиксированной референции, ни фиксированного контекста, но которая в то же самое время задает такое отношение между возможными контекстами и областями референции (мирами), при котором текст не может принимать значение «быть ложным». Это значит, что определяемые данным текстом различные возможные миры и контексты соотносимы между собой таким образом, чтобы определенному множеству миров соответствовали только такие контексты, в которых текст и составляющие его языковые единицы осмысленны и не являются ложными (они могут быть не только истинными, но и возможно истинными или же неопределенными). В противном случае, следуя подходу Лотмана — Пятигорского, эта языковая структура перестает функционировать как текст, становясь набором предложений. Формализацией подобного понимания семантики текста могут послужить выработанные в модальной логике понятия модельной структуры и модели С. Крипке, посредством которой языковым выражениям приписываются значения, принимаемые ими в различных областях интерпретации (возможных

³ В качестве метафорической характеристики подобной ситуации уместно воспроизвести эпиграф, который Вячеслав Иванов предпослал своей программной книге «Cor Ardens»: *Immutata dolo speculi recreatur imago adversis speculis integram ad effigiem* (Неизменно предмет, обманно отраженный в зеркале, вновь обретает свой подлинный образ отражением в (тому зеркалу) противопоставленных зеркалах).

мирах), или моделях. При этом существенно, что между этими мирами существуют различные отношения достижимости, задаваемые т. н. модельной структурой. При этом одному и тому же тексту могут быть приписаны различные модельные структуры, соответствующие его различным пониманиям.

В общем виде сказанное можно представить следующим образом. Разграничим собственно языковые выражения $\langle e_1 \dots e_n \rangle$, смыслы этих выражений $\langle \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle$ и выражаемые языковыми выражениями пропозиции $\langle E_1 \dots E_n \rangle$. Пропозиция E_m понимается как результат соответствующего осмысления (φ_m данного выражения e_m : $(\varphi_m e_m \rightarrow E_m)$). Соответственно, под семантикой (означаемым) текста мы понимаем не конъюнкцию этих пропозиций, а межмировые отношения, имеющие место между выражаемыми предложениями текста пропозициями $\langle E_1 \dots E_n \rangle$, под означающим — языковые средства установления межмировых соответствий [Золян 1991: 50–66]. При таком понимании смысл текста можно представить как упорядоченную текстовыми операторами-отношениями $\langle t_1 \dots t_n \rangle$ структуру смыслов $\langle \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle$. Под текстовыми операторами мы понимаем всевозможные формы связи между предложениями и ситуациями, что в то же время есть различные отношения достижимости между мирами⁴. Это могут быть логические и квазилогические — «и»; «если...то», ... или же их нарративные корреляты — «вследствие», «по причине»...; собственно нарративные: «до того... после того», «в это же время»; модальные (рассказ в рассказе, намерение, желаемое, долженствующее и т. д.). Их можно

⁴ Заметим, что в свое время Т. ван Дейк предложил рассматривать связность (*local coherence*) между предложениями текста как результат референциальной соотнесенности между фактами в некотором возможном мире, то есть как *внутримировое* отношение [Dijk 1977]. В нашем понимании, поскольку мы исходим из более принятого представления о предложении как о *множестве* возможных миров, связность рассматривается как *межмировое* отношение. Соответственно, нами используется понятие модели как описания системы межмировых отношений — как то принято в семантике возможных миров. Во избежание недоразумений заметим, что в дальнейшем ван Дейк заменяет логико-семантическое понятие «референциального отношения между фактами в некотором возможном мире» на понятие «ментальных моделей» [Dijk, Kintch 1978; Dijk 2004], не имеющих ничего общего с используемыми нами моделями в смысле С. Крипке.

свести к сугубо синтаксическим — дав список возможных связей и связей между предложениями или внутри сложных предложений. Вероятно, однако, что не все из этих операторов могут быть сведены к синтаксическим: это, помимо модальных, такие типы связей, как ассоциативные, метафорические, тезаурусные и т. д. Заметим, что для совмещения с традиционными процедурами обработки текста можно задать также и отношения линейаризации, тем самым уточнив, в каком линейном порядке будут располагаться описания тех или иных межмировых отношений: так, различные временные миры могут допускать как синхронную («репортаж»), так и ретроспективную и проспективную линейаризацию, эти отношения могут сочетаться с причинно-следственными или ассоциативными и т. д.

Смысл текста T_{sense} есть результат текстовых операций над языковыми смыслами, что можно представить как результат операции соединения (конкатенации, проекции, отображения) последовательности текстовых операторов $\langle t_1 \dots t_n \rangle$ и структуры смыслов $\langle \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle$. Эта операция X приводит к некоторой структуре, «смыслу текста»:

$$\langle t_1 \dots t_n \rangle X \langle \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle \rightarrow T_{\text{sense}} \langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle,$$

или, что то же самое,

$$T_{\text{sense}} \langle E_1 \dots E_n \rangle, \rightarrow \langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle,$$

где T_{sense} — обобщенное представление текстовых операторов $\langle t_1 \dots t_n \rangle$, а E^* — результат преобразования текстовыми операторами смыслов предложений текста E , или пропозиции, получаемые в результате сочетания текстовых операторов и смыслов языковых выражений:

$t_1 \langle \varphi_1(e_1) \rangle \rightarrow E^*_1$ (или, в сокращенном виде: $t_1 \langle E_1 \rangle \rightarrow E^*_1$, поскольку $\langle \varphi_1(e_1) \rangle \rightarrow E_1$) — это можно понимать как преобразование языкового смысла в текстуальный, причем они в частных случаях могут и совпадать.

Как видим, при таком понимании T_{sense} смысл текста будет однозначно соответствовать формирующей его структуре $\langle t_1 \dots t_n \rangle$. Однако между ними существует следующее различие. И $\langle t_1 \dots t_n \rangle$,

и T_{sense} требует области определения (спецификации) применительно к некоторой последовательности языковых смыслов $\langle \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle$. Но при этом $\langle t_1 \dots t_n \rangle$ хоть и может быть манифестирована только посредством некоторого текста, однако может быть рассмотрена и автономно — как абстрактная структура текста, как характеризующая некоторый речевой жанр макроструктура (по ван Дейку) или — классический пример — как описывающий структуру волшебной сказки набор функций (по В. Я. Проппу). Она существует и вне области определения — как потенциальная схема организации текста, тогда как смысл T_{sense} возникает и существует только в комбинации с языковыми смыслами $\langle \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle$, которые, в результате наложения множества текстовых операторов на множество языковых смыслов, преобразуются в текстуальные⁵. Одна и та же текст-структура $\langle t_1 \dots t_n \rangle$ может быть приложима к различным языковым смыслам, преобразуя их в текстуальные смыслы, тогда как T_{sense} — уникален, поскольку неотделим от области его определения — множества языковых выражений и их смыслов, образующих некоторый конкретный текст (T_{ext} , или упорядоченное множество языковых выражений $\langle \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle$). Без заданной структуры текстовых операторов эти же языковые выражения перестанут быть упорядоченными и станут случайным набором предложений (то есть перестанут быть текстом). Можно вообразить и противоположный случай: на случайный набор предложений накладывается некоторая структура текстовых операторов, и этот набор предложений начинает функционировать как текст (ср. опыт толкования сновидений, заумь и т. п. случаи). Впрочем, как правило, новая структура операторов накладывается не на случайный набор предложений, а на уже имеющийся («недостаточно правильно или же неправильно понятый») текст. При изменении набора текстовых операторов также будет изме-

⁵ Ср.: «Ведь в отличие от грамоты музыкальной, от нотного письма, например, поэтическое письмо зияет отсутствием множества знаков, значков, указателей, подразумеваемых, делающих текст понятным и закономерным. Но все эти пропущенные знаки не менее точны, нежели нотные или иероглифы танца; поэтически грамотный читатель расставляет их от себя, как бы извлекающая их из самого текста» ([Мандельштам 1928]; цит. по: [Мандельштам 1987б: 46]). Безусловно, это верно не только относительно «поэтического» письма.

няться и смысл текста T_{sense} — что можно трактовать как изменение правил прочтения (стратегии восприятия) выражений текста. Видимо, $\langle t_1 \dots t_n \rangle$ можно трактовать не только как правила организации (порождения) текста, но и как его интерпретации — набор текстовых операторов $\langle t_1 \dots t_n \rangle$ будет налагаться не только на уже имеющееся множество языковых выражений и их смыслов (T_{ext}), но и на некоторый уже получивший определенное осмысление текст (T_{sense}). То есть на структуру $\{\langle t_1 \dots t_n \rangle X < \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle\}$ может налагаться некоторый иной набор операторов $\langle t''_1 \dots t''_n \rangle$, что приводит к образованию нового смысла текста (T''_{sense}), который не отменяет предыдущий смысл, а является его «углублением», «усилением», «постижением», «деконструкцией» и т. д.:

$$\langle t''_1 \dots t''_n \rangle X (\langle t_1 \dots t_n \rangle X < \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle) \rightarrow$$

$$T_{\text{sense}} \langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle \rightarrow$$

$$T''_{\text{sense}} (\langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle \rightarrow \langle E''_1 \dots E''_n \rangle)$$

В общем виде это предоставляет возможность герменевтического подхода к формальной семантике текста: процедуры анализа и описания могут быть ориентированы не на выявление некоторой зафиксированной данной процедурой структуры смысла, а всякий раз приводить к ее расширению. Новый набор операторов, налагаемый на уже семантизированный текст (T_{sense}), приводит к появлению структуры:

$$\{\langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle \rightarrow \langle E''_1 \dots E''_n \rangle\},$$

то есть отображению исходного множества текстуальных пропозиций на новообразованное. Это интерпретация второго уровня, для которой первичная интерпретация $\langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle$ служит означающим, точно так же, как языковые смыслы $\langle \varphi_1 \dots \varphi_n \rangle$ (нулевая интерпретация) служили означающим для интерпретации первого уровня (вспомним в данной связи механизмы коннотации по Ельмслеву или же выработанной Московско-гартуской семиотической школой понятие вторичных моделирующих систем). В качестве примера таких разработанных практик наложения новых правил прочтения на уже полученную интерпретацию можно привести процедуру герменевтического круга, средневековую хри-

стианскую теорию выделения четырех смыслов, суфийскую традицию, различные версии теории интертекстуальности, теорию Леви-Строса о прочтении мифа посредством различных семантических кодов, процедуры деконструкции, теорию метанарратива в философии истории и т. д. Предлагаемый подход показывает, как возможно применить к семантике текста принятое разграничение между смыслом и значением: понимая под смыслом функцию соотнесения языкового выражения с некоторым объектом. Содержательно это можно понимать как описание того, каким образом от смысловой интерпретации выражений текста, при которой с выражениями соотносятся смысловые структуры, мы переходим к их предметной (объектной) интерпретации — соотнося смыслы с объектами-мирами. Поскольку предлагаемое решение основывается на идее межмировой достижимости, то было естественным обратиться к ее ставшему классикой источнику — понятиям модельной структуры и модели Сола Крипке. Чтобы не связывать себя какими-либо дополнительными условиями, в качестве области определения (интерпретации) смысла текста введем некоторый неупорядоченный универсум миров V . Из этого универсума смысл текста $T_{\text{sense}} \langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle$ выделяет некоторое множество совместимых между собой (достижимых друг из друга) миров текста.

Значение текста задается функцией:

$$V \xrightarrow{T_{\text{sense}}} T_{\text{meaning}}; \text{ или, в развернутой форме:}$$

$$T_{\text{sense}}; \langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle; V \rightarrow T_{\text{meaning}}; \{W_0; \{W\}; R\},$$

где $\{\{W_0; \{W\}; R\}\}$ есть модельная структура по С. Крипке [Крипке 1981]⁶: $\{W\}$ — некоторое множество возможных миров (в дан-

⁶ Приведем полное определение:

Для формулировки семантики модальной логики мы вводим понятие (нормальной) *модельной структуры*. Модельная структура есть упорядоченная тройка элементов (G, K, R) , в которой K есть некоторое множество, R — рефлексивное отношение на K , $G \subseteq K$. Интуитивно это можно понимать следующим образом: K есть множество всех «возможных миров», G представляет «реальный мир». Если $H1$ и $H2$ являются двумя мирами, то $H1 R H2$ интуитивно означает, что $H1$ возможен относительно $H2$, и каждое

ном случае это множество можно интерпретировать как множество всех миров, соответствующих предложениям данного текста), W_0 — входящий в это множество некоторый отмеченный мир⁷, и R — заданное на множестве отношение достижимости. Содержательно это означает, что из некоторого универсума возможных миров выбирается некоторый «отмеченный» мир (мир текста?) и множество достижимых из него миров. Смысл текста есть функция, которая, сопоставляясь с предметной областью — неупорядоченным множеством миров (универсумом), выделяет в этом универсуме $\{V\}$ некоторую структуру миров или модельную структуру. Модельная структура — это множество связанных некоторыми отношениями достижимости миров, или — что то же самое — некоторый мир и заданные на нем отношения перехода к другим мирам. Обе содержательные интерпретации приведенной функции соответствуют принятому нами определению текста как такого семиотического объекта, означаемым которого являются межмировые отношения, имеющие место между выражаемыми предложениями текста пропозициями, а означающим — языковые средства установления этих межмировых соответствий.

Введя модельную структуру S . Крипке, нам следует использовать и неотделимое от нее понятие модели⁸ — т. е. заданной на

суждение, истинное в H_1 , возможно в H_2 . При этом становится ясным, что отношение R должно быть рефлексивным; каждый мир H возможен относительно самого себя, так как каждое суждение, *истинное в H* , а fortiori *возможно в H* . Таким образом, требование рефлексивности для R является интуитивно-естественным. Мы можем наложить на R дополнительные требования, соответствующие различным «аксиомам редукции» модальной логики: если R транзитивно, мы называем (G, K, R) S_4 -модельной структурой, если симметрично, (G, K, R) является *Брауэровой* модельной структурой, если R является отношением эквивалентности, мы называем (G, K, R) S_5 -модельной структурой... [Крипке 1981: 28–29].

⁷ Сам Крипке употребляет термин «реальный» — используя кавычки, что, вероятно, верно для большинства текстов. Однако далеко не для всех — и не только художественных, но и для юридических, политических и др., и поэтому мы предпочитаем менее обязывающий термин — не «реальный», а «отмеченный» по тем или иным причинам мир.

⁸ «Для полноты картины нам нужно понятие *модели*. Если дана некоторая модельная структура (G, K, R) , то *модель* приписывает каждой атомарной

модельной структуре бинарной функции $f(E, W)$, где E — пропозиция (смысл предложения), W — мир из множества $\{W\}$, а областью значения функции будет истинностное значение $\{T, F\}$ данной пропозиции в рассматриваемом мире. Тем самым данная пропозиция E из множества описывающих некоторый мир пропозиций $\langle E_1 \dots E_n \rangle$ выделит то входящее во множество возможных миров $\{W_1 \dots W_n\}$ подмножество $\{W_x\}$, в которых имеет место соответствующее E состояние дел, или — в каких мирах соответствующие некоторому отдельно взятому предложению пропозиции имеют место, в каких — нет. Содержательно это может пониматься как некоторый способ определить относительно некоторой пропозиции, имеет ли место в тех или иных мирах текста или же не имеет соответствующее положение дел. В наших терминах, поскольку мы исходим из языковых выражений, это то множество миров, относительно которых соответствующее рассматриваемому выражению предложение осмысленно и определены условия его истинности. Тем самым пропозиция оценивается не относительно универсума миров, как это происходит в случае изолированного предложения, а внутри уже определенной модельной структуры, то есть тех миров, которые входят в множество $\{W\}$ и, согласно вышеприведенному определению, которые составляют значение текста. То или иное понимание текста (или та или иная интерпретация текста) предстанет как содержательный аспект того, что формально может быть описано как конструирование той или иной модельной структуры, которая позволяет оценить, какие соответствующие тем или иным отдельным предложениям миры и в каком отношении совместимы между собой и какие — не совместимы. Тем самым возможно описать, какие состояния дел (возможные миры) возможны относительно данного текста. Например, в каком отношении миры последующих предложений достижимы из миров предыдущих.

формуле (пропозициональной переменной) P истинностное значение T или F в каждом мире H — K . Говоря формально, модель f на модельной структуре (G, K, R) есть бинарная функция f , где P пробегает по атомарным формулам, H — по элементам K , а областью значений этой функции является множество $\{T, F\}$ » [Крипке 1981: 28–29].

Введение понятия модели хотя в некотором отношении частично и дублирует описанные ранее понятия смысла и значения, тем не менее не является излишним, поскольку позволяет прояснить, как связаны между собой понятия модельной структуры текста, с одной стороны, и его семантики (смысла и значения) — с другой. Смысл текста мы рассматривали как некоторую функцию соотнесения между пропозициями текста и некоторым упорядоченным множеством возможных миров — модельной структурой:

$$T_{\text{sense}}; \langle E^*_1 \dots E^*_n \rangle; V \rightarrow T_{\text{meaning}}; \{W_0; \{W\}; R\}.$$

Понятие модели $f(E, W)$ формализует то же отношение, но в обратном направлении: ее можно представить как обратную функцию от смысла текста (множества пропозиций) и множества миров к значению отдельной пропозиции в том или ином отдельно рассматриваемом мире. Смысл текста формируется из отдельных пропозиций и приводит к модельной структуре, задающей отношения между этими пропозициями. Напротив, модель приписывает истинностное значение отдельной пропозиции в том или ином из миров, притом не в любом мире из универсума $\{V\}$, а лишь в мирах модельной структуры, которая сформирована семантикой текста. Областью определения (интерпретации) модели (функции приписывания истинностного значения) явится то, что мы определили как значение текста (это и есть модельная структура: $T_{\text{meaning}}; \{W_0; \{W\}; R\}$). Иными словами, модельная структура задает отношение между мирами, а модель приписывает истинностное значение отдельной пропозиции в том или ином мире из этого множества миров. Модельная структура есть множество некоторым образом соотнесенных между собой пропозиций, а модель есть функция, определяющая истинность или ложность отдельной пропозиции в мирах модельной структуры. Тем самым эксплицируется то фундаментальное положение, что сам текст не имеет истинностного значения, но его семантика есть функция (процедура, набор операций, условия истинности), позволяющая установить относительно каждого предложения его истинностное значение. Само по себе значение текста не истинно и не ложно, это модельная структура, в которой посредством модели можно установить истинность или ложность отдельных пропозиций в тех

или иных соотнесенных между собой посредством заданных модальных отношений мирах (мирах модельной структуры). Например, сама трагедия «Гамлет» не является истинной или ложной, но составляющие ее пропозиции могут иметь истинностное значение в различных связанных отношением достижимости возможных мирах. Например, пропозиция «Гамлет убил на дуэли Лаэрта» имеет место не только в мире трагедии, но также и в актуальном мире, хотя бы в том тривиальном смысле, что трагедия «Гамлет» — часть актуального мира, в котором Шекспир вообразил и описал некоторый мир, и в этом мире, также достижимом из актуального мира, имеет место, что Гамлет убил на дуэли Лаэрта. Тем самым эта пропозиция должна быть оценена ни как ложная (в том тривиальном смысле, что в реальной истории мы не имеем этому никаких подтверждений) и ни как не подлежащая подобному оцениванию (как это предполагал Фреге⁹) — она истинна в достижимом из актуального возможном мире, что также является тривиальным отношением, поскольку описывается языковыми выражениями самой трагедии «Гамлет». И если у кого-либо, кто принадлежит к европейской культуре и тем самым знаком с трагедией, спросить: «Правда ли, что Гамлет убил Лаэрта на дуэли» — ответ будет «Да». «Гамлет» — это один из миров, составляющих наш актуальный мир, и знание о нем является обязательным, составляя часть знаний читателя об актуальном мире, а не только о литературных мирах. Все, что истинно в актуальном мире, истинно и в мире романа. Но это отношение несимметрично — почему и не все, что истинно в романе, истинно в актуальном мире. Какие именно из пропозиций романа или следствия из них мы будем считать истинными и какие нет («какие чувства и мысли они у нас возбуж-

⁹ «Почему же мы хотим, чтобы каждое имя собственное имело не только смысл, но и значение? Почему нам недостаточно мысли? Потому что лишь потому, что нас интересует ее истинностное значение. Правда, это случается далеко не всегда. Например, когда мы слушаем эпос, нас волнуют, наряду с красотой языка, только смысл предложений и вызываемые ими представления и чувства. Вопрос об истинности этих предложений увел бы нас из сферы художественного восприятия в сферу научных исследований. Вот почему нам безразлично, имеет ли, например, имя “Одиссей” денотат или нет» [Фреге 1977: 190].

дают» — Б. Рассел) — это и есть часть реальности, даже если и вслед за Б. Расселом отрицать реальность литературных миров¹⁰.

Тем самым для описания референции текста в целом, для его, говоря словами Лотмана, «сцепления с реальностью» (см. выше, с. 39–42) модельная структура оказывается адекватным инструментом описания его соотнесенности с некоторой системой возможных миров, а производное из него понятие модели будет описывать возможные отношения отдельных сегментов текста применительно к тем или иным мирам из этой структуры. Тем самым можно формализовать взятое нами как основу для определения текста идею Лотмана — Пятигорского: на множестве возможных миров и множестве сегментов, это будут только те миры и те сегменты, применительно к которым модель будет принимать значение «истинно». Если такой найти не удастся, то данная композиция предложений перестает функционировать как текст¹¹. Очевидно, что для семантизации различных фрагментов текста будут предлагаться различные модели (миры-контексты). Например, описание реалий Российской империи второй половины

¹⁰ «...утверждать, что существование Гамлета в некотором мире, скажем в воображении Шекспира, столь же реально, как существование Наполеона в обыкновенном мире, — значит, намеренно вводить в заблуждение других или же самому впасть в неслыханное заблуждение. Существует только один мир — мир “реальности”: фантазии Шекспира являются составной частью этого мира, и те мысли, которые были у него в то время, когда он сочинял “Гамлета”, вполне реальны. Столь же реальны и мысли, возникающие у нас при чтении пьесы. Специфика художественной литературы в том и состоит, что только мысли, чувства и т. п. Шекспира и его читателей реальны; к ним не может быть добавлен “объективный” Гамлет. Реальный Наполеон не сводится к эмоциям, возбужденным им у авторов исторических произведений и у их читателей, но Гамлет исчерпывается этими мыслями и эмоциями» [Рассел 1982: 43–44].

¹¹ Напомним: «Обычное языковое сообщение, удовлетворяющее всем правилам лексико-грамматической отмеченности, “правильное” в языковом отношении и не заключающее ничего, противоречащего возможному по содержанию, может, тем не менее, оказаться ложью. Эта возможность для текста исключается. Ложный текст — такое же противоречие в терминах, как ложная клятва, молитва, лживый закон. Это не текст, а разрушение текста» [Лотман, Пятигорский 1968: 78].

XIX в. и описание взаимоотношений четы Карениных потребует различных механизмов интерпретации и истинностной оценки, то есть различных моделей, но осуществляемых внутри единой модельной структуры, поскольку применительно к роману эти миры являются достижимыми (условно говоря, мир Карениных возможен относительно мира Петербурга XIX в., а этот мир Петербурга выступает как актуальный как для читателей в «нашем» мире, так и для Карениных в «их» возможном мире).

Приведенное понятие модели для определения истинностного значения текста позволяет еще раз подтвердить тот тезис, что семантика текста не есть конъюнкция (или какая-либо иная логическая форма) предложений (пропозиций), аналогичная сложному предложению. Столь же неверным было бы свести семантику текста к некоторой макропропозиции и оценивать ее истинностное значение. И то и другое есть экстраполяция процедуры, предложенной Г. Фреге для оценки истинностного значения сложных предложений исходя из оценки составляющих ее простых предложений (принцип композиционности). Однако, как было показано выше, неверно подходить к тексту как к «очень сложному предложению». Оказываются адекватнее понятия модели и модельной структуры, поскольку значением (истинностным значением) явится не однозначное «да» — «нет», а функция, то есть процедура соотнесения пропозиций и миров в рамках той модельной структуры, которую формирует сам текст, и в соотнесенности с теми контекстами, в которых он актуализируется. Ведь хотя сама модельная структура не может иметь истинностного значения, но она предполагает наличие подобного значения относительно формирующих ее пропозиций. Поэтому требуется описать не только отношение между мирами, но и состояния дел в этих мирах, т. е. от общей картины (текста как системы межмировых соотношений) требуется вновь вернуться к сегментам — к описывающим миры текста предложениям, и тем самым выделить те или иные модели в соответствии с модельной структурой. Так, если мы рассматриваем мир романа «Анна Каренина» как возможный относительно актуального мира, то каждое высказывание, истинное в мире романа (или о мире романа), возможно истинно в актуальном мире. Но вполне мотивированно и наше желание уточнить — какие из этих возможно

истинных предложений не только возможно истинны, но и истинны в нашем актуальном мире. По крайней мере, все те предложения, которые описывают Москву и Санкт-Петербург того времени, истинны и в мире романа, и в мирах российской истории. Одновременно истинны в обоих мирах будут и те пропозиции, которые Джон Серль назвал «серьезными речевыми актами» («серьезными высказываниями»), выводимыми из несерьезных («имитирующих») речевых актов «высказываний»¹². Более того, сам роман есть модельная структура, которая предполагает и множество других межмировых отношений, кроме как наиболее очевидное отношение «мир текста — актуальный мир». Дж. Серль сформулировал пусть и верное, но лишь самое поверхностное семантическое отношение. Примечательно, что сам Лев Толстой, как бы откликаясь на подобные представления, предложил оставить поверхностные импликации «фельетонистам» и, как нам кажется, под семантикой романа «Анна Каренина» понимал нечто близкое к понятию

¹² «Иногда автор художественного повествования вставляет в повествование высказывания, которые не основаны на вымысле и не являются частью повествования. Возьмем самый известный пример: Толстой начинает “Анну Каренину” предложением: “Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему”. Это, я считаю, не основанное на вымысле, а сделанное всерьез высказывание. Это подлинное утверждение. Оно является составной частью романа, но не принимает участия в художественном повествовании. ...Осуществляемые всерьез (то есть нехудожественные) речевые акты могут быть переданы посредством художественных текстов, даже если передаваемый речевой акт не представлен в тексте. Почти любое значительное художественное произведение передает “сообщение” или “сообщения”, передаваемые *посредством* текста, но не присутствующие в *самом* тексте. Только в детских рассказах, содержащих заключительное “Мораль этой истории такова...”, или у таких утомительно дидактических авторов, как Толстой, мы получаем эксплицитное представление осуществленных всерьез речевых актов, передать которые является целью (или главной целью) художественного текста. Литературные критики объясняют, исходя из возникших *ad hoc* и связанных исключительно с данным произведением соображений, каким образом автор передает серьезный речевой акт при помощи притворных речевых актов, составляющих художественное произведение, но пока еще нет общей теории механизмов, посредством которых подобные серьезные иллокутивные намерения передаются притворными иллокуциями» [Серль 1999: 46–47].

модельной структуры. Эту идею Толстой выразил посредством прекрасной метафоры, предвосхищающей и Крипке, и Борхеса: «бесконечный лабиринт сцеплений»¹³. Как мы попытались представить выше, значение текста в высшей степени многозначно, и толстовская метафора подтверждает, что семантика романа не может быть сведена к какой-либо, пусть даже очень сложной, линейной структуре, а должна пониматься как бесконечное (или неограни-

¹³ Это, начиная с В. Шкловского, часто цитируемое, в том числе и Ю. М. Лотманом, сочетание стоит привести в контексте всего письма Толстого, чтобы увидеть, насколько связаны для него многозначность и вместе с тем предельная структурированность текста, не допускающая какой-либо иной формы выражения, кроме как сам роман:

Вы пишете: так ли вы понимаете мой роман, и что я думаю о ваших суждениях. Разумеется, так. Разумеется, мне невыразимо радостно ваше понимание; но не все обязаны понимать, как вы. Это я к тому говорю, что ваше суждение о моем романе верно, но не все — то есть все верно, но то, что вы высказали, выражает не все, что я хотел сказать. Например, вы говорите о двух сортах людей. Это я всегда чувствую — знаю, но этого я не имел в виду. Но когда вы говорите, я знаю, что это одна из правд, которую можно сказать. Если же бы я хотел сказать словами все то, что имел в виду выразить романом, то я должен бы был написать роман тот самый, который я написал, сначала. И если близорукие критики думают, что я хотел описывать только то, что мне нравится, как обедает Облонский и какие плечи у Карениной, то они ошибаются. Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собою, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором она находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя; а можно только посредственно — словами описывая образы, действия, положения... Так вот почему такая милая умница, как Григорьев, мало интересен для меня. Правда, что если бы не было совсем критики, то тогда бы Григорьев и вы, понимающие искусство, были бы излишни. Теперь же, правда, что когда $\frac{9}{10}$ всего печатного есть критика, то для критики искусства нужны люди, которые бы показывали бессмыслицу отыскивания мыслей в художественном произведении и постоянно руководили бы читателей в том бесконечном лабиринте сцеплений, в котором и состоит сущность искусства, и к тем законам, которые служат основанием этих сцеплений. И если критики теперь уже понимают и в фельетоне могут выразить то, что я хочу сказать, то я их поздравляю и смело могу уверить *qu'ils en savent plus long que moi* ('Что они знают об этом больше меня' (франц.). — С. 3.) [Толстой 1876: 784–785].

ченное) множество комбинаций возможных соотношений между различными множествами возможных миров — именно как «лабиринт» всех возможных «сцеплений» (или маршрутов межмировых «путешествий»). При таком подходе оказывается несущественен выбор того или иного мира в качестве «исходного» (какого-либо из миров, принимаемого нами за «отмеченный»), существенна именно соотношенность между мирами. Вместе с тем метафора лабиринта важна и тем, что содержит концепт «целостности» — все возможные сцепления не выходят за пределы некоторого структурированного пространства и не разрушают его¹⁴. Так мы подходим к тому, каким образом понятие модельной структуры может быть использованным также и при формализации того, что можно считать пониманием (интерпретацией) текста. Понять текст — приписать ему определенную модельную структуру (или в более традиционных терминах — выявить, эксплицировать эту структуру, считая что она уже заложена в тексте). При таком подходе одному и тому же тексту могут быть приписаны различные модельные структуры, соответствующие его различным пониманиям. Но при этом возможно очертить те пределы, в которых могут различаться различные понимания одного и того же текста, для чего сначала необходимо выделить множество миров и множество предложений, совместно истинных или ложных при всех интерпретациях. Так, введенное понятие модели может быть специфицировано как исходный *мир-модель* — это тот соответствующий некоторому предложению мир, при котором оно оценивается как истинное — при любом контексте и интерпретации, определенном для данного текста (это нечто вроде аналога понятия *выполнимости* в логической семантике). С одной стороны, мы в состоянии оценить при любых интерпретациях романа «Анна Каренина» истинностное значение таких предложений, как:

Анна Каренина покончила самоубийством;
Анна Каренина бросилась под поезд;
Анна Каренина застрелилась,

¹⁴ Ср.: «Художественное произведение рассматривается как единая целостная форма, как символ, смысловые разрешения которого трансфинитны, но замкнуты в строго очерченную сферу» [Виноградов 1930: 67].

которые есть описания некоторых фактов, содержащихся или отсутствующих в романе.

Также могут рассматриваться как миры-модели для данного текста такие описания, которые, хотя и не содержатся непосредственно в тексте, возникают в результате тривиальных перифраз выражений текста:

*Неверно, что Анна Каренина застрелилась;
Анна Каренина была несчастна в браке с Карениным, — и т. д.*

И те, и другие миры-модели определяют то множество миров, которые в той или иной форме будут репрезентированы при любой интерпретации данного текста. Это множество можно определить также как множество совместимых миров, которое описывается совместно истинными предложениями. Тем самым выполняется требование непротиворечивости для миров-моделей. Однако это вряд ли стоит считать обязательным условием в случае художественных текстов (так, тексту могут соответствовать множество не только возможных, но и «невозможных возможных миров» — см.: [Cresswell 1983]).

При этом это множество не будет полным. Так, ни в одном из миров не будет определенным то, четно или нечетно количество волос на голове Вронского, то есть мы не в состоянии определить их истинностного значения. Возможно, подобные перифразы-предложения в точном соответствии с теорией истинности следует считать бессмысленными: иллюзия того, что они обладают смыслом, обусловлена тем, что они обладают языковым смыслом и условия истинности определены применительно к языковым смыслам. Однако применительно к роману они в самом деле непонятны — мы не в состоянии предложить какую-либо процедуру, позволяющую вывести из текста подобную перифразу относительно четности или нечетности волос на голове Вронского. Более того, неясен сам смысл подобной процедуры — четность или нечетность будет единственным отличием между мирами этой модельной структуры, а во всем остальном миры, где это число четно, будут такими же, где это число будет нечетным, — стало быть, этот признак не влечет никаких значимых содержательных последствий. Точно так же не будут представлять интерес миры, ложные в любом из миров

модельной структуры, например: *Анна Каренина улетела в космос; Анна Каренина стала жертвой террористов*. Описывающие эти вышеупомянутые миры пропозиции либо тривиально истинны, либо тривиально ложны, либо бессмысленны.

При задании модельной структуры в подавляющем большинстве случаев может оказаться существенным определить — что представляет тот мир W_0 , относительно которого строится вся модельная структура и, опосредованным образом, модель. У С. Крипке — это «реальный» мир (хотя данное им определение допускает, что место W_0 может занять любой мир из множества $\{W\}$). Дальнейшие исследователи отказываются от такого «реализма» — почему мы и предпочитаем термин «исходный мир» или же, в силу разных причин, «отмеченный» мир, хотя, безусловно, если отвлечься от случаев поэтической семантики, текст, как правило, претендует на описание именно реального мира. В нашем случае, поскольку нас миры интересуют постольку, поскольку они рассматриваются как семантика текста, можно за отмеченный мир W_0 принять мир, конструируемый языковыми выражениями текста, — как результат некоторой семантизации текста. Это то, что можно назвать «миром текста», безотносительно к тому, описывает текст реальный мир или же воображаемый. Однако заметим, что и «реальный мир» конструируется через мир текста. Даже если это текст — историческая хроника или протокол о вчерашнем визите президента соседнего государства в нашу страну, он соотносится с актуальным миром только посредством семантики текста, то есть через модельную структуру, где конструируемый лингвистическими средствами мир текста соотнесен с входящим во множество достижимых из него миров, в том числе и с актуальным миром.

Понимание такого текста предполагает иногда имплицитную, а иногда и эксплицитно выраженную в самом тексте систему межмировых отношений. Так, могут реконструироваться темпоральные отношения межмировой достижимости (предшествующие / последующие состояния дел), причинно-следственные, деонтические, содержащие в том числе и оценку события, а также и миры контекста высказывания (где — когда — кем — сказано). Как правило, в качестве отмеченного («актуального») мира будет выступать мир-контекст адресата (при интерпретации) или автора

(при создании). Возможны различные типы совпадения или несоответствия между этими позициями, однако в общем случае можно принять следующее: автор предполагает, что для адекватного понимания отмеченный мир адресата должен совпадать с авторским миром-контекстом (принцип классической герменевтики).

Благодаря предложенной выше процедуре можно выделить миры, строго соответствующие тому или иному данному тексту, — это будет множество миров, описываемых пропозициями, истинных относительно любого из миров данного текста и выражающих их предложений. В принятых в лингвистике и литературоведении терминах — это скорее пересказ, нежели интерпретация текста. Это позволяет сузить вышеприведенное определение модели — она задано только относительно тех пропозиций E, которые задаются языковыми выражениями данного текста {“E”} или же их перифразами. Таковую модель можно считать тривиальной (буквальной) семантикой текста.

Для некоторых типов текста обязательным является то, что его семантика исчерпывается его тривиальной семантикой, при этом в ряде случаев совпадение семантики текста с семантикой естественно-языковой интерпретации составляющих его выражений может быть обязательным условием: это научный текст, полицейский протокол, международные договоры, относительно которых Венская конвенция 1969 г. специально описывает процедуры их толкования¹⁵, юридические и административные акты и т. п.

¹⁵ Ср.: **Раздел 3: Толкование договоров. Статья 31. Общее правило толкования.** 1. Договор должен толковаться добросовестно в соответствии с обычным значением, которое следует придать терминам договора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора. 2. Для целей толкования договора контекст охватывает, кроме текста, включая преамбулу и приложения: а) любое соглашение, относящееся к договору, которое было достигнуто между всеми участниками в связи с заключением договора; б) любой документ, составленный одним или несколькими участниками в связи с заключением договора и принятый другими участниками в качестве документа, относящегося к договору. 3. Наряду с контекстом учитываются: а) любое последующее соглашение между участниками относительно толкования договора или применения его положений; б) последующая практика применения договора, которая устанавливает соглашение участников относительно его толкования; в) любые соответствующие нормы международного права, применяемые

тексты, предполагающие однозначное понимание. Ввиду динамического характера смыслообразования закрепление тривиальной семантики является задачей нетривиальной — требуются особые процедуры фиксирования значения. Без этого различие в интерпретациях оказывается неизбежным. Так, текст, воспринимаемый автором как максимально ясный и однозначный («Трактат» Витгенштейна), породил и будет порождать неисчислимо множество толкований. Для теории текста характерно несовпадение между тривиальной семантикой текста и возможными осмыслениями (переосмыслениями). Это становится возможным благодаря такому свойству перифразирования, как: а) не все перифразы одного и того же предложения описывают одно и то же множество миров; в) не все перифразы предложений, описывающие одни и те же миры-модели, имеют одно и то же истинностное значение; и даже с) при перифразировании может измениться пропозициональная семантика (напомним известный пример, когда пропозициональная семантика может измениться уже при синонимическом грамматическом преобразовании: «*Каждый мужчина любит некую женщину*» значит совсем не то, что: «*Некая женщина любима каждым мужчиной*»).

Так, возможно возникновение новых множеств миров: это миры, не являющиеся мирами-моделями при тривиальной семантизации текста, но при этом выводимые из данного текста и входящие в соответствующую ему модельную структуру. Тем самым возможны пропозиции, которые истинны в некоторых, но не во всех мирах модельной структуры. Так, некоторые пропозиции-перифразы будут истинны при одном прочтении и, напротив, ложны при другом: например, *Анна Каренина — эгоистка*; равно

в отношениях между участниками. 4. Специальное значение придается термину в том случае, если установлено, что участники имели такое намерение. **Статья 32. Дополнительные средства толкования.** Возможно обращение к дополнительным средствам толкования, в том числе к подготовленным материалам и к обстоятельствам заключения договора, чтобы подтвердить значение, вытекающее из применения статьи 31, или определить значение, когда толкование в соответствии со статьей 31: а) оставляет значение двусмысленным или неясным или б) приводит к результатам, которые являются явно абсурдными или неразумными.

как и противоречащие ему: *Анна Каренина* — *альтруистка*. Оба эти мира достижимы из исходного мира, хотя они и взаимно несовместимы. Но и тот, и другой входят во множество возможных миров романа «Анна Каренина», поскольку, будучи результатом различных семантических операций, несмотря на взаимную несовместимость, тем не менее оба возможны относительно того мира, который мы назвали миром текста. Как было предусмотрено ранее, набор текстовых операторов $\langle t_1 \dots t_n \rangle$ можно трактовать не только как правила организации (порождения) текста, но и как его интерпретации — он может налагаться не только на уже имеющееся множество языковых выражений и их смыслов (T_{ext}), но и на который уже получивший определенное осмысление текст (T_{sense}), что создает дополнительные возможности для неограниченной метаязыковой или коннотативной семантизации. Например, историком летопись прочитывается с точки зрения соответствия текста историческим событиям, литературоведом — отражения в нем мифопоэтических архетипов, историком культуры — схем мировоззрения и поведения. (Например, описанное в исторических хрониках превращение армянского царя Трдата в вепря — абсолютно ложно, если критерием явится соответствие с реальным событием, и глубоко мотивировано (достижимо в смысле модальной семантики) при прочтении текста как литературного или агиографического памятника.)

Вместе с тем, как уже было сказано, вопрос того или иного понимания — это установление пределов множества интерпретаций текста. Это может быть осуществлено двумя способами. Первый связан с референцией, второй — с перифразированием. При первом подходе следует предусмотреть возможность описания того, как происходит расширение или сужение множества миров модельной структуры. При подобном описании модельную структуру целесообразно задавать не путем перечисления тех или иных интерпретаций, а посредством указания на предельные случаи — какие из миров оказываются вне модельной структуры, — то есть не будут приемлемой интерпретацией перифразированных языковых выражений текста. Во втором случае акцент переносится на правила перифразирования, и вопрос будет стоять так: до каких пределов перифраза может отдалиться от исходных языковых вы-

ражений текста, чтобы считаться неприемлемой. Безусловно, сводить границы возможного перифразирования только к лингвистическим факторам было бы неверным — так, здесь действуют и механизмы, которые можно назвать цензурой — некоторые лингвистически возможные перифразы отвергаются из-за их несоответствия нашему представлению о возможных толкованиях текста. Например, предлагаемое в свое время А. Крученых «сдвигологическое» прочтение пушкинского «*что в имени тебе моем*» как «*что вымени тебе моем*» — будучи фонетически безукоризненным, оно не будет считаться проявлением многозначности и, видимо, будет отвергнуто из-за его несоответствия нашему пониманию поэтики Пушкина. Точно так же останется курьезным примером то, как герой «Мелкого беса» Федора Сологуба предлагает толковать стихи Пушкина:

На иных уроках Передонов потешал гимназистов нелепыми толкованиями. Читал раз пушкинские стихи:

Встает заря во мгле холодной,
На нивах шум работ умолк,
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк.

— Пойдите, — сказал Передонов, — это надо хорошенько понять. Тут аллегория скрывается. Волки попарно ходят: волк с волчихою голодной. Волк — сытый, а она — голодная. Жена всегда после мужа должна есть. Жена во всем должна подчиняться мужу.

Мы исходим из того что наше представление о семантике пушкинского текста (и о Пушкине как авторе текста) не соответствует тем «следствиям», которые приписывает ему Передонов. Однако интерпретации Крученых и Передонова, пусть и не соответствуют нашим представлениям о поэтике Пушкина, остаются как зафиксированные факты русской культуры, указывая на те границы, далее которых возможные интерпретации отвергаются. Однако это характеристика именно культуры (и рецепции текстов Пушкина), а не самих текстов¹⁶.

¹⁶ Лев Выготский, рассматривая аналогичные произвольные толкования современных ему авторов, именно это приводил как эталон произвольно-

Итак, границы некоторой приписываемой тексту модельной структуры можно определить путем указания на то, какие пропозиции в данной модельной структуре окажутся либо неприемлемыми, либо бессмысленными — это и есть область, лежащая вне миров модельной структуры, и этим пропозициям не будет приписано истинностное значение. Однако такой путь интерпретации текста при теоретической респектабельности достаточно экзотичен — на практике обычно описываются миры, которые входят во множество миров модельной структуры. Ведь очевидно, что на вопросы: на каком основании из модельной структуры исключаются те или иные миры? каковы критерии внеположности и приемлемости / неприемлемости той или иной интерпретации / перифразы? — вряд ли можно найти универсальный ответ: здесь действует целый ряд разнородных факторов, и в лучшем случае можно будет описать общую зависимость приемлемости / неприемлемости тех или иных интерпретаций и перифраз от контекстуальных, интертекстуальных, когнитивных и лингвистических факторов. Поэтому продуктивнее представляется не накладывать заранее какие-либо ограничения и исходя из этого исключать какие-либо процедуры перифразирования или интерпретации, а, напротив, не ограничивать рассмотрение возможных процедур нетривиального перифразирования и, если это оказывается необходимым, фиксировать

сти и абсурдности: «Так изо всего можно вывести решительно все» [Выготский 1968]. Однако заметим, что при всей его абсурдности оно может иметь солидное (мета)лингвистическое обоснование; Передонов мог бы сослаться на Романа Якобсона относительно иконичности синтаксических категорий:

Субъект действия, обозначенного предикатом, воспринимается, в терминах Эдуарда Сепира, как «исходный пункт», «производитель действия», в противовес «конечному пункту», «объекту действия». Подлежащее, единственный независимый член предложения, выделяет то, о чем говорится в сообщении. Каков бы ни был истинный ранг деятеля, он с необходимостью выдвигается в герои сообщения, как только берет на себя роль подлежащего. *The subordinate obeys the principal* — 'Подчиненный повинуетя главному' [Якобсон 1983: 108].

Как видим, вывод Передонова о том, что «жена во всем должна подчиняться мужу», вытекает если не из лексики, то из синтаксиса пушкинского стиха. Так что в самом деле: «...Изо всего можно вывести решительно все».

возможные изменения областей интерпретации (референции), то есть межмировые переходы. Безусловно, должна быть разница между перифразированием текста и фантазированием относительно тех или иных его компонентов. Даже если встать на ту точку зрения, что текст — это лишь стимул для неконтролируемых адресантом непредсказуемых смысловых переходов¹⁷, то и в этом случае ключевым оказывается языковое взаимодействие между адресатами-интерпретаторами и конструируемым в процессе интерпретации адресантом: это взаимодействие если и не обязательно приводит к консенсусу, то позволяет либо эксплицировать «пределы возможного» («приемлемого»), либо же расширить их.

Безусловно, это вовлекающее ряд разнородных факторов взаимодействие может быть описано с позиций различных гуманитарных дисциплин. С лингвистической точки зрения, на наш взгляд, наиболее существенным явится следующее: как перифразирование воздействует на границы множества миров? как связаны лингвистические преобразования и расширение множества миров модельной структуры? чему приписать то, что пределы перифразирования могут оказаться столь широкими — приписать ли это а) лингвистическим характеристикам этих выражений, их «совершенству», б) богатству языка текста или же языка интерпретации, или же с) нашему желанию и умению интерпретировать текст и приписывать ему новые области интерпретации / референции, то есть d) изменять язык, изменять языковые правила и даже создавать новые языки.

¹⁷ Это будет вытекать из возможной теории языка как коннотативной системы (что созвучно идеям Ю. М. Лотмана):

Но стоит признать, что язык коннотативен, а не денотативен и что его функция состоит в том, чтобы ориентировать ориентируемого в его когнитивной области, не обращая внимания на когнитивную область ориентирующего, как становится очевидным, что никакой передачи информации через язык не происходит. Выбор того, куда ориентировать свою когнитивную область, совершается самим ориентируемым в результате независимой внутренней операции над собственным состоянием... Строго говоря, никакой передачи мысли между говорящим и его слушателем не происходит. Слушатель сам создает информацию, уменьшая неопределенность путем взаимодействий в собственной когнитивной области [Матурана 1995: 119].

Очевидно, что чем более богатые возможности предоставляет текст для перифразирования — тем больше потенциал для расширения модельной структуры. Становится очевидным функциональное значение семантической многозначности и недоопределенности для художественного текста (подробнее об этом: [Золян 1981а; 1982; 1985]) — подобные языковые выражения могут допускать куда более богатое («мощное») множество перифраз, тем самым будучи куда более открытыми для новых прочтений. Разумеется, не все из этих прочтений будут возможны относительно друг друга, равно как и их возможность не означает, что все они в равной степени приемлемы: в принципе возможно предложить нечто вроде метрического пространства, оценивающего степень удаленности от тривиальной интерпретации.

Тем самым мы вновь приходим к тому, что теория текста должна исходить из того, что значение текста многозначно (неоднозначно). Различные множества пропозиций, описывающие различные множества миров, могут претендовать на то, чтобы считаться значением текста. Любое новое прочтение, пусть даже исключаящее прежние, есть расширение модельной структуры на некоторое новое подмножество возможных миров. (Мы понимаем это как открытие уже потенциально существовавшего, но не опознанного мира, а не как сотворение нового за счет разрушения старого — возможно, даже наперекор интенции интерпретатора.) Случаи, когда тексту может быть приписано только одно «правильное» значение, следует рассматривать лишь как частный случай. Поэтому, определив модельную структуру как способ задания условий истинности для функции-модели, следует продолжить и предложить следующее содержательное продолжение: понимание текста не следует ограничивать лишь умением или способностью перифразировать и интерпретировать текст, но и вместе с этим способностью наряду с «собственной» предложить иные возможные интерпретации и перифразы (в настоящее время эта способность уже зафиксирована в методике преподавания языка как высший уровень владения навыками чтения — см.: [Aase et al. 2009]). Это предполагает не только а) способность перифразировать и интерпретировать, но и б) осознание собственной системы перифразирования, некоторых правил наложения на текст тексто-

вых операторов, так и с) осознания и владения другими языками (системами операций и операторов) интерпретации и перифразирования¹⁸.

Ориентация на поэтику требует максимального учета внутри-, меж- и внешнетекстовых механизмов многозначности, что конечно же далеко не всегда оказывается релевантным. Однако общая теория, ориентированная на описание максимума возможностей, как это происходит при ориентации на поэтику, естественно, будет в состоянии описать и более простые случаи, что далеко не очевидно при противоположном подходе — если начинать с простейших и тривиальных случаев и постепенно усложнять теорию. Так, не только поэтические, но и исторические и политические дискурсы требуют соотнесения с различными областями референции (подробнее см. в [Золян 2005; 2010]), почему и столь продуктивным оказался перенос принципов поэтики на интерпретацию истории (т. н. лингвистический поворот в философии истории, см. также раздел «О непредсказуемости прошлого»). Но следует учесть и те случаи, когда мы предполагаем за текстом наличие одного-единственного правильного значения или же значения, которое (заведомо) предпочтительнее других. И именно

¹⁸ Ср. у Борхеса:

Тексты Сервантеса и Менара словарно идентичны, но второй почти бесконечно более богат. (Более двусмыслен, сказали бы его недоброжелатели; но двусмысленность — это богатство.) Сопоставлять Дон Кихота Менара с романом Сервантеса — значит делать для себя открытия. Последний, например, пишет («Дон Кихот», часть первая, глава девятая): «...Истина, мать коей — история, соперница времени, хранительница содеянного, свидетельница прошедшего, поучательница и советчица настоящего, провозвестница будущего». Составленное в семнадцатом столетии, составленное «непросвещенным гением» Сервантеса, это перечисление — лишь риторическая похвала истории. Менар же, напротив, пишет: «...Истина, мать коей — история, соперница времени, хранительница содеянного, свидетельница прошедшего, поучательница и советчица настоящего, провозвестница будущего».

История — мать истины. Поразительный вывод. Менар, современник Уильяма Джеймса, определяет историю не как ключ к пониманию реальности, а только как ее истоки. Историческая правда для Менара — не то, что произошло, а то, что мы считаем происшедшим. Финальные дефиниции — «поучательница и советчица настоящего, провозвестница будущего» — откровенно прагматичны (*Борхес Х. Л. Пьер Менар, автор «Дон-Кихота»*).

случаи, требующие однозначного толкования, оказываются на деле весьма сложными, предполагающими целый ряд дополнительных условий: так, для вышеупомянутых юридических текстов должен быть однозначно задан не только язык и контекст, но и институт (орган), имеющий право на толкование. Аналогично, и сакральный текст предполагает сакрализацию не только текста, но и ситуации его толкования. Именно на примере толкования сакральных текстов — разграничении «ортодоксии» от «ереси» — можно показать, что подобная ортодоксия, игнорируя или блокируя возможные контекстуальные и межтекстовые связи, нуждается в особых средствах, в том числе и в «принуждении к интерпретации». В духе Ролана Барта можно утверждать, что право на интерпретацию — одно из проявлений власти и один из важнейших инструментов ее (само)легитимизации. В целом же, отвлекаясь как от экстремальных случаев, можно утверждать, что понимание текста есть результат «ко-оперативных консенсуальных взаимодействий между организмами, то есть язык» (У. Матурана), что, в упрощенном варианте, можно описать как результат операций, соответствующих максимум коммуникативного сотрудничества Грайса.

Не следует переносить потенциальную бесконечность толкований текста на практику его осмысления. Если общая теория текста призвана описать семантический потенциал текста «как бесконечный лабиринт сцеплений», то вместе с тем при переходе как к частным случаям, так и к теории толкования текста потребуется разумное сужение предоставляемых текстом интерпретационных возможностей. Безусловно, тексту соответствует «бесконечный лабиринт» прочтений, но они не могут быть реализованы одновременно. Поэтому любое прочтение — это не только «открытие» новых, но также и исключение миров, которые при данном прочтении оказываются невозможными или неопределенными (бесмысленными). Возможно, здесь следуют внести некоторые дополнительные условия: например, все те новые миры из миров модельной структуры, которые описываются в результате нетривиального перифразирования, должны быть совместимы или достижимы с тем миром, который был назван нами миром текста, причем понятие текста может пониматься расширительно и включать сопутствующие тексты (творчество Пушкина как единый

текст, толкование духовных гимнов исключительно в контексте Священного Писания и его канонического толкования, вышеупомянутое толкование международных договоров и т. д.).

Исходя из целей практического описания, имеет смысл сузить область определения, заданную для вышевведенной модели $f(E, W)$, где E — пропозиция (смысл предложения), а W в качестве аргумента может выступать не любой мир $\{W\}$, соответствующий какому-либо предложению / высказыванию текста, а только отмеченный $\{W_0\}$, или же — еще более явно вовлекая прагматику — мир контекста, в котором высказывается данная пропозиция. Другие миры если и будут подлежать рассмотрению, то только опосредованно — через их модальное отношение к W_0 . Так, мы различаем претендующие на описание реального мира высказывания в зависимости от того, в каком контексте они высказаны — будь то мир-контекст литературного произведения, мир исторической хроники или же мир, который и мы, и автор данного высказывания принимаем как реальный. Например, высказывание *Москва — столица России* должно оцениваться не относительно всех возможных миров, а только того, в котором оно было высказано, и если оно высказано в актуальном мире, мы оцениваем его только относительно синхронизированного со временем высказывания актуального мира и не входим в рассмотрение ситуаций, отличных от ситуаций. Равно как и *Санкт-Петербург — столица России* будет оцениваться относительно романа «Анна Каренина» или же всех тех текстов, которые были написаны или же описывают тот период, когда Санкт-Петербург был столицей России, в том числе и написанные в наше время учебники истории или исторические романы. Таким образом, можно, основываясь на идее Дэвида Льюиза [Lewis 1978], принять за отмеченный мир тот мир-контекст, в котором данная пропозиция высказывается как истинная (например, высказывается ли она в нашем мире или в мире романа). В зависимости от смены контекста будет меняться и модельная структура. Так намечается путь к определению значения текста как такой модельной структуры, которая определяется как композиция смысла текста (возможные миры текста) и тех возможных миров-контекстов, при которых высказываются составляющие текст предложения. Это позволяет дополнить уже многократно приведенную

формулу Лотмана — Пятигорского об обязательной прагмасемантической истинности текста: определение Д. Льюиза в эксплицитной форме добавляет к тексту контекстуальные характеристики, необходимые для подобной контекстуализации.

В частном случае можно потребовать, чтобы данная пропозиция была бы выражена в самом тексте либо в форме соответствующего высказывания либо же хотя бы как следствие (пресуппозиция, импликатура, перифраза), выводимое из высказываний текста. Это значит, что модель-функция определяет, отражает или нет данное высказывание тот мир, в котором оно высказывается (воспроизводится) — это миры тексты, или же те миры, в которых адресантом текста актуализируются, то есть в новом контексте высказываются, составляющие текст предложения. Например, в романе «Анна Каренина» пропозиция *Москва — столица России* не высказывается ни одним из персонажей, ее нет в тексте и она не может считаться наличествующей в тексте хотя бы как одна из пресуппозиций. Поэтому, будучи истинной для сегодняшнего читателя, она будет ложной относительно мира романа (хотя и логически возможна в том числе и в этих мирах), почему и не имеет смысла вовлекать в рассмотрение все те возможные миры, в которых она истинна. Аналогично, не имеет смысла вовлекать в рассмотрение все ложные на сегодняшний день, но возможные пропозиции относительно столицы России, за исключением единственной: *Санкт-Петербург — столица России*¹⁹, поскольку только она ока-

¹⁹ Заметим: в самом романе подобное тривиальное высказывание отсутствует, но соответствующая пропозиция может быть выведена как экспликация пресуппозиционной структуры, на которой основаны связанные с семантикой имени «Петербург» концепты и фреймы:

«...но Алексей Александрович восторжествовал, и его предложение было принято; были назначены три новые комиссии, и на другой день в известном петербургском кругу только и было речи, что об этом заседании»; «Петербургский высший круг, собственно, один; все знают друг друга, даже ездят друг к другу»; «Как только он приехал в Петербург, заговорили о нем как о вновь поднимающейся звезде первой величины»; «В то время как Степан Аркадьич приехал в Петербург для исполнения самой естественной, известной всем служащим, хотя и непонятной для неслужащих, нужнейшей обязанности, без которой нет возможности служить, — напомнить о себе в министерстве»; «Увидев Алексея Александровича с его петербургски-

зывается истинной в мире романа. Таким образом, в модельной структуре романа будут представлены всего лишь две модели: множество миров, в которых *Москва — столица России* и которые характеризуют мире-контекст сегодняшнего читателя (т. е. контекст актуализации романа читателем), и все остальные возможные миры, в которых *Санкт-Петербург — столица России*, будь то миры-контексты самого романа и его персонажей, авторский мир-контекст высказывания (написания) романа, а также миры толкований романа. Поэтому имя *Петербург* в таком случае может быть интерпретировано только относительно второго множества миров (аналогично, как и имя *Москва* — в данном случае оно будет семантизироваться как «не-столица»). Безусловно, это путь принятой практики толкования, хотя теоретически возможен и, говоря словами Борхеса, «прием нарочитого анахронизма» — попытаемся прочесть роман глазами читателя, не знающего, что в XIX в. Москва не была столицей. Можно предположить, что, не найдя в тексте указаний на то, какой именно город был столицей России, он либо реконструирует истинное положение дел исходя из текстовых данных романа, либо обратится к иным текстам (энциклопедия, история), которые выступают в функции интертекста, либо каким-либо иным образом семантизирует «петербургские»

свежим лицом и строго самоуверенною фигурой...»; «Однако она помнила, что Анна, золовка, была жена одного из важнейших лиц в Петербурге и петербургская *grande dame*»; «Выйдя очень молодым блестящим офицером из школы, он сразу попал в колею богатых петербургских военных»; «Хотя он и ездил изредка в петербургский свет, все любовные интересы его были вне света»; «В Москве в первый раз он испытал, после роскошной и грубой петербургской жизни, прелесть сближения со светскою милою и невинною девушкой»; «Половина Москвы и Петербурга была родня и приятели Степана Аркадыча»; «Вронский — это один из сыновей графа Кирилла Ивановича Вронского и один из самых лучших образцов золоченой молодежи петербургской»; «А это франтик петербургский, их на машине делают, они все на одну статью, и все дрянь» и т. п.

Во всех этих словоупотреблениях лексем «Петербург» и «петербургский» наличествует семема «столичный» или, точнее, сконденсированная пропозиция («сгущенная дескрипция» — по Б. Расселу) «Петербург — столица Российской империи XIX века». Естественно, что при этом неактуальными окажутся сегодняшние коннотации типа «бандитский Петербург», «питерцы» и т. п.

пропозиции текста, и в последнем случае возникнет определенная «сдвигология» (по принципу: «Так звуки слова “дар Валдая” Балды, над партою болтая, — Переболтают в “дарвалдая”» — А. Белый. «Первое свидание», 1921).

Предложенное решение носит общий характер и конечно же требует ряда уточнений. В первую очередь, следует учесть возможность изменения межмировых отношений при переходе от одного сегмента текста к другому. Во-вторых, очевидно, что текст организуется не одним отношением достижимости, а их комплексом. И наконец, что считать «отмеченным» миром? Наиболее очевидное — это тот мир-контекст, в котором высказывается данный текст. Но это лишь одно из решений. Хотя для текста можно предложить различные модельные структуры, и в каждой из них могут быть отличающиеся друг от друга отмеченные миры, но для каждой из модельных структур это может быть только один мир. Конечно, теоретически заманчиво заявить, что подобно тому, как любая точка во Вселенной может считаться центром вселенной, точно так же любой мир, соответствующий хотя бы одному предложению текста, может считаться отмеченным, однако на практике мы привыкли исходить из того, что центр вселенной — это «наш» социум. Не претендуя на общее решение, можно привести несколько наиболее приемлемых альтернатив — мир «финального» предложения? базисный мир, характеризующий текст как производное от него предложение? мир-следствие всех предложений текста? мир, достижимый из любого предложения текста? мир, из которого достижимо любое предложение текста? Каждый из этих вопросов подводит к основаниям некоторой новой теории текста, вариации которой, вероятно, будут значительно отличаться друг от друга.

2. ОТ МИФА — К ИСТОРИИ (БЛИЗНЕЧНЫЙ МИФ И СЮЖЕТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИСТОРИИ АРМЕНИИ» АГАТАНГЕЛОСА)

Как было показано Ю. М. Лотманом в ряде исследований (впервые — в «Происхождении сюжета в типологическом освещении»), переход от мифологического текста к сюжетному знаменует изменение временной организации универсума, циклическое время заменяется линейным:

Разрушение циклически-временного механизма текстов привело к массовому переводу мифологических текстов на язык дискретно-линейных систем... Первым и наиболее ощутимым результатом такого перевода была утрата изоморфизма между уровнями текста, в результате чего персонажи различных слоев перестали восприниматься как имена одного лица и распались на множество фигур... Наиболее очевидным результатом линейного развертывания циклических текстов является появление персонажей-двойников (цит. по: [Лотман 1992: 226]).

При расщеплении персонажей единый воскресающий / умирающий персонаж начинает выступать в двух ипостасях, как два персонажа-двойника, находящихся в отношении дополнительной дистрибуции. Как дополнительный фактор, способствующий подобной трансформации, можно отметить и то, что подобное расщепление соответствует нарративному принципу близнечного (двойникового) мифа.

Эта идея Юрия Лотмана находит наглядное подтверждение в «Истории Армении» Агафангела (Агатангелоса) — первом

и, вероятно, наиболее известном и исследованном из памятников армянской раннесредневековой литературы (V век). Повествуя о принятии христианства в Армении, он стал одним из основных источников по истории Армении и был признан во всей христианской ойкумене (памятник в средние века был переведен на греческий, церковнославянский, арабский, коптский, сирийский, грузинский)²⁰. Герой «Истории» Григорий Просветитель был причислен к общехристианским святым, культ которого, несмотря на напряженные отношения с армянской монофизитской церковью, был распространен и в католической, и в православной церкви (в том числе и на Руси). Жанр памятника синкретичен — с одной стороны, это историческая хроника, с другой — житие. Именно с этих позиций он и исследовался ранее. Однако, хотя исследователями неоднократно отмечалась близость памятника к литературным текстам, поэтика памятника еще не становилась объектом специального исследования. Между тем именно анализ поэтики позволяет выявить нарративную структуру, ее связи с близлежащим мифом и рядом сопутствующих мотивов.

История принятия христианства в Армении предстает как взаимодействие и взаимоотношения между царем Трдатом и св. Григорием. Включенные в текст реликты более архаичных мифологических систем позволяют выделить дополнительную интерпретацию исторического (или квазиисторического) события. Более того — ряд фрагментов текста остаются необъяснимыми, если не учитывать особенности сюжетной организации, а именно постоянно воспроизводимые как эпизоды сюжета мифометафорические субституты метафор смерти и возрождения.

Вкратце сюжет «Истории» таков: в Персии в результате мятежа был убит царь из династии Партевов (Аршакидов) Артаван, и на престол взошел Арташир (династия Сасанидов). Царь Арме-

²⁰ На современный русский, вследствие его религиозной направленности, в советское время памятник не переводился; первый перевод появляется только в 2004 г. [Агатангелос 2004]. Основные филологические сведения о памятнике даны в предисловии и комментариях, подготовленных К. С. Тер-Давтян и С. С. Аревшатыаном в этом же издании. Приводим сведения по этому переводу с указанием номеров страниц.

нии Хосров, принадлежащий к младшей ветви Партевов (Аршакидов), поклялся отомстить узурпатору и начал победоносную войну против Арташира. Арташир оказался в безвыходном положении, и тогда один из его придворных, Анак, также принадлежащий к роду Партевов, вызвался убить Хосрова. Он под видом беглеца вместе с братом и всем родом оказывается в Армении, входит в доверие к Хосрову и коварно убивает его. После этого весь род Анака был уничтожен, за исключением двух его сыновей, которых кормилицы переправляют одного в Персию, другого, Григора, — «в греческие края»²¹. После устранения армянского царя Хосрова персидский царь Арташир нападает на оставшуюся без царя Армению и завоевывает ее. Сына Хосрова Трдата удается спасти и переправить его ко двору греческого императора²². Далее Трдат прославился многочисленными подвигами — так, в облачении греческого императора, то есть как его двойник, он побеждает готского царя²³. Тогда же сын изменника Анака Григор, желая искупить грех отца, поступает на службу к Трдату²⁴. С помощью гре-

²¹ «И пока еще теплилась в [царе] жизнь, и он еще не испустил дух, [он] отдал приказ истребить весь их род. Тогда стали убивать и предавать мечу всех, не оставив [в живых] даже отроков, еще не умеющих отличить правой руки от левой, перебиты были мечами также все женщины. Лишь двух младенцев Парфянина удалось спасти через каких-то кормилиц; и, взяв их, одна бежала в сторону Персии, а другая — Греции» (с. 33).

²² «В это время кто-то спас от рук злодея одного из сыновей армянского царя Хосрова, младенца по имени Трдат, которого взяли кормилицы и бежали [с ним] в сторону Греции, к царскому двору, в края греческие» (с. 33).

²³ «Утром следующего дня [царь] приказал накинуть на Трдатиоса [царскую] порфиру. Его нарядили в императорские одежды, надели на него царские регалии, и никто ничего не знал о нем. Всем было объявлено, что это сам император. Под звуки труб он со всем войском стал стремительно приближаться, пока не предстал перед врагами. Оказавшись друг перед другом — [Трдат] в обличье императора и царь [готов] пришпорили коней и вступили [в бой]. И там облаченный в императора победил царя [готов] и, схватив его, привел и поставил перед императором» (с. 35).

²⁴ «Узнав от кормилиц о свершенных отцом делах, [он] отправился к Трдатиосу, дабы добровольно служить ему. [Григор] скрывал, кто он, не выказывая, чей он [сын], или откуда, или как и почему [появился]. Поставив себя на службу [Трдату], он покорно прислуживал ему» (с. 33).

ческого императора Трдат изгоняет персов из Армении, восстанавливает армянский престол²⁵ и в ознаменование своей победы собирается принести жертвы богам. Однако Григор, принявший христианство, отказывается участвовать в жертвоприношении языческим идолам, за что Трдат подвергает его тяжелейшим мучениям²⁶. А узнав, что Григор есть сын цареубийцы Анака, Трдат приказывает после долгих и изощренных пыток²⁷ бросить Григора в глубочайшую яму на верную смерть²⁸.

Тут следует вставная новелла: спасаясь от преследований и домогательств императора Диоклетиана, в Армению бегут тридцать семь дев под предводительством красавицы Рипсимае и ее настав-

²⁵ «46. Тогда царь премного возвеличил Трдатиоса, одарил его великими милостями, возложил на его голову корону и почтил багряными хламидами. И [император] отдал ему, принявшему облик императора, вознесенному великолепием императорских украшений, большое вспомогательное войско и отправил в его собственную страну Армению» (с. 35).

²⁶ «53. Царь говорит: — Знай, что ты свел на нет заслуги, которые приобрел, служа мне, что я признаю. Но теперь вместо той жизни, которой я должен был удостоить тебя, подвергну тебя многим истязаниям, вместо чести — унижу тебя. И вместо бардза [бардз букв. 'подушка', место в иерархии при дворе у Аршакидов определялось высотой и близостью к трону подушки, на которой могли сидеть наиболее приближенные к царю. — С. 3.] и повышения получишь тюрьму, мучения и смерть, которая лишает людей надежды на жизнь, если не согласишься поклоняться богам, особенно великой госпоже Анаит, славы и спасительницы народа нашего, которую почитают все цари, особенно царь греческий» (с. 36).

²⁷ «101. Царь ответил: — Не сделаю я тебе такого подарка — возможности умереть быстрой смертью и избавиться от мучений и получить то, что ты называешь вечной жизнью. Я подвергну тебя долгим истязаниям, дабы ты не мог сразу умереть, буду долго мучить тебя и взыщу с тебя за поношение богов и за упорство в нежелании поклоняться им» (с. 51).

²⁸ «122. И после стольких допросов и мучений, побоев и тюрьмы, тисков и виселиц, пыток и истязаний, которыми мучили его, он с великим терпением воспринял во имя Господа нашего Иисуса Христа [и известие] об осведомленности царя также о том, что он на самом деле сын Анака Партева, убившего его отца Хосрова, [а также] приказ [царя] отвезти его с оковами на ногах, руках и шее в Айратскую область и спустить в очень глубокий вирап [глубокая яма, колодец. — С. 3.] цитадели города Арташата, чтобы он там умер, в яму, в которой он и пробыл тринадцать лет» (с. 56).

ницы Гаяне. Трдат пытается овладеть Рипсимае, но терпит позорное поражение²⁹. Рипсимае и всех остальных дев предадут мучительной смерти. Царь Трдат, его приближенные и множество народа впадают в безумие. Сам Трдат превращается в вепря³⁰. Тут вновь наступает черед Григора, которого считают мертвым. Сестра Трдата Хосровидухт (букв. 'дочь Хосрова') видит во сне, что для избавления необходимо послать за Григором, который четырнадцатый год находится в глубокой яме. Григор приходит на место мученичества святых дев³¹. Григор вначале возвращает Трдату и его подручным разум, чтобы они могли осознать свои грехи. Трдат и остальные виновные в убийстве Святых дев каются в совершенных грехах, обращаются в христианство и посредством Григора вновь принимают человеческий облик. Проповедуя перед народом, Григор и принявший христианство Трдат вновь выступают как двойники-антиподы, как свидетель и анти-свидетель: один повествует о своих мучениях, другой — о своем мучительстве. Далее Григор и Трдат разрушают языческие храмы (в первую очередь — языче-

²⁹ «191. А та, начав борьбу с ним с девяти часов дня и продолжив до первого часа ночи, победила царя. Укрепленная Святым Духом, дева сильными ударами нанесла поражение и повергла на землю обессиленного и доведенного до изнеможения царя. Она сорвала с него одежду и бросила его с разорванной мантией, с упавшей, отнятой короной, в постыдном виде. И хотя он также разорвал в клочья и сорвал с нее одежду, однако она, победительница, сохранила себя в чистоте» (с. 72).

³⁰ «727. Он преобразился, приняв облик грязелюбивой свиньи, так как все его тело обросло, на всех частях [его] тела выросла щетина, как у крупных диких кабанов, а ногти на пальцах ног и рук превратились в копыта, как у вепря, копающего землю и питающегося кореньями. Лицо его уподобилось рылу с хоботом, как у зверей, живущих в камышах. В звериной природе и [со звериными] повадками, лишенный высокого царского великолетия, он бессловесным бродил в облике травоядного зверя и вместе со зверьми жил в зарослях камыша, вдали от людей» (с. 216).

³¹ «728. Когда же исповедник Христа Григориос, вышедший из подземной темницы, пришел на место [гибели] мучеников, по провидению Божьему, все беснующиеся собрались вместе, появились там же. И обратившийся в вепря царь с рылоподобным лицом, похожий на четвероногого, громко вопя, крича, хрюкая, выпуская пену, окруженный стадом обитающих в камышах зверей, пришел туда же» (с. 216).

ской богини Анаид), воздвигают христианские церкви (в первую очередь — Рипсима и ее спутницам), получают благословение от вселенского патриарха, открывают школы и т. п. Так в Армении христианство становится государственной религией, что позже происходит и в Греции — при императоре Константине, к которому едут и заключают договор Трдат и Григор.

Очевидно, что здесь несколько сюжетов, некоторые из них выделены и композиционно, как отдельные книги — житие Григора, житие Рипсима и ее спутниц, проповедь Григора, деяния Хосрова и Трдата. Но центральный, скрепляющий остальные сюжетные линии — это взаимоотношения между Трдатом и Григором.

За этим сюжетом можно увидеть более архаичную схему — братья-близнецы, разлученные и противоборствующие до момента узнавания. Их расщепление — расщепление функций царя-первосвященника (языческий царь-первосвященник Трдат преобразуется в пару: христианский царь Трдат, действиями которого руководит христианский первосвященник Григор)³².

Близнечную пару образуют уже родители главных героев, нечестивый Анак и благородный Хосров. Они оба из царского рода, Анак — из «главных родоначальников Парфянского царства» (с. 31), Хосров готов предоставить своему будущему убийце *второе* место в царстве³³. (Историк V века Егише, упоминая об убийцах Хосрова, называет их не просто его родичами, «но братьями отца Трдата» [Егише 1994: 55].) У обоих по два сына, которых спасают кормилицы. При этом у Анака, кроме Григора, есть еще один сын, о котором говорится, что кормилица, спасая его, отправляет в Персию, и более о нем в «Истории» не упоминается (видимо, это реликт более архаичного сюжета, в котором близнечную пару

³² Примечательно, что идею сделать Григория первосвященником Бог первоначально являет Трдату: «794. Но вот царю было чудное видение: он увидел Бога, который заговорил с ним и сказал: — Вам следует без промедления дать Григору чин первосвященства, чтобы он просветил вас крещением» (с. 232).

³³ «30. И когда царь увидел названного мужа, прибывшего к нему со всей своей семьей, он искренно поверил ему. Затем он оказал ему царские почести, повел и посадил на второе в своем царстве место. И все холодные, суровые, морозные зимние дни они в веселии проводили [вместе]» (с. 33).

могли составлять Григор и Трдат). Но функционально, хоть и будучи детьми разных отцов, Григор и Трдат выступают как близнецная пара, что опять-таки позволяет реконструировать более архаичное состояние, близнецное отношение между благородным Хосровом и коварным Анаком.

На первой фазе сюжета взаимоотношения между Григором и Трдатом воспроизводят прежние — господин / слуга. Но если в первом случае слуга убивает господина, во втором — господин приказывает убить слугу. При этом действует отмеченная Юрием Лотманом важнейшая типологическая особенность двойниковой семантики — дополнительная дистрибуция и одновременное существование / несуществование персонажей-двойников. Эти персонажи не встречаются в одном и том же месте, они действуют в различных пространствах (Армения — вне Армении) и двигаются в различных направлениях (в Армению — из Армении). Их встреча заканчивается убийством одного из них, после чего перестает существовать и другой. Анак убивает Хосрова, после чего убивают и его. Бросив Григория в яму (могилу), смертельно заболевает сам Трдат (болезнь и яма — метафоры смерти, причем Трдат превращается в вепря — помимо очевидных мифологических коннотаций отметим, что вепрь — символ персидского трона). Выход Григора из могилы приводит к выздоровлению Трдата. Смерть и возрождение получают новую интерпретацию — как принятие христианства. Григорий так обращается к новообращенной пастве: «Вы, которые были мертвы в ваших грехах, и вот, благодаря мне, умершему, возрождены».

Сюжетное поведение героев меняется после принятия христианства — Трдат и Григор теперь уже действуют совместно, причем функционально происходит инверсия отношения господин / слуга — если судить по тому, кто отдает распоряжения и кто их исполняет. Хотя главным героем должен считаться Григор, анализ сюжетных функций персонажей показывает, что определяющим в структуре отношений является тем не менее Трдат — отношения двойникового контраста и взаимозаменяемости устанавливаются между ним и другими персонажами.

Различие сюжетных функций отца Хосрова и сына Трдата соотносится с различием функций царя-первосвященника (царя и

первосвященника) в языческую и христианскую эпоху. Хосров и Трдат — также двойники, результат расщепления единого сюжетного персонажа, но расщепления, данного не в пространстве, а во времени. У Хосрова синхронный двойник — его убийца Анак, диахронический — его сын Трдат. В паре Хосров — Анак противопоставлены такие признаки, как доброе — злое, праведное — неправедное, правильное (традиционное) — неправильное (нарушение традиции). Хосров, как царь, так и как первосвященник, выступает как восстановитель порядка, поборник прав свергнутых Аршакидов. Анак входит к нему в доверие как не подчинившийся неправедной власти узурпатора Арташира. Его бегство к Хосрову — это имитация попытки представителя рода Аршакидов, с помощью принадлежащего к тому же роду Хосрова, восстановить правильный порядок: «— Я прибыл к тебе для того, — говорил он, — чтобы вместе [с тобой] отомстить за всех» (с. 32). Сам Хосров, несмотря на многочисленные победы над персами, не претендует на персидский трон. Однако оставшиеся в живых Аршакиды не приходят на помощь Хосрову. Поэтому Хосров преобразуется в разорителя Персии, его цель уже не восстановление прав законных царей, старшей ветви Аршакидов, а месть узурпатору.

Сюжетные функции его сына Трдата осложнены: он воплощает и доброе и злое начала одновременно. Доброе отведено царю, злое — первосвященнику-жрецу, то есть отнесено к языческому миру. После отказа от язычества Трдат вновь выступает как царь-идеал. Во все периоды Трдат ведет себя так, как и полагается герою-царю: восстанавливая армянский престол, он восстанавливает порядок. В качестве царя он ответственен и за правильное отправление культа: не случайно, что, согласно повествователю, Трдат терпит христианство своего слуги Григора (хотя и притесняет его), когда еще не стал царем, в Кесарии. Став царем, он требует от Григора поклонения языческим богам — в противном случае боги, по его словам, отомстят за нарушение порядка³⁴.

³⁴ «136. Так, в пример, я не пощадил своего верного любимого слугу Григориоса, которого именно из-за [отказа поклоняться богам] замучил жестокими и ужасными истязаниями и затем приказал бросить в страшный Хор Вирап, чтобы он там тотчас стал пищей змей. И [я] из любви к богам и страха

Возникает в том числе и сюжетная коллизия между прежним и новым состоянием Трдата: царь и одновременно (языческий) первосвященник уступает место царю — помощнику (христианского) первосвященника. Отнятие прежних функций приводит к иному типу двойничества. В прежней системе Григор как сын покусившегося на порядок Анака обречен на смерть (такой приказ Трдат отдает только тогда, когда узнает, что Григор — сын цареубийцы: для него нарушение династического порядка значимее и должно караться сильнее, чем нарушение культового). Но в христианстве династический порядок менее значим, чем спасение и искупление. Григор — казалось бы — не в ответе за Анака. Но он искупает грех отца, поступая на службу к Трдату, затем — возрождая его из звериного облика — выступает как (духовный) отец Трдата.

Таким образом, отношение двойничества охватывает не только отношения между сюжетными «братьями», но и отношение «сын — отец»: как синхронически (Григор — духовный отец Трдата), так и диахронически (Хосров — династический отец Трдата). Легитимность Трдата как царя есть пересечение этих двух отношений. Как дополнительный штрих, объясняемый прогреческой ориентацией памятника, наметки отношения двойничества можно отметить между Трдатом и греческим царем: в юности Трдат в одежде неназванного греческого царя побеждает царя готского, а в старости он и Константин становятся названными братьями (это два разных царя, но по тексту — «сын Константина Констандианос», видимо, это еще один случай расщепления единого персонажа).

Как реликты близнечного мифа можно считать постоянные парные отношения персонажей, даже если они никак не обусловлены сюжетом. Так, Анак действует вместе со своим безымянным братом, о котором более ничего не сообщается. Два сына у Трдата и у Анака (о вторых потом никак не упоминается), у Трдата появляется не упоминаемая ранее сестра Хосровидухт (буквально — дочь Хосрова), которая образует пару с неожиданно возникшей женой

перед ними не посчитался с его заслугами передо мной, дабы и вы убоялись этого и испугались смерти. Итак, оставайтесь под покровительством богов и удостойтесь нашей милости» (с. 58).

Хосрова Ашхен, парны героини вставной новеллы мученицы Гаяне и Рипсиме, два сына и у Григора.

Отдельная тема, хотя и тесно связанная с рассмотренной — это зависимость героев от ценностно ориентированного пространства (сакральная земля — Кесария, Греция, Рим, зло локализовано в чужой Персии, а периферия мира, лежащая уже «вне мест обитания человека» — Кавказские горы, куда бегут бесы, изгнанные Григором из храма богини Анаид)³⁵. Центр повествовательного мира — столица Армении Вагаршапат (современный Эчмиадзин). Из Персии приходит зло и утрата статуса, из Кесарии — благо, спасение и восстановление или повышение статуса (как царского, так и первосвященнического). Примечательно, что между сакральной Кесарией и немаркированной Арменией граница может быть и непреодолимой — Григор не может перевезти через Ефрат мощи Иоанна Крестителя. Перемещение из одного пространства в другое и встречи на границах приводят к изменению сюжетных функций и трансформациям героев. При этом, даже частично совпадая, маршруты Григора и Трдата функционально различны — для Трдата греко-римский мир есть источник утерянной царской власти (он восстанавливает то, что ему принадлежит по происхождению), для Григора — источник новообретенной духовной власти, исполненной им первосвященнической миссии.

Нами не рассматривается «женская» линия, связанная с мученичеством рипсимеанок и их последующей сакрализацией. Здесь также можно найти интересные трансформации архаичных сюжетных схем (бой героя с богатыршей, инверсия признаков: вакханки преобразуются в напоминающих амазонок рипсемианок, обезумевший от любви к Рипсиме и скорби по ней впадает в безумие и превращается в вепря Трдат, но разрывают на части тело

³⁵ «780. И людям показались все обратившиеся в бегство бесы, они рвали на себе одежду, били себя по лбу, выли и с громким плачем говорили: «Горе нам, горе нам, горе нам, ибо со всех мест изгнал нас Иисус, сын Марии, дочери человека. И отсюда тоже мы вынуждены бежать из-за этого распятого и умершего человека. Куда же нам теперь идти? Ведь его слава наполнила землю. Отправимся к жителям Кавказских гор, на север. Может быть, там мы получим возможность жить, и с их помощью исполним наше желание. Ибо он, не давая нам покоя и лишая воздуха, изгнал нас с мест обитания человека»» (с. 230).

не его, а Рипсима, причем происходит это «среди виноградников в хижинах-давилянх винограда» (с. 63). Языческие и христианские метафоры смерти и воскресения и в этом случае создают возможность совмещения различных семантических систем.

Дальнейшая судьба Григора и Трдата также нераздельна. Она описана уже другими историками, и уже в совсем иной тональности. Нейтрализуется центральная дихотомия «царь — первосвященник», двойники-антиподы становятся ушедшими от мира отшельниками. Так, согласно «отцу армянской историографии» Мовсесу Хоренаци, Григорий передает сан первосвященника сыну Аристакусу, а сам покидает мир и уходит в горы, где живет отшельником в пещере и умирает в неизвестности. Также и царь Трдат — не в силах более терпеть «высокомерных и своевольных» соотечественников (особенно — их «жен и наложниц»), он отрекается от царской власти, уходит «в места святого отшельника Христова» и становится «жителем горной пещеры»³⁶. Но и там ему не уйти от мира, происходит финальная инверсия: некогда бывший мучителем своих подданных, царь сам принимает мученическую смерть от своих подданных:

Здесь я стыжусь раскрыть правду, особенно беззаконие и нечестивость нашего народа и его дела, достойные великой скорби и слез. Ведь, послав за ним, призывают его вновь принять царскую власть, обещая поступать согласно его воле, но, получив от святого отказ, дают ему питье, как некогда в древности афиняне дали Сократу цикуту или, если обратиться к близкому нам, — как разъяренные иудеи подмешали желчи в питье Бога нашего. Этим поступком они

³⁶ «После того как Трдат уверовал во Христа, он, блистая всеми добродетелями, все более отдавался служению Христову делу и словом, и действиями, утрашая и убеждая великих нахараров, а вместе с ними и все множество простонародья, стать воистину Христовыми, дабы и дела их всех свидетельствовали об их вере. Но хочу отметить жестокосердие и надменность нашего народа с начальных времен и поныне. Не будучи привержены к добру и склонны к истине или отличаясь нравом высокомерным и своевольным, они противились воле царя относительно христианской веры, следуя воле жен и наложниц. Царь не смог примириться с этим и, сложив мирской венец, последовал за небесным. Он немедленно отправился в места святого отшельника Христова и стал жителем горной пещеры» [Хоренаци 1990, кн. 2, гл. 92].

загасили для себя светозарный луч богопочитания [Хоренаци 1990, кн. 2, гл. 92].

Согласно Хоренаци, убийство Трдата возвращает Армению во *тьму язычества*. Тем не менее фольклор оставляет сотериологическую перспективу. По народному сказанию, Григор и Трдат вновь воссоединяются уже на небе — как невидимые для недостойных светящиеся символы царской и первосвященнической власти — меча-креста и лампы:

Армянский царь Трдат снимает свой меч и рукою Григория Просветителя бросает его в сторону гор Сепух. Но меч на землю не падает, а повисает в воздухе в виде креста, вокруг этого креста начинает сиять свет. Говорят, это свет негасимой Лампады Григория Просветителя, которая свисает с неба, ни за что не повешенная. Меч Трдата, как и Лампада Просветителя, являются только удостоившимся — Лампада Просветителя и меч Трдата [Ганалаян 1979: 243].

Заключая, зададимся вопросом: как соотносятся мифопоэтические схемы и история? Бессмысленно спрашивать: что «было на самом деле», а что есть результат примысливания к имевшим место событиям архетипических нарративных схем и символов. Архетипы и мифологемы не есть антитеза истории, понимаемой как последовательность некогда имевших место событий, а инструмент ее и восприятия, и осмысления, и редактирования:

Сюжет представляет собой мощное средство осмысления жизни. Только в результате возникновения повествовательных форм искусства человек научился различать сюжетный аспект реальности, то есть расчленять недискретный поток событий на некоторые дискретные единицы, соединять их с какими-либо значениями (то есть истолковывать семантически) и организовывать их в упорядоченные цепочки (истолковывать синтагматически). Выделение событий — дискретных единиц сюжета — и надделение их определенным смыслом, с одной стороны, а также определенной временной, причинно-следственной или какой-либо иной упорядоченностью, с другой, составляет сущность сюжета... Создавая сюжетные тексты, человек научился различать сюжеты в жизни и, таким образом, истолковывать себе эту жизнь [Лотман 1992].

3. «СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ, СКАЖИ» — ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРКАЛО КАК СЕМИОТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО*

Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело...

А. С. Пушкин

Попробуем понять, почему говорят волшебные зеркала. Для этого требуется рассмотреть те лингвосемиотические принципы, на которых основана «работа» волшебного зеркала. То, что зеркало, как простое, так и обычное, — это своего рода символ некото-

* Предлагаемый раздел есть незначительно переработанная версия статьи [Золян 1988а], которая после состоявшегося весной 1986 г. в Тарту семинара по семиотике зеркала и зеркальности (на нем я выступил с докладом о возможности приложения семантики возможных миров к описанию текста) была мною послана Ю. М. Лотману на предмет возможной публикации в «Трудах по знаковым системам». Мне казалось, что Ю. М. она заинтересует как логико-семантическое обоснование его подхода, и я ждал его благосклонного отклика. Но Юрий Михайлович в пух и прах раскритиковал статью именно за ее теоретичность, назвав приводимые мной концепции и аппарат семантики возможных миров «накладными расходами», лишь затемняющими суть дела. Однако тогда же он принял решение о публикации, причем не предлагая внести какие-либо изменения и ничего в статье не меняя (подход Лотмана как редактора, как я могу судить, сводился к тому, что автор и только автор несет ответственность за собственные глупости). В предисловии к этому выпуску «Трудов» можно найти упоминание о том, применительно к какой проблематике и в каком ключе наша статья могла быть прочитана Юрием Михайловичем: «Работы, публикуемые в настоящем сборнике, рассматривают зеркало как феномен семиотики культуры, что вводит необходимость контекста (проблемы симметрии, логики возможных миров, мифологии)... Таким образом, зеркало оказывается в истории культуры семиотической машиной описания чужой структуры. Поэтому оно так пригодно для логических игр и мифологических построений» [Лотман 1988б: 3–4].

рых семантических принципов текстопорождения и, одновременно, текстопорождающий механизм, уже отмечалось в литературе. В первую очередь, как уже было отмечено Ю. М. Лотманом, с зеркалом можно связать принцип зеркальной симметрии — как смысло- и текстоорганизующий:

Зеркальный механизм, образующий симметрично-асимметричные пары, имеет столь широкое распространение во всех смыслопорождающих механизмах, что его можно назвать универсальным, охватывающим молекулярный уровень и общие структуры вселенной, с одной стороны, и глобальных созданий человеческого духа, с другой. Для явлений, охватываемых понятием «текст», он, бесспорно, универсален. <...> Закон зеркальной симметрии — один из основных структурных принципов внутренней организации смыслопорождающего устройства. К нему относятся на сюжетном уровне такие явления, как параллелизм «высокого» и комического персонажей, появление двойников, параллельные сюжетные ходы и другие хорошо изученные явления удвоений внутритекстовых структур. С этим же связаны магическая функция зеркала и роль мотива зеркальности в литературе и живописи [Лотман 1979: 238].

Но и само зеркало выступает как семиотический механизм: символ (или мотив) зеркала предполагает операции, направленные на семиотическое создание новых реальностей (миров):

Связь феномена искусства с удвоением реальности неоднократно отмечалась эстетикой. В этом отношении античные легенды о рождении рифмы из эха, рисунка из обведенной тени исполнены глубокого смысла. Одновременно магическая функция таких предметов, как зеркало, создающих другой мир, похожий на отражаемый, но им не являющийся, «как бы» мир, столь же знаменательна, как и роль метафоры отражения зеркальности для самосознания искусства. Возможность удвоения является онтологической предпосылкой превращения мира предметов в мир знаков: отраженный образ вещи вырван из естественных для нее практических связей (пространственных, контекстных, целевых и прочих) и поэтому легко может быть включен в моделирующие связи человеческого сознания [Там же: 238–239].

Однако нельзя не заметить, что несколько в тени остается лингвосемиотический аспект проблемы, а именно языковая ре-

альность, стоящая за символикой выявляемых оппозиций. Еще менее ясно, символом каких языковых механизмов оказывается «семиотическое» зеркало, оперирующее не образами-иконами, а знаками естественного языка. Ведь принципиально различен характер семиозиса и семиотики зеркального отображения в изобразительном искусстве (как в приводимых Ю. М. Лотманом примерах) и в вербальных текстах, где «отражение» создается уже языковыми средствами. Попытка лингвистического описания семиотического устройства волшебных зеркал — так, как они описаны в разного рода фольклорных и литературных текстах — приводит к следующему выводу: волшебное зеркало можно рассматривать как обобщающую метафору некоторых фундаментальных принципов семантики языка, которые с особой наглядностью проявляются при использовании языка в поэтической функции.

Связь зеркала с языком может показаться непонятной — ввиду принципиального различия между иконическим и символическим семиозисом. Зеркало показывает, а не обозначает. Как метафору языковой семантики скорее можно рассматривать другое волшебное средство — вещь, или волшебную, книгу. Но, как мы увидим, различие между книгой и зеркалом определяется не столько оппозицией символическое / иконическое и ее коррелятами, сколько различием между контекстно-независимой семантикой языка (предложение) и контекстно-зависимой (высказывание).

Поэтому в вырожденных случаях книга и зеркало способны заменять друг друга. Так, в одном из вариантов сказки о Елене Премудрой (Афанасьев, № 236) герой прячется в волшебной книге, а в другом варианте (№ 237) — за зеркалом. Некоторые волшебные книги напоминают зеркала, а некоторые зеркала — волшебные книги. Так, книга в одной из афанасьевских сказок (№ 154) — это скорее зеркало, ее способен прочесть и неграмотный. В уже упомянутой сказке № 236 говорится: «Елена Премудрая развернула свою волшебную книгу, смотрела — книга ничего не показывает». Во времена немого кино в волшебном зеркале могли появляться титры. Свойство зеркала становиться книгой спародировано бр. Стругацкими — в романе «Понедельник начинается в субботу» волшебное зеркало ничего не показывает, а декламирует «Упанишады».

Случаи полной взаимозаменяемости зеркала и книги возможны при утрате ими специфических свойств. Но ни о какой вырожденности не может идти речи в тех, куда более многочисленных случаях, когда отражение сопровождается звучанием и говорением. Л. А. Абрамяном был собран богатый этнографический материал, показывающий тесную связь между видением и слышанием [Абрамян 1983]. Применительно к интересующему нас отражению в зеркале можно упомянуть о китайских металлических зеркалах: они имели сферическую форму, чтобы глядящийся одновременно мог слышать и свое эхо, отраженный звук, то есть получить свой еще и звуковой портрет. В новелле Ван Ду «Древнее зеркало» (сб. «Танские новеллы». М., 1960) особо подчеркнута связь зеркала со звоном; это же зеркало способно говорить, приснившись во сне. Особенно показателен миф о Нарциссе и нимфе Эхо, где сплетены воедино три очень характерных мотива — двойничества, отражения и звучания / говорения.

Поэтому не должно показаться неожиданным появление у Пушкина зеркала, которое не показывает, но только говорит: «Свойство зеркальце имело: Говорить оно умело». В «Сказке о мертвой царевне и семи богатырях» зеркало ничего не показывает, оно только говорит. Отказ от иконического и изобразительного в пользу символического и вербального в данном случае особенно показателен потому, что, как можно судить по другой сказке, «Сказке о золотом петушке», мотив волшебной книги оставил Пушкина равнодушным. Во всяком случае, волшебная книга не оставила в этой сказке никаких следов, хотя в послужившей Пушкину источником «Легенде об арабском звездочете» В. Ирвинга могущество звездочета основывается на обладании такой книгой и умении ею пользоваться³⁷.

³⁷ Заметим, что волшебная книга в «Легенде» Ирвинга творит мнимый, кажущийся мир, то есть создает то, что присуще создавать зеркалу. Кроме того, очень характерный для «Легенды» мотив сна и дремы также обычно связывается с зеркалом, а не с книгой. Идея «мнимости» Пушкиным как раз таки сохранена: «А царица вдруг пропала, / Будто вовсе не бывало». Сказка о золотом петушке» особо показательна, если сопоставить ее с источником, «Легендой об арабском звездочете» Ирвинга — у Ирвинга никто из героев не погибает, наличествующие в тексте-источнике мотивы волшебной книги

Обратимся непосредственно к «Сказке о мертвой царевне». В сказке зеркало говорит шесть раз: в первый и пятый (t_1, t_5) на вопрос царицы: «Я ль на свете всех милее, / Всех румяней и белее?» зеркало отвечает одинаково: «Ты, конечно, спору нет; / Ты, царица, всех милее, / Всех румяней и белее». В остальных случаях зеркальце отвечает (с некоторыми лексическими вариациями): «Ты прекрасна, спору нет; / Но царевна всех милее, / Всех румяней и белее».

Нетрудно заметить, что зеркальце выступает как пропозициональная функция, или предикат: « x — всех милее, всех румяней и белее», где переменная « x » может принимать различные значения в различные моменты времени. (Опускаем несущественные подробности, связанные с двухместностью функции и конъюнкцией предикатов, в дальнейшем для краткости будем использовать предикат «быть прекрасней всех».) Переменная — это тот индивид (а не имя индивида), при постановке которого пропозициональная функция имеет истинностное значение, то есть может быть истинной или ложной. Поскольку от зеркала требуют говорить только правду («Свет мой, зеркальце, скажи, / Да всю правду доложи»), то место переменной замещает только тот индивид, при котором пропозициональная функция приобретает значение «истинно». Таким образом, зеркальце предназначено выделить тот индивид, который в данный момент времени (момент вопрошания царицы = момент говорения зеркала) является прекраснее всех.

В терминах логической семантики это значит, что пушкинское зеркальце есть не что иное, как метафора такого фундаментального логико-лингвистического понятия, как предикат, или пропозициональная функция. Эта функция определена на некотором множестве миров $w_1 \dots w_6$, задаваемых дейктической координатой времени говорения $t_1 \dots t_6$. Зеркальце выделяет тот индивид, который прекраснее всех в данный момент времени в данном мире. Царица прекраснее всех (= единственный индивид, при котором пропозиция истинна) в тех мирах и в те моменты времени, в которых царевна не существует: в t_1 царевна еще ребенок, в t_5 — она спит

и вечного сна у Пушкина отсутствуют. Подобное сопоставление дано в классической статье Анны Ахматовой [Ахматова 1931], анализ этих сопоставлений дан нами в [Золян 2012b].

мертвым сном. Царевна же прекраснее всех во всех мирах, в которых она существует, так что предложение «Царевна существует, и Царевна прекраснее всех» приобретает черты необходимо истинного высказывания³⁸.

Другой предикат, «быть прекрасной», выделяет один и тот же индивид — царицу («Ты прекрасна, спору нет»). Этому предикату соответствует постоянный аргумент «ты», семантизируемый относительно постоянной дейктической координаты адресата. Зависимость пропозициональной функции не только от координаты времени, но и от координаты адресата дополнительно свидетельствует о контекстной обусловленности высказываний зеркальца.

Говорящее зеркальце без особых трудностей можно преобразовать в более обычное, показывающее. Легко представить волшебное зеркальце, которое в моменты смотрения t_1 и t_5 отразит царицу, а в моменты $t_{2,3,4,6}$ — царевну. В таком случае еще более явно проявится предикативная «специализация» зеркала подставлять один и только один объект в качестве значения переменной от единственной пропозициональной функции. Семантические свойства зеркала от такой трансформации не изменятся — стало быть, семиотически существенен не код, вербальный или иконический, а сам принцип семантизации.

Имеет смысл подумать и над тем — так ли уж полностью лишено отражательных свойств пушкинское зеркальце? Ведь после того как царица разбивает зеркальце, она почти сразу же умирает: «... Об пол зеркальце разбив, / В двери прямо побежала / И царевну повстречала. / Тут тоска ее взяла, / И царица умерла». Это место представляет особый интерес. И в сказке бр. Гримм, и в русских сказках о говорящем зеркальце (Афанасьев, № 211, частично 210) мачеха умирает в результате наказания. М. К. Азадовский прокомментировал данное место так:

³⁸ Напомним, что необходимость принято определять как истинность во всех мирах. Учитывая соотношенность сюжетных ролей и признаков, можно в самом деле говорить о сюжетной необходимости, ибо в сказке падчерица всегда оказывается «прекраснее всех» в тех мирах, в которых она существует как персонаж — то есть, во всех сказках о падчерицах.

Отметим еще одну деталь, которая особенно убедительно свидетельствует, что Пушкин пользовался французским переводом, а не немецким оригиналом. В гриммовской сказке мачеху заставляют надеть раскаленные туфли, она танцует в них до тех пор, пока не падает мертвой на землю; во французском переводе это смягчено: мачеха со злости заболела и умерла. Так же и у Пушкина: «Тут ее тоска взяла, и царица умерла» [Азадовский 1938: 84].

Так ли «так же и у Пушкина»? Ведь у Пушкина ничего не говорится о болезни — царица умирает чересчур быстро. Правда, отрицательным персонажам пушкинских сказок в целом свойственно умирать довольно быстро, но в данном случае в такой смерти, столь быстро наступившей после разбития зеркала, можно увидеть воспроизведение весьма архаичного представления о связи между человеком и его двойником-иконом: тенью, отражением, изображением. Магические операции над отражением / изображением приводят к соответствующему результату в действительности. Отсюда, кстати, приметы и обычаи, связанные с зеркалом, в том числе и до сих пор популярная примета относительно разбитого зеркала (см.: [Фрэзер 1986: 186–187]). Поэтому, если царица умирает после того, как она разбила зеркало, стало быть, зеркало не только всезнающий собеседник царицы, но и непосредственно ее двойник³⁹. Предполагается, что отражение продолжает существовать в зеркале, поэтому, разбив зеркало, тем самым уничтожив своего оставшегося в зеркале двойника, должна была умереть и сама царица. А если царица умерла сразу после того, как она разбила зеркало, то можно предположить, что зеркало было способно не только говорить, но и отражать, и сохранять отражаемое. Тем самым в «Сказке» можно усмотреть рудиментарное проявление «двойнической» функции зеркала, которая основывается на его свойстве отражать. (Ср.: «Литературным адекватом мотива зеркала является тема двойника» [Лотман 1981б: 15].) Отражение продолжало существовать, пока царица не разбила зеркало.

³⁹ О связи двойника со всезнающим собеседником см. в [Абрамян 1983: 145 и далее]. Там же показана и роль зеркала в похоронных и свадебных обрядах. См. также [Большаков 1985], где связь между всеведущим собеседником и вторым «я» иллюстрируется на древнеегипетском материале.

С мотивами, близкими к мотиву волшебного зеркала, в творчестве Пушкина мы встречаемся еще не раз, причем, как правило, — в «простонародном» обрамлении. Это — сцены гадания и сна Татьяны, а также баллада «Жених». Не вдаваясь в рассмотрение их фольклорных и литературных источников (см.: [Лотман 1980: 262–274]), рассмотрим собственно семиотику описанной в них магии. Если зеркало из «Сказки» представляет собой пропозициональную функцию, зеркало-предикат, то в этих случаях вещей сон (реалистически мотивированный аналог волшебного зеркала, символ «бессознательного знания» — см.: [Гершензон 1926]) и используемое для гаданий зеркало выполняют функцию имени. Его назначение — установить референтную тождественность индивидов из различных миров, причем и в этом случае это миры, относящиеся к различным временам. Сон или зеркало отражает актуальный мир, но в иной момент времени — в прошлом или будущем относительно момента времени смотрения в зеркало или момента сновидения. При этом «отражается» не столько мир, сколько референтно тождественные индивиды. Референциональная тождественность индивидов устанавливается посредством индивидуального концепта — т. е. функции, соотносящей именное выражение с индивидом и приписывающей любому возможному миру данный индивид в данном мире. Сон, зеркало или сон в сочетании с зеркалом, которое кладется под подушку, — все это метафоры для семантического механизма, который соотносит индивиды из различных миров, а не выделяет их, как было в предыдущем случае. В частности, так устанавливается кореферентность именных выражений «жених Наташи» и «убийца»⁴⁰ или «Онегин» — «атаман разбойников» — «убийца Ленского» и т. п.

⁴⁰ Он, поравнявшись, поглядел,
Наташа поглядела,
Он вихрем мимо пролетел,
Наташа помертвела.
Стремглав домой она бежит.
«Он! он! узнала! — говорит, —
Он, точно он! держите,
Друзья мои, спасите!»

Зеркало или сон показывают, кем является некоторый заданный индивид в некотором ином мире. При этом «иной» мир может быть тем же актуальным миром, но в отличный момент времени («Жених», где актуальное прошлое задается как сон, как некоторый ирреальный мир), так и метафорически описанным актуальным будущим (сон Татьяны). Еще более явно «именная» функция зеркала проявляется в сцене гадания, когда требуется установить, какой индивид из множества индивидов, существующих в момент гадания, является женихом гадающей, но уже в мире будущего.

Здесь уместно вспомнить проведенное З. Вендлером разграничение между фактом и пропозицией [Vendler 1975]. Референтная тождественность именных выражений (например, «Иокаста» и «мать Эдипа») не может быть установлена лингвистическими средствами. Поэтому из того, что Эдип знает, что он женат на Иокасте (это — пропозиция), не следует, что он знает, что он женат на своей матери (это — факт). Вместе с тем семантика выражений «Иокаста» и «мать Эдипа» тождественна, и трагедия Эдипа обусловлена незнанием семантики этих языковых выражений. Это — частный случай фундаментального для семантики пропозициональных установок парадокса всеведения: логические законы приписывают субъекту пропозициональной установки всеведение, которым он конечно же не обладает. Волшебные средства как бы призваны восполнить этот недостаток, что вновь приводит нас к проблеме соотносительности зеркала с всеведущим двойником-собеседником. Внеязыковая кореферентность выражений «Иокаста» и «мать Эдипа» устанавливается всеведущим наблюдателем, в данном случае — прорицателем Тиресием.

В отличие от разбираемого Зено Вендлером случая, зеркало или сон эксплицируют семантику именных выражений относительно различных моментов времени. В тот момент, когда Татьяна видит сон, Онегин еще не был убийцей Ленского, поэтому соответствующая дескрипция «убийца Ленского» в тот момент еще была референтно пуста.

Другое существенное отличие заключается в типе именных выражений и характере их семантизации. Подобно местоимению «я», которое обозначает того, кто говорит «я», используемое для гаданий зеркало показывает всякий раз «моего жениха», то есть

жениха той, кто смотрит в зеркало. Само по себе обычное зеркало и ведет себя как местоимение «я» — показывая того, кто в него смотрит. Но это, так сказать, иное «я» — «я-двойник», «я в ином мире», «я со стороны», — а последнее «я» — это уже «он». (Ср.: «Зеркало — это сквозная ахматовская метафора для обозначения (текстобразующего) взгляда на себя самое со стороны» [Тименчик 1981: 72].) Тем самым уже обычное зеркало содержит возможность перемещения в «иной» мир и одновременно прослеживания себя в ином мире, но физически находясь в «этом»⁴¹.

В данной связи напрашивается аналогия с «двойниковой семантикой», разрабатываемой Д. Льюизом и Д. Капланом. Проблема межмировой идентификации в этой теории предстает как проблема нахождения двойников некоторого индивида в различных мирах. И в соответствии с обыденными представлениями о двойниках, которые полагаются не тождественными друг другу, в этой версии модальной семантики предполагается, что межмировая идентификация — это не отношение идентичности в строгом смысле, а проблема нахождения двойника посредством задающего межмировую линию индивидуального концепта [Kaplan 1979: 100]. Если так, то семантика имени основывается не на идентичности выделяемых индивидов, а именно на отсутствии такой идентичности. В самом деле, уже простейшее соотнесение — идентификация «я» с «я-в-зеркале» — совсем не тривиально (ср. со стихотворением В. Ходасевича «Перед зеркалом»: «Я, я, я. Что за дикое слово! / Неужели вон тот — это я?»). В случае волшебного зеркала идентификация становится уже чисто семиотической операцией. В зеркале отражается двойник, и в качестве такового может выступать не «я», а «мой жених» («моя жена»). То, что муж и жена выступают как единое целое, как две половины, относящиеся друг к другу как двойники, хорошо известно в этнографии и паремиологии. Интересно, что в ряде обрядов вступающие в брак предварительно смотрят в одно зеркало [Абрамян 1983: 145]. Зеркало выступает не

⁴¹ Ср.: «С этим можно было бы сопоставить обширную литературную мифологию отражений в зеркале и Зазеркалья, уходящую корнями в архаические представления о зеркале как окне в потусторонний мир» [Лотман 1981: 15].

просто как индивидуальный концепт имени, т. е. как функция от миров к индивидам, а как дейктически задаваемая функция от миров и контекстов к индивидам в других мирах и контекстах. «Сейчас» передвинуто в прошлое или будущее, а «я» замещается двойником, в качестве которого может выступить «мой (будущий) жених».

Несколько иронично изображенное Пушкиным гадание может быть представлено как функция, которая при определенных контекстах гадания (время, место, гадающий, вопрошаемый) соотносит именное выражение «мой жених» с именем собственным «Агафон», и, соответственно, индивида по имени Агафон и еще не существующего в качестве жениха гадающей индивида — жениха из будущего⁴². В отличие от зеркала «Сказки», в котором время контекста и время отображения синхронизированы, суть гадания — в рассогласовании этих времен. Результат гадания представим в виде функции: x — *мой жених*, где при данных контекстных координатах « x » принимает значения: а) пустой элемент — в момент гадания; б) Агафон — в будущем.

Именное зеркало сводимо к предикатному в тех случаях, когда задаваемое зеркалом именное выражение является дескрипцией («мой жених», «убийца Ленского»), а не именем собственным. Как было показано С. Крипке, дескрипция изменяется от мира к миру и в различных мирах может выделять различные индивиды. Имя собственное выделяет один и тот же индивид во всех мирах, в которых данный индивид существует. Онегин при всех возможных течениях событий остается Онегиным, тогда как при другом течении событий убийцей Ленского мог стать, скажем, Зарецкий. Или же Ленского никто бы не убивал, и соответствующая дескрипция «убийца Ленского» не выделяла бы ни одного индивида в рассма-

⁴² Ср.: «Татьяна на широкий двор / В открытом платьице выходит, / На месяц зеркальце наводит; / Но в темном зеркале одна / Дрожит печальная луна... / Чу... Снег хрустит... прохожий; Дева / К нему на цыпочках летит / И голосок ее звучит / Нежней свирельного напева: — **Как ваше имя?** Смотрит он / И отвечает: **Агафон**». Пушкин дал следующее примечание к этой строфе: «Таким образом узнают имя будущего жениха». Примечательно, что зеркало и в этом случае связано с ситуацией говорения и вопрошания, хотя функция отвечать вынужденно, из-за отсутствия волшебного зеркала, отводится гадающей («деве») и случайному прохожему.

триваемом мире (ср. с возможными продолжениями «биографии» Ленского — гл. VI, строфы XXXVII–XXXVIII).

Если индивид задается дескрипцией, то вначале необходимо определить мир, чтобы затем по соответствующей дескрипции «найти» в нем индивида. Например, требуется, чтобы Ленский был убит, только тогда дескрипция «убийца Ленского» выделит некоего индивида. Когда же индивид задается именем собственным, мир «выстраивается» вокруг него — как те гипотетические миры, в которых Ленский — то великий поэт, то заурядный помещик, или же миры, в которых он мог умереть, как Кутузов, Нельсон, Наполеон, «иль быть повешен, как Рылеев» (черновая редакция строфы XXXVIII)⁴³. Речь идет во всех этих случаях именно о Ленском в контрфактической ситуации, а не о ком-то ином с той же фамилией.

Примеров «имясобственного зеркала» в творчестве Пушкина мы не нашли, поэтому проиллюстрируем работу такого зеркала на другом материале. Такое зеркало появляется в тех случаях, когда требуется установить, кем был или будет заданный именем соб-

⁴³ Ср.: «Строфы xxxvii–xxxix дают два варианта возможной судьбы Ленского — поэтико-героической и прозаической. Для Пушкина важна мысль о том, что жизнь человека — лишь одна из возможностей реализации его внутренних данных и что подлинная основа характера раскрывается только в совокупности реализованных и нереализованных возможностей. Это заставляло Пушкина многократно возвращаться к одним и тем же художественным типам, варьируя обстоятельства их жизни, или мысленно переносить исторических деятелей в другие условия. Так, посылая Д. В. Давыдову “Историю Пугачева”, он, уступая привычному ходу мысли, сразу же стал рисовать, как выглядел бы Пугачев в партизанском отряде в 1812 г.:

В передовом твоём отряде
Урядник был бы он лихой.

Такая специфика построения характера пушкинских героев снимает вопрос о том, какая из двух несостоявшихся судеб Ленского вероятнее, ибо в момент смерти в нем были скрыты обе возможности. Что бы ни осуществилось, вторая возможность осталась бы нереализованной, раскрывая в романтическом герое возможную обыденную пошлость или в рутинном помещике — скрытого героя» [Лотман 1980: 308]. Можно привести и другие многочисленные примеры интереса Пушкина к прослеживанию индивидов в контрфактических ситуациях.

ственным индивид — именно он, а не его двойник — при ином течении событий (в ином мире). Вспомним многочисленные китайские и индийские притчи, в которых наставник ввергает ученика в некую «мнимую» жизнь, пережив которую ученик обращается к истине; аналогичны и сюжеты о прежних жизнях души.

Простейшей иллюстрацией работающего по «имясобственному» принципу будет зеркало (или его аналог — например, яблочко), показывающее, что происходит с интересующим смотрящего героем в ином мире. В вышеупомянутой сказке Елена Премудрая благодаря зеркалу всякий раз обнаруживает Ивана — пока тот не спрятался за зеркало. Заметим, что фольклорные говорящие зеркала (как русские, так и бр. Grimm), в отличие от пушкинского, совмещают предикатную и именную функции: они не только отвечают, кто та, что прекраснее всех, но и указывают, где она находится. (Ср.: «А есть у тебя падчерица, живет у двух богатырей в дремучем лесу, — та еще прекраснее», — Афанасьев, № 211.) Зеркало-дескрипция рассогласует временные координаты. Зеркало — имя собственное изменяет пространство или мир, обычно оставляя неизменными временные координаты, почему, кстати, и возможно совмещение его с зеркалом-предикатом. Задан индивид (в чистом случае — через имя собственное, в совмещенном — через предикат, выделяющий это имя), а зеркало служит как функция, выделяющая данный индивид в ином мире (пространстве) при тождественных временных координатах. «Здесь», т. е. место, где установлено зеркало, заменяется на «там», и зеркало «сейчас» (в момент смотра «здесь») отражает то, что происходит «там», выделяя находящегося «там» индивида. Современная техника позволяет частично (применительно к прошлому) воплотить это: например, в виде телевизора, по которому я «здесь» и «сейчас» вижу себя же, но «там» и «тогда» (запись моего вчерашнего выступления), или же обвиняемому на суде показывают видеозапись его прошлогоднего преступления, совершенного в другом городе. Монитор уподобляется волшебному зеркалу, показывающему находящемуся *здесь и сейчас* индивиду его же, но *там и тогда*.

Как правило, различие между «здесь» и «там» идеологизируется, причем идеологизируется модально. Противопоставление между «здесь» и «там», как правило, коррелирует с проти-

вопоставлением видимого / невидимого, явного / сущностного, внутреннего / внешнего, доброго / злого и т. п.⁴⁴ Зеркало (или сон) в этих случаях показывает сущность индивида. Катерина из «Страшной мести» Гоголя во сне узнает, что ее отец и колдун — одно и то же лицо. Сон Катерины — способ установить, кем является ее отец на «самом деле». «Душа» Катерины (а это и есть alter ego), которая ведаёт больше, чем известно о том самой Катерине, и есть всеведущий наблюдатель-семантик, способный установить кореферентность имен «мой отец» и «колдун». Катерину не интересует, кто бы мог быть ее отцом при ином течении событий, она заинтересована узнать, кем именно является ее отец.

Обычно то, что отражается в зеркале, — это мнимый, кажущийся мир. Но если представить, что актуальный мир есть мнимое, кажущееся отражение истинного мира, то ситуация меняется, и зеркало в этом случае отразит истинную суть смотрящего в него. Речь опять-таки идет об именном, даже местоименном зеркале, «жестко» задающем индивиду (в духе теории «жестких десигнаторов» С. Крипке). В вышеупомянутой новелле Ван Ду прекрасная девушка отражается в зеркале лисицей, потому что она оборотень. Неверно, что она лисица в одних мирах и девушка в других — нет, она лисица во всех мирах, только в некоторых она внешне походит на девушку. Отражившись в волшебном зеркале, она не может оставаться далее в человеческом облике, превращается в лисицу и умирает. Точно так это же зеркало «разоблачает» и убивает других оборотней: петуха, крысу, обезьяну, черепаху. Поскольку это зеркало выявляет внешне невидимую суть, то в нем можно увидеть и внутренние органы человека.

Интересна в этом отношении «Третья симфония» Белого, для которой принцип зеркальной симметрии становится текстообразующим [Мельникова, Минц 1984]. Именные зеркала «Симфонии»

⁴⁴ См. также: «Изменяя по законам зеркального отражения (энантиоморфизма) образ персонажа, двойник представляет собой сочетание черт, позволяющих увидеть их инвариантную основу, и сдвигов (замена симметрии правого-левого может получать исключительно широкую интерпретацию самого различного свойства: мертвец — двойник живого, не-сущий — сущего» [Лотман 1981: 15].

трансформируют миры комплексно — в модальном, временном, пространственном и даже языковом отношении. Герой «Симфонии» Хандриков в зеркалах и на водной поверхности видит себя в разных мирах. Важно заметить, что эти миры образуемы языковыми средствами: то, что в одном мире является референтом «прямого» выражения, в другом — референтом метафорического. В принципе все миры описываются одними и теми же выражениями, различающимися, однако, интерпретацией — прямой или метафорической (ср.: [Кожевникова 1983]). Зеркало отражает изменяющегося от мира к миру Хандрикова. Иногда изменения незначительны: в одном случае, отражаясь в противоположных зеркалах, Хандриков от отражения к отражению становится все зеленее, так что в последних видимых отражениях он совсем зеленый. В другом случае веселящиеся Хандриков и его друзья отражаются в зеркале мрачными и угрюмыми. Наконец, в финале Хандриков, отражаясь в воде, видит ребенка — того, кем он был в изначальном мире. Тем самым зеркало показывает не внешнее проявление, а истинное состояние (мрачность и угрюмость якобы веселящихся) и даже изначальную суть Хандрикова. По принципу зеркала, прослеживающего индивиды-двойники сквозь миры, строится и самосознание Хандрикова, например: «...где-то в иных вселенных отражаю я, и там живет Хандриков, подобный мне»; «Все Хандриковы, посеянные в пространстве и периодически возникающие во времени, одинаково моются» (подробнее см. в [Золян 1995]).

Этим комплексным зеркалом мы хотим закончить рассмотрение конкретных волшебных зеркал (примеры нетрудно продолжить). Попробуем описать теперь общую формальную семантику волшебного зеркала. В обычном «физическом» зеркале отражение и отражаемое и тождественны, и отличны: левое становится правым, правое — левым. Если же изменять кривизну поверхности зеркала, то отражение будет подвергаться дальнейшей трансформации. Примерно такой же процесс изменения объекта наблюдается и в семиотическом зеркале: начиная с «обычного» текстообразующего зеркала, в котором происходит изменение семиотических признаков (хорошее — плохое, внешнее — внутреннее и т. п.), и кончая волшебным. Степень изменения объекта также определяется функцией, соотносящей различные отобра-

жения, но, естественно, это не физическая, а семантическая функция, отношение: это ключевое для модальной семантики понятие достижимости, отношения между мирами. Отраженный мир, который виден в зеркале, — это тот же мир, что и отражаемый, но взятый при определенной модальности — временной, пространственной, сущностной (эссенциалистской). Волшебное зеркало выступает как модальный оператор, преобразующий одну пропозицию в другую.

Но это — лишь первое приближение. Зеркало не только соотносит миры в целом, но и позволяет проследить в них индивида. Оно оказывается идеализованным аналогом именного или предикативного выражения языка, семантика (интерпретация) которого определена в исходном мире, предстоящем пред зеркалом и отраженном в нем. Зеркало выделяет соответствующий языковому выражению индивид в отраженном мире. Лишь после того, как на место переменной пропозициональной функции подставляется индивид, зеркало становится модальным оператором, соотносящим образованную пропозицию с исходной. Первая, модальная, функция зеркала основывается на второй, семантической.

Семантическая функция зеркала — выделять и проследить индивиды сквозь возможные миры, а это — ключевая проблема модальной семантики. Не случайно, что для обозначения соответствующих формальных аппаратов уже были предложены такие «волшебные средства», как «рентген-аппарат», позволяющий видеть «чистую», сохраняющуюся во всех мирах сущность индивида (эссенциалистская семантика), и «жюльверноскоп», позволяющий описать внешне проявляемые свойства индивидов в других мирах («двойниковая» семантика). (Эти волшебные средства были предложены в [Kaplan 1979], приняты в [Lewis 1983]; спародированы в [Hintikka 1972; Крипке 1983].) К этим волшебным средствам можно добавить и «машину времени», позволяющую проследить индивида в различные моменты времени вплоть до момента «сращения», как то предполагает т. н. каузальная теория имени. Нетрудно видеть, что волшебное зеркало выполняет функции всех этих средств, и, в этом смысле, «наивная», «сказочная» модель семантики объединяет в себе различные теоретические подходы.

Однако сама семантическая функция зеркала основана на третьей, прагматической, точнее, прагмасемантической, дейктической функции. Ведь зеркало семантизирует языковые выражения обязательно относительно определенного контекста. В качестве контекста выступает отражаемый мир в момент отражения, мир с его «я», «здесь», «сейчас» и, возможно, «ты». Уже семиотическое зеркало должно трансформировать эти дейктические координаты в зеркально симметричные им. Отраженная ситуация — это та же, что и отражаемая, но увиденная со стороны. (Отсюда близость зеркала к функции всеведущего наблюдателя, который, сам будучи инкорпорирован в контекст как его центральная «Я-координата», всегда в состоянии правильно выделить референт языкового дейктического выражения.) Поэтому контекстные координаты смещаются — «я» из контекстно-зависимой координаты становится «я со стороны», то есть это уже скорее «он» или же имя собственное, обозначающее говорящего в данном контексте («Я» — «Сурен Золян», «я» — «Хандриков»), «здесь» — становится «здесь со стороны» и т. п. (ср.: [Perry 1979]). Дейктические выражения заменяются контекстно-независимыми именами.

Волшебное зеркало изменяет дейктические координаты более радикально: происходит не замена дейктической координаты соответствующей ей контекстно-независимой, а изменение самой дейктической координаты. «Я» оказывается моим двойником, существующим независимо от меня, «сейчас» передвинуто в прошлое или будущее, «здесь» перемещается в «там», актуальный мир, то есть мир, где я сейчас нахожусь [Lewis 1979], преобразуется в истинный или мнимый.

Сама ситуация говорения есть остенсивная пропозиция: «Я есмь говорящий здесь и сейчас» [Атаян 1985]. Определяя контекст как пропозицию, можно определить семантику высказывания как функцию от пропозиции к пропозиции, а семантику имени — как функции от контекстной пропозиции к индивидам [Cresswell 1979]. На основе первой, прагматически тавтологичной пропозиции «Я сейчас здесь говорю» семантизируются выражения, составляющие вторую пропозицию, содержание речи. В случае волшебного зеркала всегда сохраняется первая, контекстная,

пропозиция, почему мотив говорения как бы заложен в семиотической организации зеркала.

Ограниченность выразительных средств волшебного зеркала объясняется его теснейшей связью с контекстом, который оно и призвано отразить. Но самое существенное то, что остенсивная пропозиция принимает значение не в том мире-контексте, в котором происходит коммуникация, а в ином. Поэтому тавтологичное «Я сейчас здесь» заменяется конкретными и неведомыми для смотрящего «там», «тогда», «второе “я”». Происходит расщепление мира и контекста, благодаря чему возможны пропозиции типа «я в будущем», «я-неродившийся в ином мире» и т. п. (ср.: [Lewis 1981]).

Обычно семантика переменной из остенсивной пропозиции осложнена семантикой именного или предикативного выражения («прекрасней, чем я», «мой жених», «Хандриков»). В этих случаях специализация зеркала предельно узка — она указывает значение данного выражения во всех возможных контекстах / мирах. Сама необходимость смотрения в зеркало говорит о том, что выражения семантизируются относительно я-смотрящего, поэтому, по аналогии с эгоцентрическими словами языка, можно говорить об эгоцентричности всех семантизируемых зеркалом выражений.

Две первые, модальная и семантическая, функции основываются на третьей, прагматической, применительно к которой можно говорить о зеркально-симметричном преобразовании таких фундаментальных характеристик высказывания, как «я — здесь — сейчас». Описывая зеркало как семиотическое устройство, мы фактически описывали семантику высказывания. Зеркало и есть метафорическое, овеществленное описание семантики, то есть означаемого высказывания. Поэтому языковые средства выражения (то есть означающие высказывания) могут оказаться необязательными — зеркало отражает значения знаков, а не знаки, само выражение как бы уже вмонтировано в зеркало. Зеркало при таком подходе выступает как модель не столько естественно-языковой, сколько логической семантики. Но, с другой стороны, столь тесная связь с высказыванием показывает, почему так часто зеркала говорят — когда отражение в зеркале сопровождается говорением или эхом, то есть отраженным звуком, или даже иногда звучание заменяет отражение, как в сказке Пушкина.

Отраженный звук, повторенное дейктическое выражение изменяет свою семантику. «Ты бежишь от меня» в устах нимфы Эхо значит совсем иное, чем значило это выражение в устах Нарцисса. Повторенное нимфой «я» — это «она» или «ты» для Нарцисса, хотя исходно сказанное «я» указывало на самого Нарцисса⁴⁵. Так, в мифе о Нарциссе даны в едином комплексе не только мотивы «двойник — отражение — говорение», но и вскрыт механизм сдвига контекстных координат, дейктической зеркальной симметрии. Но это — самый обычный сдвиг значения при употреблении в различных контекстах эгоцентрических слов. Напрашивается мысль, что волшебное зеркало сконструировано путем дополнения воспроизводящей подобие иконической семиотики предложения⁴⁶ принципами изменяющейся от контекста к контексту семантики индексальной семиотики высказывания.

⁴⁵ Ср.: «380. Крикнул: “Здесь кто-нибудь есть?” И, — “Есть!” — ответила Эхо. Он изумился, кругом глазами обводит и громким Голосом кличет: “Сюда!” И зовет зовущего нимфа. Он огляделся и вновь, никого не приметя, — “Зачем ты, — Молвит, — бежишь?” И в ответ сам столько же слов получает...»

«390. Он убегает, кричит: “От объятий удерживай руки! Лучше на месте умру, чем тебе на утеху достанусь!” Та же в ответ лишь одно: “Тебе на утеху достанусь!”...»

«461. И, как могу я судить по движениям этих прелестных Губ, произносишь слова, но до слуха они не доводят. Он — это я! Понимаю. Меня обмануло обличье!..»

«493. Тела не стало его, которого Эхо любила, Видя все это, она, хоть и будучи в гневе и помня, Сжалилась; лишь говорил несчастный мальчик: “Увы мне!” — Вторила тотчас она, на слова отзываясь: “Увы мне!” Если же он начал ломать в отчаянье руки, Звуком таким же она отвечала унылому звуку, Вот что молвил в конце неизменно глядевшийся в воду: “Мальчик, напрасно, увы, мне желанный!” И слов возвратила Столько же; и на “прости!” — “прости!” ответила Эхо» (*Овидий. Книга третья. Метаморфозы / Пер. С. В. Шервинского. Стихи 380–500*).

⁴⁶ Ср.: «Предложение — образ действительности. Предложение — модель действительности, как мы ее себе мыслим» [Витгенштейн 1958: 4.01].

4. МАГИЧЕСКОЕ У ПУШКИНА — СЕМАНТИКА И ПОЭТИКА (МАГИЯ РУКОПИСИ)

В духе неоднократно описанных Ю. М. Лотманом механизмов семиотической мультипликации мира магия может быть рассмотрена как семиотический механизм трансформации действительности посредством некоторых знаковых операций. Семантикой текста, его предметной областью, оказываются как минимум два мира, связанных определенным модальным отношением достижимости (мир здесь — мир там, мир-в-прошлом — мир-в-будущем, сон — явь и т. д.). Это значит, что некоторый мир есть (про-образ, отражение, искажение, преобразование некоторого другого и т. д. Такой принцип можно считать общим и для поэтической семантики в целом (актуальный мир — художественный вымысел), с той существенной разницей, что в поэзии высказывание не претендует на реальное воплощение (реальное существование) и на реальную референцию к описываемой предметной области, тогда как цель магического текста — в изменении существующей и создании новой реальности. Это — основа для создания таких расхожих метафор, как «магия слова», «волшебный мир поэзии» и т. п.⁴⁷

⁴⁷ Ср.: «Есть магические слова, магические вне смысла, одним уже звучанием своим — физически-магические — слова, которые, до того как сказали — уже значат, слова — самознаки и самосмыслы, не нуждающиеся в разуме, а только в слухе, слова звериного, детского, сновиденного языка. Есть одно слово, которое Пушкин за всю повесть ни разу не назвал и которое одно объясняет — все. Чара» [Цветаева 1980: 368].

Очевидно и сходство между поэтической и магической функциями языка, которое распространяется и на преобразование языковых означающих. Но при этом в случае поэтической функции оказывается достаточным сугубо лингвистическое существование поэтического мира — в форме языкового текста, тогда как при магической язык (текст) служит инструментом для создания или изменения внеязыковой реальности. Поэтому, при подобном определении, сфера магического в художественном творчестве, в частности у Пушкина, — это не только и не столько описание обрядов, гаданий, суеверия самого Пушкина, сколько те поэтические средства, призванные представить вымышленное как существующее, наделить его существованием.

В предыдущем разделе на примере говорящего зеркальца из «Сказки о мертвой царевне» мы попытались описать семантические механизмы порождения внетекстовой реальности. Здесь же остановимся на другом ключевом миропорождающем механизме — рукописи.

Анализ пушкинского творчества приводит к выводу: если поэтика наделяет существованием вымышленный мир и делает его частью актуального мира, то, если следовать логике пушкинских произведений, все то, что создается «традиционными» магическими средствами, напротив, есть только видимость и исчезающая иллюзия. Так, обладание секретом графини приводит Германна к разорению и сумасшествию («Пиковая дама»)⁴⁸, без следа исчезает дворец старухи в «Сказке о золотой рыбке», волшебное зеркальце не помогает царице («Сказка о мертвой царевне»), от домика на Васильевском остается лишь пустое место («Уединенный домик на Васильевском»)⁴⁹, золотой петушок убивает царя, погибают

⁴⁸ «Германн сошел с ума. Он сидит в Обуховской больнице в 17-м номере, не отвечает ни на какие вопросы и бормочет необыкновенно скоро: “Тройка, семерка, туз! Тройка, семерка, дама!..”» (Пушкин, т. 8, 252).

⁴⁹ «Итак, невзирая на все старания команды, которой деятельным усилием в сем случае потомство должно, впрочем, отдать полную справедливость, уединенный домик Васильевского острова сторел до основания, и место, где стоял он, не знаю почему, до сих пор остается незастроенным» [Уединенный домик: 371].

и все остальные персонажи «Сказки о Золотом петушке». Концовка «Сказки» может служить обобщением создаваемого посредством «традиционной», «колдовской» магии у Пушкина в целом:

А царица вдруг пропала,
Будто вовсе не бывала (Пушкин, т. 3, ч. 1, 563).

Механизмы создания новых миров у Пушкина основаны на поэтике. Поскольку реальностью в процессе поэтической коммуникации является сам текст, то самое кардинальное проявление магического — это измененное соотношение между реальным миром, в котором создается текст, и миром, который данный текст описывает. Особенность пушкинской прагматики и семантики магического — это взаимопроницаемость различных по своей модальности миров, что проявляется и как принцип построения текста, и — только лишь как частный случай — как описание действия и воздействия магических средств (например, зеркало, вещей сон, гадание и т. п.). Такому принципу более соответствуют прозаические и ориентированные на прозу тексты.

Большинство прозаических произведений Пушкина и «Евгений Онегин» строятся на сознательном смещении актуального мира (исторический мир реального автора-говорящего) и художественного (мир персонажей). В первом мире событием является создание текста, во втором — то, что описывается (создается) этим текстом. Художественный текст и актуальный мир представлены как взаимопроницаемые семантические области, и именно взаимопроницаемость (а не отнесение их только к одному миру) определяет многозначную интерпретацию: существенным оказывается сам процесс референции к различным мирам, а не референт имени в некотором мире. Действует единый механизм — это превращение персонажа в автора, а автора — в персонажа⁵⁰. Говоря словами

⁵⁰ «Постоянная перемена местами персонажей из внетекстового мира (автор, его биографические друзья, реальные обстоятельства и жизненные связи), героев романного пространства и таких метатекстовых персонажей, как, например, Муза (персонифицированный способ создания текста) — устойчивый прием «Онегина», приводящий к резкому обнажению меры условности. ...Мы сталкиваемся с самыми необычными встречами: Пушкин встречается с Онегиным, Татьяна — с Вяземским. Муза поэта то при-

Борхеса, проанализировавшего подобные приемы в «Дон Кихоте»: «Подобные сдвиги внушают нам, что если вымышленные персонажи могут быть читателями или зрителями, то мы, по отношению к ним читатели или зрители, тоже, возможно, вымышлены» (эссе «Скрытая магия в Дон-Кихоте»). Разумеется, цель Пушкина — не столь парадоксальна, как то приписывает Сервантесу Борхес. Это не желание внушить нам, читателям Пушкина, идею о нашей вымышленности, а как раз напротив — создать иллюзию существования вымышленного в актуальном мире, что и было в свое время отмечено Ю. М. Лотманом:

Создавая «Евгения Онегина», Пушкин поставил перед собой задачу, в принципе, совершенно новую для литературы: создание произведения литературы, которое, преодолев литературность, воспринималось бы как сама внелитературная реальность, не переставая при этом быть литературой... Ставилась, таким образом, практически неосуществимая, но очень характерная как установка задача создать текст, который бы не воспринимался как текст, а был бы адекватен его противоположности — внетекстовой действительности [Лотман 1975: 444, 410].

Особенно интересно уже приведенное наблюдение Ю. М. Лотмана о том, что и в поэтическом мире «Евгения Онегина», и в актуальном мире Пушкина присутствует такой персонаж, как Муза — это «персонифицированный способ создания текста». Процесс создания текста отчужден от автора — будь то биографический Пушкин или же «я» поэтического текста (об их разграничении см.: [Золян 19886]), но тем не менее не остается анонимным. Ввиду чрезмерной экзотичности такого персонажа, как Муза, в качестве авторов выступают некие «якобы реальные» знакомые или знакомые знакомых Пушкина. Как правило, эти «знакомые» — не имеющие какой-либо значимой сюжетной роли исключительно авторы или передатчики «записок» и «рукописей», то есть, нося якобы «реальные» имена, тем не менее выступают не как персо-

существует, как мифологическая персонификация, на лицейском экзамене перед Державиным, то, отождествляясь с сюжетными героями, вмешивается в вымышленное действие романа, как бы совпадая с его героиней» [Лотман 1975: 81–82].

нажи, а, скорее, именно как «персонифицированный способ создания текста».

Следующий шаг после «персонификации способа создания текста» — это автономизация самого текста. Текст (или рукопись) оказывается средством «склеивания» художественного и актуального миров. И так, не только автор, персонаж и читатель, но и сама рукопись одновременно существует в двух мирах: она оказывается написанной в вымышленных поэтических мирах, но при этом оказывается представлена в мире актуальном. Присутствие рукописи в актуальном мире оказывается «свидетельством существования» также и «написавших» ее авторов. Это — функция рукописи не только создавать мир, включающий и «якобы-создателя» этого мира — автора данной рукописи (так, рукописи Белкина создают миры, в которых возникает и сам Белкин, и упоминаемые им знакомые), но и удостоверять существование их автора и персонажей.

У Пушкина эта функция — удостоверять существование — часто выступает как основная. Отсутствие рукописей обрекает на исчезновение. Единственное, что может быть сохранено, — это рукопись. В самом деле, если событийная реальность ирреальна и, наоборот, ирреальность событийна, то подлинной реальностью и подлинным событием становится сам текст — в том числе и в буквальном смысле — именно текст как физически наличествующая рукопись (письмо Татьяны, рукописи Белкина и Гринева, непечатанная комедия Грибоедова, «Роман в письмах», стихи Ленского и т. п.). Письменная фиксация — средство сохранить в нашем мире некоторое сообщение из «иного» мира. Наличие записи позволяет сохранить от уничтожения нематериальное и придать ему реальность, объективировать его. Так, Германн не полагается на свою память и прежде всего записывает свое видение («Германн возвратился в свою комнату, засветил свечку и записал свое видение» — Пушкин, т. 8, 248). Безотносительно к тому, явилась ли старуха к Германну или это был плод его воображения, остается некоторый материальный объект — записка Германна. Подобная логика переносится и на реальный мир. Даже при ином течении событий — если бы Пушкин был бы не Пушкиным, а Александром, то и это ничего бы не изменило в истории, но привело бы к появлению новых текстов — «поэм “Кочум” и “Ермак”»:

Когда б я был царь, то позвал бы Александра Пушкина и сказал ему: «Александр Сергеевич, вы прекрасно сочиняете стихи». Александр Пушкин поклонился бы мне с некоторым скромным замешательством, а я бы продолжал: «Я читал вашу оду “Свобода”. Она вся писана немного сбивчиво, слегка обдуманно, но тут есть три строфы очень хорошие...» Но тут бы Пушкин разгорячился и наговорил мне много лишнего, я бы рассердился и сослал его в Сибирь, где бы он написал поэму «Ермак» или «Кочум», русскими (другой вариант — «разными». — С. 3.) размерами с рифмами («Воображаемый разговор с Александром I» — Пушкин, т. 11, 23).

Восприятие текста как мира и мира как текста (рукописи, книги) — одна из фундаментальных метафор человеческой культуры [Зоян 2014: 89–97]. Здесь осуществляется синтез, с одной стороны, магии словесной («поэтической»), а с другой — «традиционной». В обоих случаях имеет место сознательное неразграничение, основанное на двойственной роли текста как означающего, т. е. актуального объекта, существующего в актуальном мире (пергамент, бумага и т. п. и написанные на ней знаки), — и текста как означаемого, репрезентирующего в нашем актуальном мире некоторый иной, не имеющий материального воплощения мир, будь то поэтический вымышленный мир, сновидение, или мир-в-прошлом (история) или в-будущем (политическая программа, прогноз или гадание) и т. п. Означаемое текста по природе своей нематериально, поэтому нет возможности лингвистическими средствами разграничить то, что в самом деле имело место (например, Пугачевский бунт), и то, что является лишь вымыслом о том, что было (история Маши Мироновой и Петра Гринева). Поэтому могут возникнуть записки Гринева («Капитанская дочка») — как документ, «будто бы» используемый Пушкиным для написания «Истории Пугачевского бунта». Смещение текста как означаемого и текста как означающего имеет целью наделить реальностью вымышленное, сделать частью нашего мира не только означающее (саму рукопись), но и означаемое (то, что описано в данной рукописи, — уместно вспомнить «третью реальность» Карла Поппера). Поэтому не только автор, персонаж и читатель, но и сама рукопись «путешествует» из одного мира в другой. Она, будучи написанной в вымышленных поэтических мирах, оказывается представлена в мире актуальном. При этом текст не только материальный

репрезентант нематериального в актуальном мире, но и наиболее «реальная» и стабильная часть этого мира⁵¹. Причем это относится именно к тексту в его материальном воплощении, не столько к книге, а к рукописи. (Заметим, что превращение рукописи, существующей как индивидуальное и единичное, в лишенную подобных характеристик книгу — это уже отдельная тема.) Именно рукопись неразрывно связана с ее автором, т. е. бумаги и написанным на ней текстом, что может стать основой в том числе и для магических операций, тогда как напечатанная типографским способом книга таких возможностей не предоставляет.

Так, нетрудно увидеть реминисценции магической функции языка в «Уединенном домике на Васильевском»⁵²: «*магические строки*» заставляют Павла «забыть и дружбу и неприязнь»,

⁵¹ На примере рукописи Пушкин иронически доводит до абсурда хоть и тривиальную, но, казалось бы, верную мысль о том, что только материальное, объективно существующее может стать частью актуального мира. Так, рукописи Белкина продолжают существовать уже только как бумага, т. е. как рукопись, переставшая быть знаком и ставшая незнаковым объектом: «Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частью у меня находятся, частью употреблены его ключницею на разные домашние потребности. Таким образом прошлую зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил» («Повести Белкина» — Пушкин, т. 8, 61). Отсюда, кстати, явствует важность роли издателя и публикатора — восстановителя знаковой функции рукописи.

⁵² В прихожей дождал его богато одетый слуга графини И., который вручил ему записку; Павел с трепетом развертывает и читает следующие слова, начертанные слишком ему знакомою рукою графини: «Злые люди хотели поссорить нас; я всё знаю; если в вас осталась капля любви ко мне, капля сострадания, придите в таком-то часу вечером. Вечно твоя И.». Как глупы любовники! Павел, пробежав сии магические строки, забыл и дружбу Веры, и неприязнь Варфоломея; весь мир настоящий, прошедший и грядущий стеснился для него в лоскутке бумаги; он прижимает к сердцу, целует его, подносит несколько раз к свету. «Нет! — восклицает он в восторге, — это не обман; я точно, точно счастлив; так не напишет, не может написать никто, кроме ее одной. Но не хочет ли плутовка зазвать и морочить меня, и издеваться надо мною по-прежнему? Нет! клянусь, не бывать этому. “Твоя — вечно твоя”, пусть растолкует мне на опыте, что значит это слово. Не то... добрая слава ее теперь в моих руках» [Уединенный домик: 361].

«*весь мир настоящий, прошедший и грядущий стеснился для него в лоскутке бумаги*». Дальнейшие действия Павла с запиской также осуществляются в соответствии с процедурами «заразительной» магии⁵³ — записка становится субститутом графини — «он прижимает к сердцу, целует целует клочок бумаги» — Павел совершает с бумажкой действия, которые он хотел осуществить с графиней. Наконец, обладая запиской, Павел приобретает власть и над той, кто ее написал: «...*добрая слава ее теперь в моих руках*».

Однако, как это обычно и бывает у Пушкина, соприкосновение с магическим не приносит ничего хорошего. Как наказание, в финале Павел теряет собственное «Я», и это связывается не только с изменением внешности, но также и с утратой подписи:

Он отрастил себе бороду и волосы, не выходил по три месяца из кабинета, большую часть приказаний отдавал письменно, и то еще, когда положат на его стол бумагу к подписанию, случалось, что он вместо своего имени возвратит ее с чужою, странною подписью [Уединенный домик: 372].

Как видим, и в этом случае записка оказывается субститутом человека — потеряв возможность письменной фиксации своей индивидуальности, Павел по сути перестает существовать как личность⁵⁴.

⁵³ Термин, введенный Джеймсом Фрезером в «Золотой ветви» (контагиозной магией могут быть названы колдовские приемы, основанные на законе соприкосновения или заражения), применительно к пушкинскому творчеству был использован Романом Якобсоном в классической статье «Статуя в поэтической мифологии Пушкина»: «Подражательная магия, если воспользоваться терминологией Фрезера, заменяется заразительной магией» [Якобсон 1987: 148].

⁵⁴ Анна Ахматова в недоконченной статье «Пушкин в 1828 году» соотносит Павла и с Пушкиным («...начинает смутно проступать, что сделал Пушкин в “Домике”. В старый план адской повести он вложил многое из своего настоящего и недавнего прошлого») [Ахматова 1977: 227], и в то же время, ссылаясь на статью Ю. М. Лотмана [1959], — также и с Мамоновым: «После смерти Веры Павел сходит с ума. Но почему, скажите мне, он делает это точно-точно как самый знаменитый богач Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов... Мамонов уехал в свою подмосковную деревню, сделался человеком-невидимкой, подписывал бумаги не своим именем...» [Там же: 230–231].

Как уже было сказано, важная семиотическая операция над рукописью — это семантизация означающего, то есть сотворение из бумаги и значками на ней некоторого текста, знакового объекта. Она может принимать форму декламации, расшифровки, в том числе и текстологической интерпретации (прочтение), цитации и т. д. Отделяя себя от своих героев, Пушкин, как правило, в прозаических произведениях оставляет за собой роль «издателя», а не создателя книги. Помимо функции издателя, Пушкин приписывает себе в актуальном мире также и роль архивариуса и публикатора — у него хранятся письмо Татьяны, повести Белкина, стихи Ленского, которые он воспроизводит (публикует — в буквальном смысле слова, то есть делает интимное «публичным»). Тем самым созданные в поэтических мирах тексты оказываются хранимыми у реально существующего человека — Пушкина, и благодаря чему рукописи и их авторы также воспринимаются как реально существующие. Но этим процесс не завершается — благодаря публикаторской деятельности Пушкина уже мы, читатели, в нашем мире читаем стихи Ленского и письмо Татьяны; вследствие чего создается соотнесенность между такими актуальными мирами, в которых мы читаем стихи Ленского, и миром Пушкина — собирателя, хранителя и публикатора рукописей Ленского. Факт нахождения рукописи, т. е. нечто материального, что было перемещено из поэтического мира в актуальный, имплицитно еще одно «межмировое путешествие» — ведь если есть текст, то должен существовать и создавший его автор. Этим, с одной стороны, удостоверяется сам факт существования автора. Однако, с другой стороны, существование текста и его автора значительно различаются: существование автора — неважно, будь то актуальный мир или поэтический, носит случайный и временный характер, тогда как существование текста — рукописи — носит вневременной характер. Тем самым текст выступает не только как материальный репрезентант нематериального в актуальном мире, но и как наиболее «реальная» и стабильная часть этого мира. Так, убит на дуэли Ленский, но у Пушкина сохранились его рукописи:

Стихи на случай сохранились,
Я их имею; вот они:

«Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни?..»
(«Евгений Онегин», гл. 6, XXI — т. 6, 125)

На наш взгляд, крайне примечательна пушкинская ремарка: «...Я их имею» — то есть речь идет именно о рукописи, а не о тексте, существующем уже вне зависимости от его материальной фиксации. В большинстве случаев рукописи — единственное, что может сохраниться, причем это относится именно к тексту в его материальном воплощении, и не столько к книге, а к рукописи, неразрывно и магически связанной с автором, рукописи в ее материальной форме, т. е. бумаги и написанным на ней текстом. Рукопись может служить сугубо утилитарным целям — сам текст может оказаться невостребованным, тогда как для бумаги применение найдется, как в вышеупомянутом использовании ключницей романа Белкина для оклеивания окон. Как видим, здесь, пусть и в пародийной форме, рукопись становится частью актуального мира. Но и в целом для Пушкина наличие или отсутствие рукописей есть критерий известности и чуть ли не существования. (Тем самым действует импликация: наличие рукописи — свидетельство существования автора; отсутствие рукописи — отсутствие «следов» существования автора.) Рукописи обязан своей славой Грибоедов⁵⁵, а в то же время отсутствие «записок» Грибоедова ассоциируется с «исчезновением без следа»⁵⁶. Из-за потери сгоревших во время пожара «бумаг» лишается своего имения Дубровский⁵⁷. Напротив, сохраняются письмо («якобы письмо») Екатерины и записки

⁵⁵ «Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия “Горе от ума” произвела неопишанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами» (Пушкин, т. 8, 461).

⁵⁶ «Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов...» (Пушкин, т. 8, 461).

⁵⁷ «— Если бы, например, ваше превосходительство могли каким ни есть образом достать от вашего соседа запись или купчую, в силу которой владеет он своим имением, то конечно...

— Понимаю, да вот беда — у него все бумаги сгорели во время пожара.

Гринева (притом что от его дедовского наследства мало что осталось, потомственное имение поделено между десятью помещиками), которые и опубликовал «издатель»⁵⁸. При этом Пушкин лишь пунктиром наметил сюжет, который мог быть развернут в самостоятельную новеллу в духе Сервантеса — Борхеса: внук Гринева доставляет рукопись Гринева издателю (Пушкину), узнав, что тот «заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом». Тем самым происходит встреча работавшего над «Историей Пугачевского бунта» Пушкина и внука «автора» рукописи. Единственное, что позволяет «издатель», — это *«издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпитаф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена»*. Напомним, что и Белкин сохранил имена по «недостатку воображения» — воображение «издателя» распространяется разве что на изменение имен и введение метатекстов (эпитафы и предисловие).

Подобный пушкинский подход к тексту — как инструменту миропорождения — предполагает, что в актуальном мире материализацией текста является не только его графическая или какая-либо иная фиксация, а то, что означаемое текста, его содержание, также становится объектом актуального мира. Созданные Пушкиным персонажи — Ленский, Белкин, Гринев, Татьяна и др. — создали тексты, которые материализовались в мирах пушкинского

— Как, ваше превосходительство, бумаги его сгорели! чего ж вам лучше? — в таком случае извольте действовать по законам, и без всякого сомнения получите ваше совершенное удовольствие» (Пушкин, т. 8, 166).

⁵⁸ «Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Из семейственных преданий известно, что он был освобожден от заключения в конце 1774 года... Вскоре потом Петр Андреевич женился на Марье Ивановне. Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. — В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. — В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова. Рукопись Петра Андреевича Гринева доставлена была нам от одного из его внуков, который узнал, что мы заняты были трудом, относящимся ко временам, описанным его дедом. Мы решились, с разрешения родственников, издать ее особо, приискав к каждой главе приличный эпитаф и дозволив себе переменить некоторые собственные имена. Издатель. 19 окт. 1836» (Пушкин, т. 8, 374).

творчества. Тексты же, которые создал сам Пушкин, материализуются уже в актуальном мире самого Пушкина, то есть в российской истории. Воплощением текста становятся Мир и Жизнь: пушкинский текст из описания культуры и истории сам становится событием культуры и истории. Тем самым выявленная нами как свойство поэтики Пушкина и описанная им самим взаимопроницаемость актуального и поэтического миров характеризует его творчество в целом. «Евгений Онегин» воспринимается не как описание вымышленного мира, а как «энциклопедия русской жизни», а «Пушкинская эпоха» — это время и место, являющиеся контекстом творчества Пушкина, т. е. текстов, созданных Пушкиным⁵⁹. Говоря словами Ю. М. Лотмана, *«таким образом, текст, с одной стороны, уподобляясь культурному макрокосму, становится значительнее самого себя и приобретает черты модели культуры, а с другой, он имеет тенденцию осуществлять самостоятельное поведение, уподобляясь автономной личности»* [Лотман 1981а: 7].

Созданное в результате языковых операций приобретает самостоятельное существование — в буквальном смысле слова реализуя метафору «магии слова»:

Поэт, который на протяжении всего произведения выступал перед нами в противоречивой роли автора и творца, созданием которого, однако, оказывается не литературное произведение, а нечто

⁵⁹ Ср.: «Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий. Он победил и время, и пространство. Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин, или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин...» [Ахматова 1977: 6].

прямо ему противоположное — кусок живой Жизни, вдруг предстает перед нами как читатель (ср.: «и с отвращением читая жизнь мою»), то есть человек, связанный с текстом. Но здесь текстом оказывается Жизнь. Такой взгляд связывает пушкинский роман не только с многообразными явлениями последующей русской литературы, но и с глубинной и в истоках своих весьма архаической традицией [Лотман 1975: 462].

5. О «САМОВОЗРАСТАНИИ СМЫСЛА» В ПОЭТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ*

0.0. Мы попытаемся предложить возможное описание механизмов «самовозрастания смысла», о которых говорится в ряде публикаций Ю. М. Лотмана. Само введение такого понятия связано с изменением взгляда на текст — текст рассматривается не только как передатчик заданных смыслов, но и как генератор новых. Для поэтического текста, видимо, характерна именно вторая функция.

0.1. Мы ограничимся рассмотрением соотношения между языковым смыслом поэтического текста и его «поэтическим» смыслом. Исходным считается языковой смысл и его метаязыковое отражение — языковая глубинная структура. Языковая глубинная структура отражает существенные семантические характеристики поверхностной структуры и может быть развернута в ряд синонимичных текстов. Поэтический смысл же считается нами искомой величиной.

1.0. Согласно довольно распространенной точке зрения, последовательно проводимой в генеративной стилистике и поэтике, «поэтическое» — это есть смысловое «приращение», возникающее при «необычном способе выражения» языкового смысла. Одно и то же содержание может быть выражено «поэтически» и «не-

* Опубликованные к 60-летию Юрия Михайловича тезисы [Золян 1982] — заключительные выводы защищенной в том же году нашей кандидатской диссертации, на автореферат которой Ю. М. Лотман прислал положительный отзыв. В дальнейшем диссертация была опубликована [Золян 1985]. Там же даны обоснования и детализация приводимых здесь тезисов.

поэтически», а поэтический смысл может быть описан через систему отклоняющихся или аграмматичных правил соответствия между языковыми глубинными и поверхностными структурами.

Более интересной представляется другая точка зрения: поэзия рассматривается как способ «передачи особых, иными средствами не передаваемых сообщений» (Ю. М. Лотман). На первый взгляд, такое понимание не допускает возможности лингвистического описания или же по крайней мере обречено оперировать негативными характеристиками (типа «поэтический смысл есть не-языковое, или же над-языковое...» и т. п.), возможно дополненными историко-литературными комментариями. Однако, на наш взгляд, именно вторая точка зрения допускает возможность адекватного лингвистического описания.

1.1. Механизмы порождения поэтического смысла понимаются нами как особый способ оперирования со значениями, представленными в поверхностной структуре. Будучи взята как единица поэтического текста, поверхностная структура предложения изменяет свой статус. Происходит определенная деструкция — поверхностная структура перестает значить то, что она обычно может значить, т. е. перестает однозначно соотноситься со своей языковой глубинной структурой. Благодаря этой деструкции высвобождаются значения, потенциально содержащиеся в языковой системе, но обычно блокируемые внутри синтаксической структуры. Поверхностная структура как бы задает «алфавит» языковых смыслов, из которых затем конструируются «высказывания». Поэтический текст выступает как порождающая грамматика. Все множество выводимых (незапрещенных данной грамматикой) из текста семантических конфигураций («высказываний»), взятое как совокупность, можно рассматривать как *поэтический смысл* текста.

2.0. Для более расчлененного описания процессов взаимодействия между языковым и поэтическим смыслами нами вводится также и разграничение между поверхностным и глубинным поэтическими смыслами, которое, помимо своей операциональной значимости, помогает избежать обычного в дискуссиях терминологического смешения.

2.1. Под поверхностным поэтическим смыслом понимаются те дополнительные значения, которые возникают при «необыч-

ном» способе выражения языкового смысла. Соответственно, поэтический смысл может быть учтен посредством трансформаций, связывающих языковую глубинную структуру с поверхностной структурой.

2.2. Под глубинным поэтическим смыслом мы понимаем особым образом структурированное множество значений, потенциально задаваемое поверхностной структурой. Если поверхностный поэтический смысл может быть приписан лишь отклоняющимся высказываниям, то для возникновения глубинного поэтического смысла необходимо лишь наличие значений (неважно, «обычных» или сдвинутых). Глубинный поэтический смысл экстенционально совпадает с введенным ранее понятием «поэтический смысл», но добавляет важную характеристику — упорядоченность внутри множества значений. Различные формы упорядоченности могут рассматриваться как различные глубинно-поэтические смыслы одного и того же поэтического текста.

3.0. Будучи принципиально непереводимым на естественный язык, глубинный поэтический смысл тем не менее должен быть понят и осознан. Ни исходный набор значений, ни порождаемые из него семантические конфигурации не являются чем-то отличным от языковых — отличным является способ их существования (одновременная актуализованность, недискретность). Взятая в отдельности, каждая из конфигураций поддается естественно-языковой интерпретации, представляя собой либо языковой смысл, либо поверхностный поэтический смысл.

4.0. Непереводимый и уникальный глубинный поэтический смысл не является ни исследовательским фантомом, ни чем-то абсолютно непознаваемым. Он связан с языковым смыслом тройной связью — как непосредственно, так и через поверхностный поэтический смысл. Во-первых, глубинный поэтический смысл строится из того набора значений, который представлен в поверхностной структуре. Во-вторых, он может существовать лишь при соотносительности и противопоставленности с языковым и поверхностным поэтическим смыслами, поэтому последние не только разбиваются на единицы, но и взаимодействуют с глубинным поэтическим смыслом как цельноформленные структуры. В-третьих, при осмыслении-толковании глубинный поэтический смысл рас-

падается на множество структур языкового и/или поверхностного поэтического смыслов, отличных от тех, которые могли бы первоначально быть приписаны поверхностной структуре как ее языковая глубинная структура. Глубинный поэтический смысл выступает как преобразователь исходной семантической структуры во множество новых и — в конечном итоге — как генератор новых языковых миров.

Раздел III

Содержание

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЮРИЙ ЛОТМАН И АРМЕНИЯ

Юрий Михайлович Лотман и Зара Григорьевна Минц с большим интересом и вниманием относились к армянской культуре. Безусловно, будучи высокими профессионалами, они не позволяли себе выносить поверхностные суждения о предметах, лежащих вне основной сферы их интересов. Поэтому если говорить об армянском «следе» в их научных исследованиях, то нам известен всего лишь один случай. В одной из своих наиболее известных статей «Миф. Имя. Культура», написанной в соавторстве с Б. А. Успенским [Лотман, Успенский 1973], говоря «о зависимости человека от locus'a», воспроизводится потрясающая по драматизму легенда об армянском царе Аршаке в плену у персидского царя Шапуха (Шапура) — так, как она изложена у историка V века Фавстоса Бюзанда, ей посвящена занимающая почти целую страницу сноска¹.

Основной аспект темы — Лотман и Армения, — на мой взгляд, это то значительное влияние, которое Юрий Михайлович оказал на формирование армянских гуманитариев 70-х годов. Юрий Михайлович дважды был в Армении с лекциями. Эти лекции вызвали огромный резонанс. Их посещали не только студенты отделения русского языка и литературы филологического факультета, но и даже не имевшие к университету прямого отношения

¹ Примечательно, что эта же легенда привлекла внимание и Осипа Мандельштама, который закончил свое «Путешествие в Армению» переложением финальной части легенды о самоубийстве царя Аршака — см. нашу статью «Акмеистическое подражание как тип текста» — впервые опубликована в: *Knizevna smotra*, XVII, Zagreb, broj 57, 1984 (на сербскохорватском языке), затем на русском: Вестник Ереванского университета. 1986. № 1.

поэты и художники. Объявления о его лекциях печатались в республиканской русскоязычной газете (она, как полагается, называлась «Коммунист»). Для его лекций Ереванский университет выделил самую большую аудиторию. Эти лекции — по крайней мере до 80-х годов — были легендой для Ереванского университета. Мне удалось найти конспекты лекций тогда студентки пятого курса Веры Цатурян (эту тетрадку я передал на хранение в фонд Ю. М. Лотмана в Таллинском университете). По этим конспектам можно судить, что эти лекции были поистине новаторскими. Юрий Михайлович не пересказывал свои уже опубликованные статьи — как это обычно делают приезжающие корифеи. Напротив, как мы видим, в этих лекциях содержатся наметки статей, которые вышли в последующее пятилетие и которые не утратили своей актуальности и по сей день. Так, судя по конспектам, неоднократно упоминаемая нами концепция о внеистинностном характере семантики текста была изложена студентам Ереванского университета, а потом стала основой статьи, написанной Юрием Михайловичем в соавторстве с А. М. Пятигорским [Лотман, Пятигорский 1968].

Что касается обстоятельств пребывания Юрия Михайловича, а затем и Зары Григорьевны в Ереване, то, к счастью, об этом оставил свои воспоминания в книге «Жизнь в три эпохи при десяти правителях» (имеются в виду три эпохи: до 1917 года, при Советской власти и после распада СССР в независимой Армении) Казар (Лазарь) Варганович Айвазян (1913–1998). Он в конце 60-х — начале 70-х руководил кафедрой русской литературы и, одновременно, отделом изучения литературных связей. Два тома воспоминаний (объемом около тысячи страниц) были напечатаны в 1997 году тиражом всего в 40 экземпляров, и, разумеется, книга эта практически недоступна. Поэтому считаем необходимым полностью привести выдержки, описывающие Лотмана и как ученого, и как простого в общении человека. Особо отметим интеллектуальную отвагу Юрия Михайловича — его готовность говорить с практически незнакомым человеком на темы, которые в те годы вполне потянули бы на уголовную статью.

Ректор отправил в Киев, затем в Вильнюс и Тарту читать армянскую литературу проф. Э. Н. Джрбашяна, отсюда по договоренности к нам приехали... Исаков (эстонская литература), затем — зав. кафе-

дой русской литературы, доктор филологических наук Юрий Михайлович Лотман. Как и при каких обстоятельствах я его пригласил, я не помню, но это было в октябре 1968 года. О нем я был слышан давно, читал его труды по структурной поэтике и русской литературе. Читал в газетах и журналах разносную критику в его адрес, что сразу расположило меня к нему. Пробыл Лотман у нас дней десять. На его лекции собирались студенты со всех факультетов, они проходили в большом актовом зале, который долгое время потом называли лотмановским. От него я впервые услышал об А. Д. Сахарове и его сторонниках, которых уже тогда именовали диссидентами, он же рассказал о неизвестных мне произведениях Солженицына.

Он оказался очень простым и милым человеком. После второй или третьей лекции мы вышли из университета. Темнело, я пошел проводить его до гостиницы «Ереван», куда мы его поместили. Я сказал:

— Повел бы Вас домой, да нечем покормить.

— А картошка у Вас найдется?

— Найдется.

— По дороге купим хлеб, бутылочку водочки, а чистить и жарить картофель я умею. Устраивает?

Я согласился. Ю. М. надел фартук и как заправский повар приготовил вкуснейший ужин. Мы просидели далеко за полночь, переговорили о многом. Ю. М. принадлежал к инакомыслящим, такого я встречал впервые, он ознакомил меня с самиздатовской литературой. Я понял, что кроме затхлого мира официальной советской науки и литературы существует светлый круг противостоящих ему одиночек, и это наполняло радостью, желанием сделать что-нибудь значительное.

Лотман и я выступили по ереванскому телевидению, причем он высоко отозвался о работах скульптора Чахмахчяна, которого ругательно ругали за формализм. И вообще хорошо говорил об Армении и ее народе.

На следующий день, в воскресенье, поехали в Эчмиадзин², прослушали службу, поставили свечи, вышли погулять по двору храма. Увидели во дворе приносящих в жертву кто петуха, кто овцу. Лотмана узнали, пригласили отведать сваренного в собственном соку мяса.

² Эчмиадзин — имеется в виду расположенный в Эчмиадзине кафедральный собор, резиденция католикоса Армянской апостольской церкви. В воскресные дни принято рядом с церковью освящать и приносить в жертву петуха или овцу, а сваренное мясо обязательно надо раздать незнакомым.

Мы сели, он с помощью кое-как хотел объяснить, что он из Тарту, где учился великий Абовян. Ляка (дочь К. Айвазяна Елена. — С. 3.) взяла на себя роль переводчицы, окружающие поняли, жали ему руку, произнося: «Настоящий человек. Профессор, а не гнушается нашего хлеба-соли».

Тогда в центре внимания находился фильм С. Параджанова «Цвет граната», вызвавший к себе двоякое отношение: публика восприняла его, и справедливо, как художественное достижение армянской кинематографии, а официальные круги, вечно напуганные тем, как бы чего не вышло, резко отрицательно³.

Мы организовали специальный просмотр для Лотмана, он написал квалифицированную рецензию о фильме, но ее не напечатали — испугались⁴.

Ю. М. заинтересовался направлением работы отдела литературных связей и предложил совместно с Тартуским университетом, точнее — с его кафедрой, издать сборник под названием «Семиотика. Типология. Компаративистика». Он обещал привлечь для участия в нем видных русских ученых, если удастся — и зарубежных.

— Но у нас этим направлением науки не занимаются, и я, признаюсь, получил о нем представление из Ваших лекций.

— Но то, что делает Ваш отдел, — в конечном счете компаративистика. А по семиотике могу взять аспиранта из выпускников Вашего университета.

³ Должен заметить, что ситуация была не столь однозначной: не только официальные круги, но и большая часть интеллигенции, особенно считавших себя хранителями традиции, приняли фильм резко отрицательно. Они ожидали увидеть в фильме о Саят-Нове скорее историческо-этнографический патристический комментарий к стихам и биографии Саят-Новы, в лучшем случае — повторение на армянском материале «Тени забытых предков». Новаторская поэтика «Цвета граната» шокировала значительную часть армянской интеллигенции. Тем интереснее, что фильм имел огромный успех у крестьян Лори, где снимался фильм и где многие из них снимались в массовках. «Простой» зритель оказывался зачарован параджановской магической поэтикой.

⁴ К сожалению, эту рецензию найти не удалось. О кинопоэтике Сергея Параджанова Ю. М. Лотман писал в кн. «Семиотика кино и вопросы киноэстетики». Таллинн, 1973, а позднее в кн. «Диалог с экраном». Таллинн, 1994 (совм. с Ю. Цивьяном). Впоследствии Ю. М. Лотман написал рецензию на следующий фильм Параджанова — «Легенда Сурамской крепости» — «Новизна легенды» (Искусство кино, 1987).

У меня в отделе работал бывший мой студент Рафаэл Папаян⁵... Его и рекомендовали к Лотману. Поговорил с ним, с Рафо — оба согласились. Ю. М. проэкзаменовал его, остался доволен, и Рафо, к этому времени женившийся, отправился с супругой в Тарту. Конечно, Рафо и без Лотмана стал бы кандидатом наук, однако не получил бы той научной подготовки, школы, которую дал ему Ю. М. Лотман. Я пишу об этом потому, что Рафо явился тем редким случаем в моей жизни, когда я в какой-то степени содействовал становлению настоящего ученого. Больше мне приходилось помогать людям ловким и льстивым, обводившим меня вокруг пальца, которые, как правило, становились моими врагами.

Перед отъездом Юр Мих (так именовали Лотмана между собой) обещал приехать еще раз с женой — Зарой Григорьевной.

Юрий Михайлович Лотман сдержал свое слово — в октябре приехал вместе с женой Зарой Григорьевной Минц. Прочитали свои лекции в «лотмановской» аудитории: он не только по семиотике и типологии, но и о новой трактовке «Евгения Онегина», она — о поэтах Серебряного века — Хлебникове, В. Каменском, С. Есенине и др., взбудоражили весь университет. З. Г. пожелала увидеть Эчмиадзин — на этот раз осмотрели храмы св. Гаяне и св. Рипсима, зашли к Серику и Женик. Они накрыли роскошный стол, подали кюфту. Лотман и я упились местным вином так, что, не знаю каким способом, я насыпал ему в карманы огурцов и спелых помидоров. На обратном пути в машине помидоры превратились в сплошное месиво, но никто из нас этого не заметил. Когда утром я зашел в гостиницу за ними, З. Г. была занята тем, что отмывала пиджак и брюки Ю. М. от сока. Как это получилось, ни она, ни Ю. М. не помнили, и я готов был провалиться сквозь пол, однако не признался в своей проделке. Вечером, когда Ю. М. и З. Г. пришли на ужин ко мне домой, я принес им свои извинения, заявив, что без этого происшествия их приезд был бы неполон и выглядел бы слишком официальным.

Для задуманного нами сборника «Семиотика. Типология. Компаративистика» прислали статьи В. Иванов, Е. Мелетинский, Гуревич и др. Получилась замечательная книга, которая могла вывести наш университет на уровень союзного литературоведения⁶. Правда, само ее название воспринималось плохо — компаративистика счи-

⁵ См. сноску 3, с. 69 наст. изд.

⁶ Рукопись сборника с резолюцией «В печать» сохранилась в архиве Ю. М. Лотмана. См. о нем в [Трунин, в печати]. Особый интерес представляет

талась буржуазной наукой, под сомнением находились типология и семиотика, но я надеялся, что у нас не разберутся и удастся протащить. Издательство послало на отзыв акад. NN⁷. Тот дал резко отрицательную оценку. Я пошел к нему уговаривать, а он спрашивает:

— Семиотика — это когда машина пишет стихи?

Объясняю, как могу, а он в ответ:

— Вы мне мозги не пудрите. Я в Москве слышал, что эту семиотику марксизм не принимает...

...Мы с Ю. М. Лотманом продолжали переписку, он приглашал меня в Тарту, но поехать так и не удалось. Не помню точно, кажется, в середине 70-х гг. На Ю. М. начались очередные гонения: его освободили от заведования кафедрой [до этого дело не дошло. — С. 3.], ограничили издание его книг. Получил от него письмо, в котором он спрашивал о возможности переезда в Ереван и зачисления в университет. Я обратился к М. Нерсисяну⁸, нарисовал, какие перспективы открываются перед университетом, если Лотмана зачислить к нам. Он не возражал, трудность была в обеспечении его квартирой. Несмотря на все попытки ректора решить вопрос, скоро это сделать не удалось, да и Ю. М. передумал. А жаль! (с. 722–723).

публикация вступительной статьи Ю. М. Лотмана. Статья Вяч. Вс. Иванова в этом невышедшем сборнике уже опубликована [Трунин 2018].

⁷ Замечу от себя — акад. NN был добрейший души, притом в высшей степени флегматичный человек, но фамилия «Лотман» выводила его из себя. Так получилось, что после нескольких поездок на студенческие конференции в Тартуский университет Юрий Михайлович пригласил меня на стажировку. Казар Варганович в то время еще был зав. кафедрой русской литературы, а акад. NN — деканом филологического ф-та. Необходимо было ходатайство декана на имя ректора о переводе меня на индивидуальный график и командировании на семестр в Тарту. Казар Варганович взял меня с собой и зашел в кабинет к академику, стал меня расхваливать, какой я, мол, хороший и как многому я смогу научиться в Тарту. На слове «Тарту» слушавший в благосклонной дреме академик проснулся и как ударит кулаком по столу и закричит: «Что вы делаете! Такого хорошего мальчика посылаете к Лотману! Да там из него структуралиста сделают». Впрочем, будучи по натуре добряком, он через минуту успокоился и в привычной для него полусонной благодушной манере подписал все что требовалось. Сейчас не понять, но само слово «Лотман» и «Тарту» действовало на советских литературоведов как электрощок и могло вывести из себя даже самого флегматичного, каким был акад. NN.

⁸ Мкртич Мамбреевич Нерсисян — в то время ректор Ереванского государственного университета.

Во время пребывания Юрия Михайловича в Ереване вышло проявился его культурный протезизм. Он быстро вошел в культурную жизнь Армении, к его мнению прислушивались, в его лице нашли своего ученого «защитника» люди искусства — кроме упомянутых скульптора Артавазда Чахмахчяна и Сергея Параджанова, Лотмана заинтересовали документальные фильмы Артавазда Пелешяна, который также был в немилости вследствие новаторского характера его поэтики, основанной, как назвал ее сам Пелешян, на «дистанционном монтаже». Как фильмы, так и теория Пелешяна получили в лице Лотмана авторитетного защитника. Статья Пелешяна «Дистанционный монтаж» была опубликована в том числе и благодаря положительной рецензии Лотмана, сам Лотман в книге «Семиотика кино и проблемы киноэстетики» назвал молодого тогда Пелешяна «живым классиком неигрового кино», а впоследствии опубликовал заметку «О Пелешяне» («Искусство кино», 1988). Безусловно, и для самого Лотмана были продуктивными знакомства с наиболее заметными деятелями новаторского искусства 70-х годов, у него было много друзей среди художников (так, уже позднее он при мне с теплотой говорил о Джотто — Григоряне).

Несколько выступлений по телевидению Юрия Михайловича сделали его настолько знаменитым, что к нему подходили люди на улице и выражали свое восхищение. Зара Григорьевна вспоминала о досадном, но имевшем счастливый финал инциденте. То ли телеграмма об их приезде опоздала, то ли хозяева что-то перепутали, но в аэропорту Зару Григорьевну и, Юрия Михайловича никто не встречал. Они уже собирались заночевать прямо в аэропорту, как к ним подошел милиционер и, узнав, что произошло, пригласил их на ночь домой. В самом ли деле милиционер узнал Юрия Михайловича по его прошлогодним телевизионным выступлениям или же по долгу службы должен был поинтересоваться, кто такие и почему не едут в город, — во всяком случае и Зара Григорьевна, и Юрий Михайлович в разговорах со мной не раз вспоминали этого милиционера, приютившего их на ночь, а на утро после роскошного завтрака отвезшего в университет.

К сожалению, после 1969 года ни Юрий Михайлович, ни Зара Григорьевна более не приезжали в Армению. Однако они неодно-

кратно вспоминали эти две поездки и всегда при встрече передавали приветы «всем, кто нас помнит».

Рафаель Папаян, защитив кандидатскую диссертацию, вернулся в Армению и преподавал — до ареста — в Ереванском университете. Он стал «посредником» между литературоведами и семиотиками Армении и Тартуским университетом. Примечательно, что если ученые среднего и старшего поколения, даже из числа симпатизировавших Юрию Михайловичу, просто не понимали его работ и они им казались крайне сложными, то, наоборот, нам, студентам, написанное Лотманом представлялось намного проще и понятнее, чем наши кондовые учебники. Так, Лотман оставил в подарок кафедре свои «Лекции по структуральной поэтике», причем это была перепечатка, сделанная в университете Род-Айленда. Мне была оказана высокая честь — дочь Лазаря Варгановича, Маро Лазаревна Казарян, которая преподавала нам «Введение в литературоведение», дала мне эту книгу, чтобы я пересказал ее моим однокурсникам-первокурсникам. В отличие от наших профессоров и доцентов, мои сокурсники нашли ее (даже в моем вряд ли компетентном изложении) вполне понятной. Поскольку для Рафаэля Папаяна делалось исключение (ему было позволено быть структуралистом), то вокруг него сформировался кружок, связанный с Тарту (естественно, после его ареста он распался, а еще до ареста ему запретили читать лекции). Действовало Студенческое научное общество, имевшее неплохое финансирование — так, без каких-либо проблем оплачивали проезд в Тарту и даже давали еще и 50 копеек в день на командировочные. Так что немало наших студентов побывало в Тарту лишь на основе приглашений, подписанных тогдашними руководителями СНО при кафедре русской литературы Тартуского университета Марией Плюхановой, а затем Ириной Паперно.

С 1974 года и я стал постоянным участником этих студенческих конференций, которые по своему уровню являлись непревзойденной школой для молодых литературоведов и семиотиков. Незабываемыми эти конференции делало и присутствие Юрия Михайловича и Зары Григорьевны и их активное участие в обсуждениях. Мои выступления сделали возможным в 1976 году при-

ехать в Тарту на семестр на стажировку к Юрию Михайловичу. Юрий Михайлович также дал согласие принять меня в аспирантуру, но это, ввиду сверхцентрализации тогдашней системы, сделать не удалось. Несмотря на просьбу Министерства высшего образования Армянской ССР, люди в союзном министерстве искренне не могли понять — почему надо ехать в Тарту, когда в Москве работают лучшие специалисты в мире! В Таллине люди в министерстве также были не в восторге. В 80-е университеты уже мало чего решали, и степень контактов заметно снизилась. Упомяну и об армянских филологах-переводчиках, которые учились в Тарту. В то время в Ереванском университете была налажена система подготовки переводчиков с армянского языка на языки народов СССР и с языков народов СССР — на армянский (чтобы стало бы возможным отойти от существовавшей практики перевода посредством русского языка). Благодаря этому студенты из стран Балтии и Украины изучали армянский язык в Ереванском университете, и наоборот. Было очень много желающих поехать в Тарту — но, надо признаться, некоторых из них больше интересовали лекции Лотмана, нежели эстонский. Помню, мой сосед по комнате в общежитии на Пяльсоми, 14, Эдик Сароян настолько увлекся лекциями Ю. М. Лотмана и Игоря Чернова, что забросил эстонский и перешел на семиотику и литературоведение. Так пропал потенциальный переводчик с эстонского.

Общеизвестно, насколько активно выступал Юрий Михайлович в годы перестройки, его гражданская позиция сочеталась с умением с гуманистических позиций верно оценивать происходящее — не обманываясь самому и не боясь говорить то, что большинству казалось «неуместным». Его вышедшая чуть позже книга «Культура и взрыв» содержала теоретическое и далеко не радужное осмысление происходящего, хотя это и носило характер историко-культурологического анализа. Вместе с тем Юрий Михайлович был одним из первых, кто непосредственно откликнулся на те крайне опасные процессы, которые приветствовавшие перестройку вначале пытались не замечать. В первую очередь, это были погромы в Сумгаите. Юрий Михайлович, откликнувшись на мое

открытое письмо, выразил свое «сочувствие к жертвам и презрение к убийцам». Приводим ниже:

Дорогой Сурик!

Я получил Ваше письмо. Оно дает мне повод выразить ту боль, которая последнее время сделалась основным моим душевным чувством. Мне не надо выбирать и размышлять, на чьей я стороне, когда слышу слово «погром» и узнаю, что где-то в любом уголке земли разнузданные хулиганы и религиозные фанатики убивают женщин и детей. Я был ребенком, когда моя бабушка рассказывала мне о погромах в 1905–1906 гг. в Одессе, и как мой дядя (я его никогда не видел — он погиб до моего рождения), один из самых сильных людей в городе, три дня во главе дружины самообороны дрался с хулиганами, защищая все таких же женщин и детей. Женщины, дети, старики — именно они всегда делаются предметом зверских покушений, и я не знаю, почему. В своей долгой жизни мне приходилось сталкиваться с разными людьми. Я, видимо, счастливчик — подавляющее большинство из тысячи людей, с которыми сводила меня судьба, оставили у меня самые светлые впечатления. Но были и встречи с настоящими волками в человеческом облике, уголовниками и убийцами (в частности, в 1943 г. в нашу батарею дали пополнение — несколько уголовников). И я своими глазами убедился, что жестокость и трусость связаны, что те, кто дрожит и впадает в истерику (они очень любят впадать в истерики) при пустяковом для фронтовых условий обстреле, расплаются и впадают в раж при виде безоружных и беззащитных. Я ненавижу такой тип людей. Когда я пишу Вам, у меня все дрожит внутри и слезы стоят в глазах.

Я давно люблю армянскую культуру, память об Ереване и поездкам по Армении для меня светлая память; как Вы, может быть помните, покойный Джотто (Григорян) подарил мне картину и три гуаши. Тема двух из его картин, висящих у меня на стенах, как и многих полотен этого замечательного художника и человека, искренне мной любимого, — геноцид 1915 г. Она у меня постоянно перед глазами — не могу забыть о страданиях армянского народа. Но и без различия народов все те, на кого обрушивается насилие, фашизм в любых одеждах, средневековый фанатизм, — мне родные и близкие, и мне мучительно стыдно, что я могу лишь словами выразить свое сочувствие жертвам и отвращение по отношению к убийцам. Я убежден, что это чувство разделяют все честные и интеллигентные люди.

Что же касается до выступления Сергея Сергеевича Аверинцева и Вячеслава Всеволодовича Иванова, то я их обоих знаю как прекрасных и высокоинтеллигентных людей и думаю, что их неудачное выступление связано с неполной информацией и тем, что благие намерения не нашли адекватной формы выражения. В доброустремленности их намерений я не сомневаюсь, хотя, прямо скажем, намерение не реализовалось.

Я глубоко надеюсь на торжество справедливых чаяний.

От души жму Вашу руку. Зара Григорьевна тоже разделяет мои чувства и шлет вам самые сердечные приветы.

6 апреля 1988 г.

Ваш Ю. Лотман

Целую Вас, дорогой Сурик!

З. М.

P. S. Обратите внимание на адрес: ул. Бурденко теперь ул. Вески.

Дорогой Сурик!

Я получил Ваше письмо. Оно дает мне повод выразить ту боль, которая последнее время сделалась основным моим душевным чувством. Мне не надо выбирать и размышлять, на чьей я стороне, когда слышу слово "погром" и узнаю, что где-то, в любом уголке земли, разнузданные хулиганы и религиозные фанатики убивают женщин и детей. Я был ребенком, когда моя бабушка рассказывала мне о погромах в 1905-1906 гг. в Одессе, и как мой дядя /я его никогда не видел - он погиб задолго до моего рождения/, один из самых сильных людей в городе, три дня во главе дружины самообороны дрался с хулиганами, защищая все таких же женщин и детей. Именно они, женщины, дети, старики, всегда делаются предметом зверских покушений, и я знаю, почему. В своей долгой жизни мне приходилось сталкиваться с разными людьми. Я, видимо, счастливчик - подавляющее большинство из тысяч людей, с которыми меня сводила судьба, оставили у меня самые светлые впечатления. Но были и встречи с настоящими волками в человеческом облике, уголовниками и убийцами / в частности, в 1943 г. в нашу батарею дали пополнение - несколько уголовников/. И я своими глазами убедился, что жестокость и трусость связаны, что те, кто дрожит и впадает в истерику /они очень любят впадать в истерики/ при пустяковом для фронтовых условий обстреле, распяляются и впадают в раж при виде безоружных и беззащитных. Я ненавижу такой тип людей. Когда я пишу Вам, у меня всё дрожит внутри и слезы стоят в глазах.

Я давно люблю армянскую культуру, память об Ереване и поездкам по Армении для меня светлая память; как бы, может быть помните, покойный Джотто /Григорян/ подарил мне картину и три гуаши. Тема двух из его картин, висящих у меня на стенах, как и многих полотен этого замечательного художника и человека, искренне мной любимого, - геноцид 1915 г. Они у меня постоянно перед глазами - могу ли я забыть о страданиях армянского народа? Но и без различия народов

все!

те, на кого обрушивается насилие, фашизм в любых одеждах, средневековый фанатизм, — мне родные и близкие, и мне мучительно стыдно, что я могу лишь словами выразить свое сочувствие жертвам и отвращение по отношению к убийцам. Я убежден, что это чувство разделяют все честные и интеллигентные люди.

Что же касается до выступления Сергея Сергеевича Аверинцева и Вячеслава Всеволодовича Иванова, то я их обоих знаю как прекрасных и высоко интеллигентных людей и думаю, что их неудачное выступление связано с неполной информацией и тем, что благие намерения не нашли адекватной формы выражения. В доброустремленности их намерений я не сомневаюсь, хотя, прямо скажем, намерение не реализовалось.

Я глубоко надеюсь на торжество справедливых чаяний.

От души жму Вашу руку. Зара Григорьевна разделяет ^{все} мои чувства и шлет Вам самые сердечные приветы.

8 апреля
1988 г.

Ваш

И. Пастухов

Целую Вас, дорогой Сурик!
Зелю

PS. Обращайте внимание на адрес:
ул. Бурденко Штегера — ул. Вески.

Это письмо с разрешения Юрия Михайловича ушло в армянский самиздат, а там произошла характерная для фольклорного бытования текста контаминация — под письмом Юрия Лотмана фигурировало другое письмо: написанное его сыном Михаилом Лотманом⁹. Впоследствии примерно эти же идеи прозвучали в заметке «Мир соскальзывает в безумие» (впервые: Вперед (Тарту). 1991. 8 июня. Мегapolis-Экспресс, 1991. № 22). Здесь много переключек с мартовским письмом от 1988 года. К сожалению, события тех лет, глубокая озабоченность тем, что государство и общество неспособны противостоять насилию и жестокости, не давали Ю. М. Лотману повода для оптимистичного приятия перестройки, что впоследствии нашло отражение в пессимизме заключительной главы замечательной книги «Культура и взрыв». Эту небольшую малоизвестную заметку стоит привести целиком — в ней мы видим Юрия Михайловича не только как гражданина и интеллигента, но и как социального философа-гуманиста.

Я не публицист и не политик. Предложение «Мегapolis экспресс» поделиться с читателями своими научными идеями направило мою мысль в сферу привычных для меня вопросов о путях истории человечества. Однако в разгар моих размышлений мне принесли с почты бандероль из Баку: Бакинский центр искусств любезно приглашал меня принять участие в заседании Международного гуманитарного форума. В первых же строках организаторы декларируют свою обеспокоенность «усиливающимся драматизмом современной жизни». К приглашению приложена декларация Бакинского международного форума. Я распечатал конверт с волнением. Я ждал такого письма и очень на него надеялся. В момент, когда мир соскальзывает в безумие и национальная и религиозная вражда, кажется, рвется вернуть нас в эпоху средних веков, конечно, на интеллигентов всех народов ложится историческая миссия остановить эскалацию

⁹ Михаил Лотман организовал радиопередачу по эстонскому радио, которая была затем опубликована в скандинавской печати. Этим частично была прорвана информационная блокада вокруг Сумгаитской трагедии. Распечатка передачи Михаила Лотмана также была одним из основных материалов армянского самиздата, она была опубликована под заглавием «Карабах — Сумгаит» в сборнике: Нагорный Карабах и вокруг него: глазами независимых наблюдателей / сост. С. Е. Золян, Г. К. Мирзоян. Ереван, 1991. С. 34–55.

безумия. Однако по мере того как я читал, во мне росло недоумение. Организаторы провозглашают гуманные лозунги и призывают далекие народы объединиться. А близкие? Ни одного слова о трагедии на границах Азербайджана и Армении, ни одного гуманного, внушающего надежду слова о трагедии Карабаха. Или гуманность организаторов распространяется только на дальние проблемы и чужие земли? Но ведь Христос сказал: «Аще кто речет яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть» (1 Ин.: 4, 20). Через всю историю человечества проходит вопль: Каин, где брат твой? И этот вопль не заглушить ни псевдонаучными конференциями, ни лживыми газетными заверениями. Я — старый человек. Пережил солдатом большую войну, исходил пешком и Россию, и Европу. Среди моих близких друзей были и есть и армяне, и азербайджанцы, и грузины, и эстонцы, и немцы, и многие другие. И теперь, на пороге смерти, я вынужден наблюдать то клиническое безумие ненависти, которое охватывает целые пространства нашей земли. Я не могу скрыть, что все мои симпатии сейчас на стороне армян. Но и азербайджанцам я не враг. Я жалею тех из них, кто ослеплен ненавистью. Неужели же они не видят, что ими играют и что те, кто сейчас, из-за кулис, разжигает кровавый туман, завтра направят удар против них? То, что делают их руками, очень скоро сделают с ними чьими-нибудь третьими. А те, кто стоит за кулисами, выступят как миротворцы, когда сочтут, что обе стороны пролили достаточно крови.

Ну хорошо, мое ли дело открывать глаза азербайджанцам. А кто откроет нам глаза, нам — интеллигентам этой трещащей империи, кто откроет глаза русской интеллигенции? Сейчас, когда уже много дней льется в Закавказье кровь (только ли в Закавказье; а Литва, а Латвия?), интеллигенция России не очень торопится высказать свое мнение: как бы не осложнить свои собственные дела перед выборами президента республики. Но колокол никогда не звонит по кому-нибудь другому, как бы нам этого ни хотелось, — он всегда звонит по мне, и взрыв в Москве пришелся вовремя: он должен открыть уши тем, кто не слышит ударов колокола в Карабахе и Вильнюсе, тем, кто думает, что если заткнуть уши, то колокол перестанет бить, тем, кто надеется, что они отсидятся, или же возлагает надежды на либералов Запада: может быть, поставят такие условия для финансовой помощи, что внутренняя реакция вынуждена будет отступить. Нет, никто не поможет тому, кто сам себе не помогает. Мюнхенская капитуляция не спасла Запад от второй мировой войны. Договор Молотова — Риббентропа не спас Россию от самой страшной войны в ее истории. Сторонники насилия — трусы. Как только они сталкиваются со сме-

лостью, они отступают. Но как только они видят перед собой слабых, старых или трусливых, безоружных, нерешительных — их охватывает жажда насилия. Они мстят за свою трусость и за свои унижения. Так и складывается аппарат. В глубине его те, кто скорее взорвет мир, чем отдаст мельчайшее из своих преимуществ, а исполнители их воли — изъеденная комплексом неполноценности, униженная толпа, которая ненавидит тех, кому завидует, а завидует она всем. Эпоха мелких конфликтов и частных столкновений кончилась. Мир един, и то, что происходит на одном конце, неизбежно отзывается на другом. Спрятаться не удастся никому. Колокол звонит по каждому из нас.

ЛИТЕРАТУРА

- Абрамян 1983 — *Абрамян Л. А.* Первобытный праздник и мифология. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1983.
- Агатангелос 2004 — *Агатангелос.* История Армении / пер. с древнеарм., вступит. ст. и коммент. К. С. Тер-Давтян и С. С. Аревшатыана. Ереван: Наири, 2004. 336 с.
- Азадовский 1938 — *Азадовский М. К.* Источники «Сказок» Пушкина и фольклор // *Азадовский М. К.* Литература и фольклор. Л., 1938. С. 65–105
- Анкерсмит 2003 — *Анкерсмит А.* История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
- Аристотель 1978 — *Аристотель.* Об истолковании // *Аристотель.* Сочинения: В 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 91–116.
- Атаян 1985 — *Атаян Э. Р.* Ситуативные характеристики языковой деятельности человека // Вестник Ереванского ун-та, 1985. № 3. С. 76–91.
- Ахматова 1931 — *Ахматова А.* Последняя сказка Пушкина. // Звезда. 1931. № 1. С. 161–176.
- Ахматова 1977 — *Ахматова А.* О Пушкине Статьи и заметки / сост., послесл. и примеч. Э. Г. Гернштейн. Л.: Советский писатель, 1977.
- Барт 1989а — *Барт Р.* От произведения к тексту / пер. с франц. С. Н. Зенкина // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вступит. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 413–423.
- Барт 1989б — *Барт Р.* Смерть автора / пер. с франц. С. Н. Зенкина // *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика. Поэтика / сост., общ. ред. и вступит. ст. Г. К. Косикова. М.: Прогресс, 1989. С. 384–391.
- Барт 2003 — *Барт Р.* Дискурс истории // *Барт Р.* Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 427–441.

- Белобровцева 2012 — *Белобровцева И. З.* Как изображать Эйзенштейна: полумемуары о Ю. М. Лотмане // Русская литература. 2012. № 4. С. 70–79.
- Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Общая лингвистика / пер. с франц.; под ред., вступит. ст. и коммент. Ю. С. Степанова. М.: Прогресс, 1974.
- Бергер, Лукман 1995 — *Бергер П., Лукман Т.* Социальное конструирование реальности: Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995.
- Бердяев 1995 — *Бердяев Н. А.* Опыт эсхатологической метафизики // *Бердяев Н. А.* Царство Духа и царство кесаря. М.: Республика, 1995. С. 164–286.
- Большаков 1985 — *Большаков А. О.* О диалогизме «Спора человека и Ба» // Культурное наследие Востока. Л., 1985. С. 17–29.
- Вебер 1990 — *Вебер М.* Основные социологические понятия // *Вебер М.* Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 602–643.
- Виноградов 1930 — *Виноградов В. В.* О художественной прозе. М.; Л.: Госиздат, 1930.
- Витгенштейн 1958 — *Витгенштейн Л.* Логико-философский трактат / пер. с нем., сверенный с авториз. англ. пер., И. Добронравова и Д. Лахути; общ. ред. и предисл. В. Ф. Асмуса. М.: Изд-во иностранной литературы, 1958.
- Волошинов 1930 — *Волошинов В. Н.* Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. 2-е изд. Л.: Прибой, 1930.
- Вригт 1984 — *Вригт Г. Х. фон.* Диахронические и синхронические модальности // Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки. М.: Наука, 1984. С. 8–13.
- Вригт 1986 — *Вригт Г. Х. фон.* Объяснение и понимание // *Вригт Г. Х. фон.* Логико-философские исследования. М.: Прогресс, 1986. С. 35–245.
- Выготский 1968 — *Выготский Л. С.* Психология искусства. М.: Искусство, 1968.
- Гаврилова 2016 — *Гаврилова М. В.* Социальная семиотика: Теоретические основания и принципы анализа мультимодальных текстов // Политическая наука. 2016. № 3. С. 101–118.
- Ганалаян 1979 — *Ганалаян А. Т.* Армянские предания. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1979. 354 с.
- Гаспаров 1976 — *Гаспаров Б. М.* Современные проблемы лингвистики текста // *Linguistica*. Вып. VII. Тарту: ТГУ, 1976. С. 32–60.

- Гаспаров 1999 — *Гаспаров М. Л.* Лотман и марксизм // *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 415–423.
- Геллнер 1992 — *Геллнер Э.* Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Путь: международный философский журнал. 1992. № 1. С. 9–61.
- Гершензон 1926 — *Гершензон М. О.* Статьи о Пушкине. М.: ГАХН, 1926.
- Гиндин 1972 — *Гиндин И. И.* Опыты анализа структуры текста с помощью семантических словарей // Машинный перевод и прикладная лингвистика. 1972. Вып. 167. С. 42–112
- Данто 2002 — *Данто А.* Аналитическая философия истории. М.: Идея-Пресс, 2002.
- Егише 1994 — *Егише.* О Вардане и войне армянской / пер. с др.-арм. на совр. арм. Е. Тер-Минасяна. Ереван: Айастан, 1994. (на арм. яз.)
- Егоров 1987 — *Егоров Б. Ф.* Биография души // *Лотман Ю. М.* Сотворение Карамзина. М., 1987. С. 7–10.
- Ельмслев 1960 — *Ельмслев Л.* «Пролегомены к теории языка» [1943] / под ред. В. А. Звегинцева // Новое в лингвистике. Вып. 1. М.: Издательство иностранной литературы, 1960. С. 264–389.
- Жилко 2008 — *Жилко Б.* История одного текста Ю. М. Лотмана // *Sign Systems Studies.* 2008. 36–2. P. 513–514.
- Жолковский, Щеглов 1996 — *Жолковский А. К., Щеглов Ю. К.* Работы по поэтике выразительности: Инварианты — Тема — Приемы — Текст. М.: Прогресс, 1996.
- Золян 1981а — *Золян С. Т.* Семантическая структура слова в поэтической речи // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1981. Т. 40 (6). С. 509–520.
- Золян 1981б — *Золян С. Т.* Описание сюжета: генеративный подход // Семиотика и проблемы коммуникации. Ереван: Изд-во АН Арм. ССР, 1981. С. 89–105
- Золян 1982 — *Золян С. Т.* О «самовозрастании» смысла в поэтическом тексте // *Finitis duodecim lustris: Сб. статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана / сост. С. Исаков.* Таллинн: Ээсти раамат, 1982. С. 149–151.
- Золян 1985 — *Золян С. Т.* О соотношении языкового и поэтического смыслов. Ереван: Изд-во Ереванского ун-та, 1985.

- Золян 1988а — Золян С. Т. «Свет мой, зеркальце, скажи...» (к семиотике волшебного зеркала) // Труды по знаковым системам. Тарту, 1988. Вып. 22. С. 32–44.
- Золян 1988б — Золян С. Т. «Я» поэтического текста; семантика и прагматика: К проблеме лирического героя // Тыняновский сборник: Третьи Тыняновские чтения. Рига, 1988.
- Золян 1991 — Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текста. Ереван: Изд-во Ереванского гос. ун-та, 1991.
- Золян 1994 — Золян С. Т. Описание регионального конфликта как методологическая проблема // Полис. 1994. № 2. С. 131–142.
- Золян 1995 — Золян С. Т. Модальность как текст, сюжет и метафора: в мирах «Возврата» Андрея Белого // Новое литературное обозрение. 1995. № 16. Ст. 7–23.
- Золян 1999 — Золян С. Т. Между взрывом и застоём: постсоветская история как культурно-семиотическая проблема // Логос. 1999. № 9 (19). С. 80–86.
- Золян 2005 — Золян С. Т. Семиотика и семантика исторического дискурса // Интерпретация. Понимание. Перевод: сб. науч. статей / под ред. В. Е. Чернявской. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2005. С. 65–73.
- Золян 2010 — Золян С. Т. Язык и политическая реальность: перечитывая Орвелла // Язык, общество, коммуникация. Т. 1. Ереван: Лингва, 2010. С. 21–31.
- Золян 2012а — Золян С. Т. О «долженствующем быть» в истории // Золян С., Лотман М. Исследования в области семантической поэтики акмеизма. Таллинн: Изд-во Таллиннского ун-та, 2012. С. 291–315.
- Золян 2012б — Золян С. Т. «Последняя сказка Пушкина»: Поэтика недосказанного // Золян С., Лотман М. Исследования в области семантической поэтики акмеизма. Таллинн: Изд-во Таллиннского ун-та, 2012. С. 238–265.
- Золян 2013 — Золян С. Т. «Бесконечный лабиринт сцеплений»: Семантика текста как многомерная структура // Критика и семиотика. 2013. № 1 (18). С. 18–44.
- Золян 2014 — Золян С. Т. Семантика и структура поэтического текста. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2014.
- Золян, Лотман 2012 — Золян С., Лотман М. Исследования в области семантической поэтики акмеизма. Таллинн: Изд-во Таллиннского ун-та, 2012.

- Золян, Чернов 1977 — Золян С. Т., Чернов И. А. О структуре языка описания поведения // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1977. Вып. 411. С. 151–163. (Труды по знаковым системам VIII.)
- Кожевникова 1983 — Кожевникова Н. А. О типах повтора в прозе А. Белого // Лексические единицы и организация структуры литературного текста. Калинин, 1983. С. 52–69.
- Кресс 2016 — Кресс Г. Социальная семиотика и вызовы мультимодальности // Политическая наука. 2016. 3. С. 77–100.
- Крипке 1974 — Крипке С. Семантический анализ модальной логики. 1 // Фейс Р. Модальная логика. М., 1974. С. 253–303.
- Крипке 1981 — Крипке С. Семантическое рассмотрение модальной логики // Семантика модальных и интенциональных логик / сост. Г. А. Смирнов. М.: Прогресс, 1981. С. 27–40.
- Крипке 1983 — Крипке С. Тождество и необходимость // Новое в зарубежной лингвистике. М., 1983. Вып. XIII. С. 340–376.
- Куайн 2005 — Куайн У. Еще раз о неопределенности перевода // Логос. 2005. № 2 (47). С. 32–45.
- Левин и др. 1974 — Левин Ю. И, Сегал Д. М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В. Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // Russian Literature. 1974. № 7/8. Р. 47–82.
- Леви-Строс 1983 — Леви-Строс К. Структура и форма: Размышления об одной работе Владимира Проппа / пер. с франц. Г. К. Косикова // Семиотика / сост. Ю. С. Степанов. М.: Радуга, 1983. С. 400–429.
- Лихачев 1962 — Лихачев Д. С. Текстология: На материале русской литературы X–XVII вв. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1962.
- Лихачев 1967 — Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. Л.: Наука, 1967.
- Лотман 1957 — Лотман Ю. М. Эволюция мировоззрения Карамзина (1789–1803) // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1957. Вып. 51. С. 3–32.
- Лотман 1959 — Лотман Ю. М. Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов — поэт, публицист и общественный деятель // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1959. Вып. 78. С. 19–92. (Труды по русской и славянской филологии II.)
- Лотман 1961 — Лотман Ю. М. Пути развития русской прозы 1800–1810-х годов // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту, 1961. Вып. 104. С. 3–57. (Труды по русской и славянской филологии IV.)

- Лотман 1963 — *Лотман Ю. М.* О разграничении лингвистического и литературоведческого понятия структуры // Вопросы языковедения. 1963. № 3. С. 44–52.
- Лотман 1966 — *Лотман Ю. М.* К проблеме типологии текстов // Тезисы докладов во Второй летней школе по вторичным моделирующим системам, 16–26 августа 1966 г. / отв. ред. Ю. Лотман. Тарту: ТГУ, 1966. С. 83–91.
- Лотман 1967а — *Лотман Ю. М.* К проблеме типологии культуры // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1967. Вып. 198. С. 30–38. (Труды по знаковым системам III.)
- Лотман 1967б — *Лотман Ю.* Литературоведение должно быть наукой // Вопросы литературы. 1967. 1. С. 90–100.
- Лотман 1970 — *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М.: Искусство, 1970.
- Лотман 1972 — *Лотман Ю. М.* Анализ поэтического текста: Структура стиха. Л.: Просвещение, 1972.
- Лотман 1973а — *Лотман Ю. М.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллинн: Ээсти раамат, 1973.
- Лотман 1973б — *Лотман Ю. М.* Статьи по типологии культуры: Материалы к курсу теории литературы. Вып. 2. Тарту: ТГУ, 1973.
- Лотман 1975а — *Лотман Ю. М.* Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Литературное наследие декабристов / под ред. В. Г. Базанова, В. Э. Вацууро. Л.: Наука, 1975. С. 25–74.
- Лотман 1975б — *Лотман Ю. М.* О Хлестакове // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1975. Вып. 369. С. 19–53. (= Труды по русской и славянской филологии. Литературоведение. Вып. XXVI.)
- Лотман 1975в — *Лотман Ю. М.* Роман в стихах Пушкина «Евгений Онегин»: Спецкурс: Вводные лекции в изучение текста. Тарту: ТГУ, 1975.
- Лотман 1976 — *Лотман Ю. М.* Бытовое поведение и типология культуры в России XVIII в. // Культурное наследие древней Руси: Истоки. Становление. Традиции / ред. В. Г. Базанов. М.: Наука, 1976. С. 292–297.
- Лотман 1977а — *Лотман Ю. М.* Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып. 411 Тарту: ТГУ, 1977. С. 65–69. (Труды по знаковым системам VIII.)

- Лотман 1977б — *Лотман Ю. М.* Текст и структура аудитории // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1977. Вып. 422. С. 55–61. (Труды по знаковым системам IX.)
- Лотман 1978 — *Лотман Ю. М.* Динамическая модель семиотической системы // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1978. Вып. 464. С. 18–33. (Труды по знаковым системам X: Семиотика культуры.)
- Лотман 1979 — *Лотман Ю. М.* Театральный язык и живопись. (К проблеме иконической риторики) // Театральное пространство. М., 1979. С. 238–252.
- Лотман 1980 — *Лотман Ю. М.* Роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин». Комментарий. Л.: Просвещение, 1980.
- Лотман 1981а — *Лотман Ю. М.* Семиотика культуры и понятие текста // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1981. Вып. 515. С. 3–7. (Труды по знаковым системам XII.)
- Лотман 1981б — *Лотман Ю. М.* Текст в тексте // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1981. Вып. 567. С. 3–18. (Труды по знаковым системам XIV.)
- Лотман 1982 — *Лотман Ю. М.* От редакции // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1982. Вып. 576. С. 3–9. (Труды по знаковым системам XV: Типология культуры. Взаимное воздействие культур.)
- Лотман 1983 — *Лотман Ю. М.* Асимметрия и диалог // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1983. Вып. 635. С. 15–30. (Труды по знаковым системам XVI: Текст и культура.)
- Лотман 1984 — *Лотман Ю. М.* О семиосфере // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1984. Вып. 641. С. 5–23. (Труды по знаковым системам XVII.)
- Лотман 1986 — *Лотман Ю. М.* К современному понятию текста // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1986. Вып. 736. С. 104–108. (Исследования по общему и сопоставительному языкознанию: Linguistica.)
- Лотман 1987 — *Лотман Ю. М.* Сотворение Карамзина. М.: Книга, 1987.
- Лотман 1988а — *Лотман Ю. М.* Клио на распутье // Наше наследие. 1988. № 5. С. 1–4.
- Лотман 1988б — *Лотман Ю. М.* К семиотике зеркала и зеркальности // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1988. Вып. 831. С. 3–5. (Труды по знаковым системам XXII: Зеркало. Семиотика зеркальности.)

- Лотман 1989 — *Лотман Ю. М.* Выход из лабиринта // *Эко У.* Имя розы / пер. с итал. Е. Костюкович. М.: Книжная палата, 1989. С. 468–481.
- Лотман 1992а — *Лотман Ю. М.* Культура и взрыв. М.: Прогресс: Гнозис, 1992.
- Лотман 1992б — *Лотман Ю. М.* Мозг — текст — культура — искусственный интеллект // *Лотман Ю. М.* Избранные статьи: в 3 т. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 25–33.
- Лотман 1992в — *Лотман Ю. М.* Риторика // *Лотман Ю. М.* Избранные статьи: в 3 т. Т. I: Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллинн: Александра, 1992. С. 167–183.
- Лотман 1994а — *Лотман Ю. М.* Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа / сост. А. Д. Кошелев. М.: Гнозис, 1994. С. 17–263.
- Лотман 1994б — *Лотман Ю. М.* Смерть как проблема сюжета // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 417–430.
- Лотман 1994в — *Лотман Ю. М.* Иллюзия достоверности — достоверность иллюзии: (о монографии М. Дрозды «Нарративные маски русской художественной прозы») // *Russian literature.* 1994. Vol. XXXV. No. III/IV. P. 277–286.
- Лотман 1999а — *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской культуры, 1999.
- Лотман 1999б — *Лотман Ю. М.* Три функции текста // *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров: Человек — текст — семиосфера — история. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 11–22.
- Лотман 2002 — *Лотман Ю. М.* Статьи по семиотике культуры и искусства / сост. Р. Г. Григорьев; предисл. С. М. Даниэля. СПб.: Академический проект, 2002.
- Лотман 2008 — *Лотман Юрий.* Несколько вводных слов // *Sign Systems Studies.* 2008. No. 36/2 P. 509–511.
- Лотман 2010 — *Лотман Ю. М.* Непредсказуемые механизмы культуры / подгот. текста и примеч. Т. Д. Кузовкиной при участии О. И. Утгоф; предисл. Вяч. Вс. Иванова; послесл. Б. Ф. Егорова, Таллинн: TLU Press, 2010 (= *Bibliotheca Lotmaniana*).
- Лотман, Пятигорский 1968 — *Лотман Ю. М., Пятигорский А. М.* Текст и функция // III летняя школа по вторичным моделирующим систе-

- мам: Тезисы: Кяэрику 10–20 мая 1968 / под ред. Ю. М. Лотмана. Тарту: ТГУ, 1968. С. 74–88.
- Лотман, Успенский 1973 — *Лотман Ю. М., Успенский Б. А.* Миф — имя — культура // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1973. Вып. 308. С. 282–303. (Труды по знаковым системам VI.)
- Лотман, Цивьян 1994 — *Лотман Ю., Цивьян Ю.* Диалог с экраном. Таллинн: Александра, 1994.
- Лукаевич 1999 — *Лукаевич Ян.* О детерминизме // *Философия и логика Львовско-Варшавской школы.* М.: РОССПЭН, 1999. С. 179–197.
- Луман 2004 — *Луман Н.* Общество как социальная система / пер. с нем. А. Антоновского. М.: Логос, 2004.
- Лурье 1976 — *Лурье Я. С.* О гипотезах и догадках в источниковедении // *Источниковедение отечественной истории.* М.: Наука, 1976. С. 26–41.
- Малиновский 2005 — *Малиновский Бр.* Проблема значения в примитивных языках [1923] / пер. с англ. В. Н. Поруса // *Эпистемология и философия науки.* 2005. V/3. С. 199–233.
- Мандельштам 1987а — *Мандельштам О.* Слово и культура [1921] // *Мандельштам О.* Слово и культура. О поэзии: Статьи / сост. П. Нерлера. М.: Советский писатель, 1987. С. 39–43.
- Мандельштам 1987б — *Мандельштам О.* Выпад // *Мандельштам О.* Слово и культура. О поэзии: Статьи / сост. П. Нерлера М.: Советский писатель, 1987. С. 44–46.
- Мандельштам 1990 — *Мандельштам О.* Сочинения: в 2 т. Т. 2: Проза, переводы. М.: Художественная литература, 1990.
- Матурана 1995 — *Матурана У.* Биология познания // *Язык и интеллект* / сост. В. В. Петров. М.: Прогресс, 1995. С. 95–142.
- Мельникова, Минц 1984 — *Мельникова Е. Г., Минц З. Г.* Симметрия-асимметрия в композиции «III симфонии» А. Белого // ТЗС. Вып. 17. Тарту, 1984. С. 84–92.
- Николаева 1977 — *Николаева Т. М.* Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики // *Известия АН СССР. Сер. лит. и яз.* 1977. Т. 36. № 4. С. 304–313.
- Николаева 1978 — *Николаева Т. М.* Лингвистика текста: Современное состояние и перспективы // *Новое в зарубежной лингвистике.* Вып. 8: Лингвистика текста / сост., общ. ред. и вступит. ст. Т. М. Николаевой. М.: Прогресс, 1978. С. 5–39.

- Поппер 1992 — *Поппер К.* Открытое общество и его враги. Т. II: Время лжепророков: Гегель, Маркс и другие оракулы. М.: Культурная инициатива, 1992.
- Поппер 1993 — *Поппер К.* Нищета историцизма. М.: Прогресс, 1993.
- Прайор 1981 — *Прайор А. И.* Временная логика и непрерывность времени // Семантика модальных и интенциональных логик. М.: Прогресс, 1981 С. 76–97.
- Пригожин, Стенгерс 1986 — *Пригожин И., Стенгерс И.* Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М.: Прогресс, 1986.
- Пропп 1928 — *Пропп В. Я.* Морфология сказки. Л.: Academia, 1928.
- Пушкин — *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: в 16 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937–1959.
- Уединенный домик — *Пушкин А. С.* Уединенный домик на Васильевском: Приложение // *Пушкин А. С.* Полное собр. соч.: в 10 т. Л.: Наука, 1979. Т. 9. С. 351–373.
- Платон 1994. — *Платон.* Государство // *Платон.* Собр. соч.: в 4 т. Т. 3 / под общ. ред. А. Ф. Loseva, В. Ф. Asmusa, А. А. Тахо-Годи. М.: Мысль. С. 79–420.
- Пятигорский 1962 — *Пятигорский А. М.* Некоторые общие замечания относительно текста как разновидности сигнала // Структурно-типологические исследования / отв. ред. Т. Н. Молошная. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 144–154.
- Пятигорский, Успенский 1967 — *Пятигорский А. М., Успенский Б. А.* Персонологическая классификация как семиотическая система // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1967. Вып. 198. С. 7–29. (Труды по знаковым системам III.)
- Рассел 1982 — *Рассел Б.* Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. Логика и лингвистика (проблемы референции). М., 1982. С. 41–54.
- Рикер 2004 — *Рикер П.* Память, история, забвение. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004.
- Серль 1999 — *Серль Дж. Р.* Логический статус художественного дискурса // Логос. 1999. № 3. С. 33–47.
- Смирнов 1984 — *Смирнов В. А.* Определение модальных операторов через временные // Модальные и интенциональные логики и их применение к проблемам методологии науки. М.: Наука, 1984. С. 14–31.

- Соссюр 1977 — *Соссюр Ф. де*. Курс общей лингвистики / пер. с франц. А. М. Сухотина, перераб. А. А. Холодовичем // *Соссюр Ф. де*. Труды по языкознанию / под ред. А. А. Холодовича. М.: Прогресс, 1977. С. 31–273.
- Тименчик 1981 — *Тименчик Р. Д.* Текст в тексте у акмеистов // ТЗС. Вып. XIV. Тарту, 1981. С. 65–75.
- Толстой 1876 — *Толстой Л. Н.* Письмо к Н. Н. Страхову (Ясная Поляна, 1876, апрель, 23 и 26) // *Толстой Л. Н.* Собр. соч.: в 22 т. Т. 18: Письма, 1842–1881 / сост. и коммент. С. А. Розановой. М.: Художественная литература, 1984. С. 784–785.
- Томашевский 1959 — *Томашевский Б. В.* Писатель и книга: Очерк текстологии / вступит. ст. Б. М. Эйхенбаума. 2-е изд. М.: Искусство, 1959.
- Трунин 2013 — *Трунин М. В.* Переписка Ю. М. Лотмана с Яном Кроссом об историческом романе: русский ученый и эстонский писатель в общем культурном пространстве // *Русская литература*. 2013. № 3. С. 220–234.
- Трунин 2016 — *Трунин М. В.* «Очень плохо отношусь к этому деятелю»: Лотман об Эйзенштейне как предшественнике структурализма // *Новое литературное обозрение*. 2016. № 3. С. 97–110.
- Трунин 2018 — *Трунин М. В.* Неопубликованная статья Вяч. Вс. Иванова «Семиотические модели в экономической этнологии» в историко-научной перспективе // *Новое литературное обозрение*. 2018. № 1. С. 195–214.
- Трунин, в печати — *Трунин М. В.* О невышедшем сборнике «Историко-филологические исследования (Семиотика. Компаративистика. Типология)» / под ред. Ю. М. Лотмана и К. В. Айвазяна (в печати).
- Уайт 2002 — *Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург: Изд-во Екатеринбургского ун-та, 2002.
- Фреге 1977 — *Фреге Г.* Смысл и денотат // *Семиотика и информатика*. М.: ВИНТИ, 1983. Вып. 8. С. 181–210.
- Фрезер 1986 — *Фрезер Дж.* Золотая ветвь. М.: Изд. политической литературы, 1986.
- Фукаяма 1990 — *Фукаяма Ф.* Конец истории? // *Вопросы философии*. 1990. № 3. С. 134–148.
- Хоренацци 1990 — *Хоренацци М.* История Армении / пер. с др.-арм., введ. и примеч. Г. Саркисяна. Ереван: Айастан, 1990.
- Цветаева 1980 — *Цветаева М.* Пушкин и Пугачев // *Цветаева М.* Соч.: в 2 т. Т. 2. М.: Художественная литература, 1980. С. 368–398.

- Чернов 1967 — *Чернов И. А.* О семиотике запретов // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. Тарту: ТГУ, 1967. Вып. 198. С. 45–60. (Труды по знаковым системам III.)
- Элиаде 1987 — *Элиаде М.* Космос и история: Избранные работы. М.: Прогресс, 1987.
- Якобсон 1983 — *Якобсон Р.* В поисках сущности языка // Семиотика / сост. Ю. С. Степанов. М.: Прогресс, 1983. С. 102–117.
- Якобсон 1987 — *Якобсон Р.* Статуя в поэтической мифологии Пушкина // *Якобсон Р.* Работы по поэтике. М.: Прогресс, 1987. С. 145–180.
- Ясперс 1991 — *Ясперс К.* Смысл и назначение истории. М.: Изд-во политической литературы, 1991.
- Aase et al 2009 — *Aase L., Fleming M., Ongstad S., Pieper I., Samihaian F.* Reading // Platform of resources and references for plurilingual and intercultural education Language Policy Division. Council of Europe. Strasbourg, 2009.
- Andersen et al. 2015 — *Andersen Th. H., Boeriis Morten, Maagerø E., Tønnesen E. S.* Social Semiotics: Key Figures, New Directions. London; New York: Routledge, 2015.
- Austin 1962 — *Austin J. L.* How to Do Things With Words: The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955 / ed. by J. O. Urmson, M. Sbisà. Oxford: Clarendon, 1962.
- Bezemer, Jewitt 2009 — *Bezemer J., Jewitt C.* Social Semiotics // Handbook of Pragmatics: 2009 Installment / ed. by Jan-Ola Östman, J. Verschueren, E. Versluys. Amsterdam: John Benjamins, 2009. P. 1–13.
- Burrow 2009 — *Burrow J.* A History of Histories: Epics, Chronicles, Romances and Inquiries From Herodotus and Thucydides to the Twentieth Century. London: Penguin, 2009.
- Cobley, Randviir 2009 — *Cobley P., Randviir A.* Introduction: What is sociosemiotics? // *Semiotica*. 2009. 173–1/4. P. 1–39.
- Cresswell 1979 — *Cresswell M. J.* The world is everything that is the case // Loux. 1979. P. 129–145.
- Cresswell 1983 — *Cresswell M. J.* The highly impossible scene. The semantics of visual contradiction // Meaning, use and interpretation of language / ed. by R. Bauerle, R. Shwarze, A. Stechow. Berlin; N. Y.: W. de Gruyter, 1983. P. 62–78.

- Crossroads 2009 — Crossroads of European histories: Multiple outlook on five key moments in the history of Europe. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2009.
- Dijk 1977 — *Dijk T. A. van*. Text and Context. London: Longman, 1977.
- Dijk 2004 — *Dijk T. A. van*. From Text Grammar to Critical Discourse Analysis. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra, 2004.
- Dijk, Kintch 1978 — *Dijk T. A. van, Kintsch W.* Toward a Model of Text Comprehension and Production // *Psychological Review*. 1978. Vol. 85 (5). P. 363–394.
- Dovrig 1997 — *Dovrig K.* English as Lingua Franca. Double Talk in global persuasion. Praeger Publishers, 1997.
- ESV — Tallinna Ülikool. Eesti Semiootikavaramu Sihtasutus (Таллиннский университет. Эстонский фонд семиотического наследия).
- Halliday 1978 — *Halliday M. A. K.* Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. Baltimore: University Park Press, 1978.
- Halliday 2009 [1975] — *Halliday M. A. K.* Language as Social Semiotic: Towards a General Sociolinguistic Theory // *Halliday M. A. K. Collected works*. Edited by Jonathan J. Webster. Vol. 10: Language and Society. London: Bloomsbury, 2009: 169–203
- Halliday, Hasan 1976 — *Halliday M. A. K., Hasan R.* Cohesion in English. London: Longman, 1976.
- Harris 1952 — *Harris Z. S.* Discourse Analysis // *Language*. 1952. Vol. 28. No 1. P. 1–30.
- Hintikka 1972 — *Hintikka J.* The semantics of modal notions and the indeterminacy of ontology // *Semantics of natural language*. Dordrecht, 1972. P. 398–413.
- Hodge, online — *Hodge Bob (Robert)*. Social Semiotics // *Semiotics Encyclopedia Online*. Editor in chief Paul Bouissac. https://semioticon.com/seo/S/social_semiotics.html# (дата обращения 03.09.2017).
- Hodge, Kress 1979 — *Hodge R., Kress G.* Language as Ideology. London; Boston; Henley: Routledge & Kegan Paul, 1979.
- Hodge, Kress 1988 — *Hodge R., Kress G.* Social Semiotics. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988.
- Jenkins 1997 — *Jenkins K.* The Postmodern History Reader / ed. by K. Jenkins. London; New York: Routledge, 1997.
- Kaplan 1979 — *Kaplan D.* Transworld heir lines // *Loux*. 1979. P. 88–109.

- Kress 2011 — *Kress G.* Multimodal discourse analysis // *The Routledge Handbook of Discourse Analysis* / ed. by J. P. Gee, M. Handford. London; New York: Routledge, 2011. P. 35–50.
- Kress, van Leeuwen 1996 — *Kress G., Leeuwen Th. van.* Reading Images: The Grammar of Visual Design. London; New York: Routledge, 1996.
- Kripke 1963 — *Kripke S. A.* Semantical Analysis of Modal Logic I: Normal Modal Propositional Calculi // *Zeitschrift für Mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik*. 1963. Bd 9. S. 67–96.
- Leeuwen 2005 — *Leeuwen Th. van.* Introducing Social Semiotics. London; New York: Routledge, 2005.
- Lemke 1988 — *Lemke J. L.* Towards a Social Semiotics of the Material Subject // *Working Papers* / ed. by T. Threadgold. Vol. 2: Sociosemiotics. Sydney: Sydney Association for Studies in Society and Culture, 1988. P. 1–17.
- Lévi-Strauss 1955 — *Lévi-Strauss C.* The Structural Study of Myth // *The Journal of American Folklore*. 1955. Vol. 68. No. 270: Myth: A Symposium. P. 428–444.
- Lewis 1978 — *Lewis D.* Truth In Fiction // *American Philosophical Quarterly*. 1978. Vol. 15. No. 1. P. 37–46.
- Lewis 1979 — *Lewis D.* Possible worlds // *Loux*. 1979. P. 182–189.
- Lewis 1981 — *Lewis D.* Index, content and context // S. Kanger and S. Ohman (eds.). *Philosophy and grammar*. Dordrecht; London: Reidel, 1981. P. 79–100.
- Lewis 1983 — *Lewis D.* Individuation by acquaintance and by stipulation // *Philosophical review*. 1983. Vol. 92. No. 1. P. 3–32.
- Lindstrand 2008 — *Lindstrand Fr.* Interview with Gunther Kress // *Designs for Learning*. 2008. No. 1 (2). P. 60–71.
- Lorenz 1972 — *Lorenz E. N.* Predictability: does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off a tornado in Texas? 139th Annual Meeting of the American Association for the Advancement of Science (29 Dec. 1972) // *Lorenz E. N.* *Essence of Chaos*. University of Washington. 1995, Appendix 1. P. 181–184.
- Loux 1979 — *Loux M. J.* (ed.) *The possible and the actual*. Ithaca; L.: Cornell UP, 1979.
- Lotman 1985 — *Lotman J.* Tõnjanovi romaanist «Puškin» // *Tõnjanov J.* *Puškin / Tõlkinud O. Samma ja I. Saks*. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. Lk. 456–462.

-
- Orwell 1968 — *Orwell G.* As I Please [«Tribune», 4 February 1944] // *The Complete Works of George Orwell*. Vol. 16: I Have Tried To Tell the Truth. London: Secker & Warburg, 1943–1944.
- Perry 1979 — *Perry J.* The problem of essential indexicals // *Nous*. 1979. Vol. 12. No. 1. P. 3–21.
- Ricoeur 1981 — *Ricoeur P.* What is a text? Explanation and understanding // *Ricoeur P.* *Hermeneutics and the Human Sciences*. Essays on language, action, interpretation. Cambridge UP, 1981. P. 145–164.
- Roberts 2001 — *Roberts G.* *The History and Narrative Reader*. London; New York: Routledge, 2001.
- Searle 1969 — *Searle J. R.* *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press, 1969.
- Searle 1995 — *Searle J. R.* *The Construction of Social Reality*. New York: Free Press, 1995.
- Trifonas (ed.) 2015 — *Trifonas P. P.* (ed.) *International Handbook of Semiotics*. Dordrecht: Springer, 2015.
- Vendler 1975 — *Vendler Z.* Causal relation // *The logic of grammar*. Encino: Belmont, 1975. P. 255–261.

М. Ю. Лотман

ТЕКСТ В КОНТЕКСТЕ ТАРТУСКО-МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Текст — одно из ключевых понятий Тартуско-московской семиотической школы (ТМШ). Ставшее предметом активного обсуждения после публикации первой структуралистской монографии Ю. М. Лотмана, открывшей серию семиотических изданий Тартуского университета [Лотман 1964], оно имело целый ряд импликаций не только в области поэтики, но и в целом ряде других областей семиотического знания [ср. Лотман М. 1995]. При этом само понятие текста претерпело знаменательную эволюцию.

Концепция текста в ТМШ и, в первую очередь, в наследии Ю. М. Лотмана привлекала и привлекает внимание исследователей ([Shukman 1977; Grzybek 1979; Lachmann 1987; Леута 2009; Лахманн 2011 и др.], особенно подробно в ряде публикаций С. Т. Золяна [2016 и др.], собранных в настоящем томе). Предлагаемые заметки не имеют своей целью всесторонний анализ проблемы, их задачи скромнее: во-первых, я попытаюсь раскрыть — в самых общих чертах — контекст, в котором складывалась и развивалась теория текста, и, во-вторых, наметить основные траектории развития концепции текста, которые, возможно, станут ориентирами для дальнейших исследований в этой области.

Осознание текста в качестве самостоятельной проблемы произошло сравнительно поздно: в середине 1950-х годов, причем осознание это в лингвистике и поэтике было связано с разными причинами и шло различными путями. Классический структурализм

проблемы текста не знал, и само понятие текста было с его точки зрения чем-то маргинальным, находящимся за пределами основного направления развития науки о языке. Соссюр разделил языковую область на собственно язык и речь, причем именно язык представлял для него основной интерес. Текст же являлся всего лишь фиксированной разновидностью речи.

Лингвистический структурализм развивался в соответствии с декартовским принципом развития науки: от простого к сложному, от частей к целому. Основополагающие работы в области фонологии нашли продолжение в области морфологии и, далее, синтаксиса. Возник вопрос о верхней границе лингвистических единиц: является ли наибольшей языковой единицей сложноподчиненное предложение или существуют лингвистически релевантные надфразовые образования. Так, выдающийся лингвист Эмиль Бенвенист утверждал, что высшей единицей языковой структуры является предложение [Бенвенист 1974]. Между тем уже в 1952 году Зеллиг Харрис опубликовал пионерскую работу, в которой показал, что регулярные ограничения, накладываемые на синтаксические структуры, выходят за рамки предложения [Harris 1952]. Это исследование дало толчок развитию лингвистики текста. Первоначально дело шло лишь о межфразовых отношениях, и, строго говоря, это была лингвистика не текста, а сверхфразовых единств [van Dijk 1972; Petöfi 1983; Dressler, de Beaugrande 1981 и др.]. В рамках ТМШ сверхфразовым синтаксисом продуктивно занимался Б. М. Гаспаров и его ученики [Гаспаров 1975а; 1975б и др.]; Е. В. Падучева выявила связь межфразовых отношений с актуальным членением [Падучева 1964]. Удалось также разработать формальную модель семантических отношений на сверхфразовом уровне [Лотман М. 1988].

Дальнейшие исследования в области семантики и прагматики позволили говорить о тексте как структурном образовании, не сводимом к сумме своих составляющих. Лингвистика текста заняла положение, промежуточное между собственно лингвистикой и риторической поэтикой. Если развитие лингвистики шло в направлении от простого к сложному, то в поэтике, напротив, текст является первичной реальностью, подлежащей декомпозиции в ходе последующего анализа. Если в лингвистике было более или

менее очевидно, из каких единиц состоит текст, проблему же представлял текст как целое, то в поэтике, напротив, текст являлся непосредственной данностью, а на какие эстетически релевантные части он разлагается, приходилось решать в каждом конкретном случае *ad hoc*.

В другом ракурсе проблему текста представляли исследования в области лингвистической и художественной коммуникации. Здесь текст рассматривается с функциональной точки зрения как разновидность закодированного сигнала. Классическая работа Романа Jakobson широко известна [Jakobson 1960], она стимулировала многочисленные исследования. Jakobson связал структуру языковой коммуникации с функциями языка, переформулировав принципиальным образом сосюрговскую дихотомию: оппозицию языка и речи интерпретировал в качестве соотношения кода и сообщения. Это, казалось бы, чисто терминологическое решение имело далекоидущие последствия, поскольку переводило проблему в область общей теории коммуникации. А. М. Пятигорский [1962] охарактеризовал текст в качестве субъективного события (сигнала), имеющего объективные последствия; текст-сигнал является сингулярным событием, вместе с тем каждый текст вне зависимости от его внутренних характеристик является потенциальным произведением в ряду других вербальных и невербальных произведений. Эти положения получили развитие в совместной с Ю. М. Лотманом заметке [Лотман, Пятигорский 1968], ставшей отправной точкой для дальнейших исследований в области текста в рамках ТМШ.

Новое понимание текста позволило использовать при его анализе методы, выработанные в лингвистике для анализа языковых, а не речевых структур. Метод бинарных оппозиций был разработан Н. С. Трубецким для анализа явлений фонологии (а не фонетики), т. е. языковых, а не речевых элементов, однако Клод Леви-Строс [1985] с успехом применил его при анализе мифологии и структур родства, а Ю. М. Лотман — при анализе художественных структур [Лотман 1964; 1972 и др.]. Художественный текст далеко не всегда является реализацией заранее сформированного языка, но сам создает свой язык в ходе своего создания — оппозиция языка и речи в художественном творчестве оказывается суще-

ственно модифицированной по сравнению с тем, что, по мнению Соссюра, имеет место в языковой сфере (*langage*). Ю. М. Лотман делает отсюда еще более радикальный вывод: «В реальной истории культуры мы неоднократно сталкиваемся со случаями, когда появление текста предшествует появлению языка и стимулирует это последнее» [Лотман 1981: 28]. История культуры знает немало таких «языкопорождающих» текстов.

В другом, но тоже исключительно важном направлении развивалась концепция текста во французском структурализме. Если для тартуского структурализма текст своей замкнутостью и имманентностью отдался от речи и приближался к языку, то для Ролана Барта [1989], Мишеля Фуко [1996] и др. был важен, напротив, принципиально открытый характер текста как языкового высказывания. Здесь также вначале была, казалось бы, невинная терминологическая замена: при сохранении основной соссюровской дихотомии языка (*langue*) и речи (*parole*) наименование последней было заменено на практически синонимический термин *discours*. Поначалу это решение было чревато недоразумениями, поскольку ассоциировалось с дискурсивным анализом З. Харриса и его последователей (ср. выше), однако вскоре именно такое понимание дискурса стало преобладающим. Дискурс в трактовке Барта и, особенно, Фуко, но отчасти и Бенвениста (например, Бенвенист 1974б) не вмещается не только в рамки речи, но и всей соссюровской языковой деятельности (*langage*); понятие дискурса включает целый ряд экстралингвистических — социополитических и психологических — параметров. Таким образом, понятие дискурса не только поглощает собой область речи, но и снимает само противопоставление речи и языка.

Сказанное имело важные последствия и для теории текста. Если классический структурализм предпочитал рассматривать текст в его замкнутости (ср. внимание к границам текста), то дискурсивный анализ заставил сместить акцент в сторону интертекстуальности. Более того, не только названные авторы, но и менее радикальный Умберто Эко [Есо 1979; 1989 и др.] настаивали на принципиальной открытости и проницаемости текста.

Можно сказать, что французский (пост)структурализм и ТМШ, исходя из общих посылок, двигались в противоположных,

но дополняющих друг друга направлениях. Согласно Барту и Фуко, в дискурсивных практиках растворяются границы текстов, интенции их авторов, осознанность их содержания — дискурсивное пространство обладает одновременно и дотекстовым и надтекстовым статусом. Текст же, напротив, индивидуален и — забегая вперед — личностен. Сопоставление дискурса с потоком сознания и, далее, с фрейдовским бессознательным является едва ли не общим местом (ср. также дискурсивную трактовку бессознательного у Лакана). С точки зрения теории текста более продуктивным представляется рассмотрение антиномии дискурса и текста в свете проблематики философии поступка М. М. Бахтина [1986]. Поступок противопоставит физиологическому акту, но не в состоянии отменить саму физиологию. Если дискурсивный анализ речевого произведения выявляет его «физиологические» параметры, то текстуальный подход интерпретирует его в качестве поступка, т. е. как результат осознанного и ответственного действия.

Хотя уже в «Лекциях по структуральной поэтике» [Лотман 1964] последняя глава была посвящена соотношению внутри- и внетекстовых связей, внимание читателей привлекали, в первую очередь, первые¹; в «Структуре художественного текста» [1972] анализ внетекстовых связей помещается уже в центральные главы монографии. В дальнейшем различные механизмы интертекстуальности привлекали все большее внимание исследователей в ТМШ [ср. Минц 1973; 1992].

В близком направлении развивались исследования акмеизма в трудах К. Ф. Тарановского — внимательного читателя изданий ТМШ. Если в первых работах, посвященных поэтике Мандельштама, К. Ф. Тарановский придерживался традиционной парадигмы цитаций и влияний, то начиная с заметки о «Сеновале» он последовательно отстаивает преимущества «открытой» интерпре-

¹ Зато в комментариях к позднему изданию «Лекций» В. С. Баевский так охарактеризовал заключительную главу книги: «Сегодня хорошо видно, что в этой исключительной по судьбе небольшой книге, открывшей мощное научное направление, данный и следующий параграфы выдвинули наибольшее количество идей, вошедших в теорию литературы» [Баевский 1994: 254].

тации художественного текста [Тарановский 1973]². Главное же достижение К. Ф. Тарановского в области теоретической поэтики заключалось в разработке методики контекстуального и подтекстуального анализа [Taranovsky 1976; ср. также Ронен 1973; Левинтон, Тименчик 1978], причем такой подход к художественному тексту позволяет использовать формальный аппарат логико-лингвистической прагматики, поскольку подтексты могут интерпретироваться в качестве пресуппозиций [Лотман М. 1984].

Прагматическая перспектива подспудно присутствовала и в лингвистической теории текста, начиная по крайней мере с модели языковой коммуникации Бюлера — Якобсона [Bühler 1999; Jakobson 1960]. В публикациях Ю. М. Лотмана якобсоновская концепция языковой коммуникации и ее схема были подвергнуты существенному пересмотру. Схема Якобсона статична: код, контекст и контакт, равно как отправитель (адресант) и получатель (адресат), существуют до акта коммуникации и, очевидно, вне зависимости от нее³. По Ю. М. Лотману, всякий акт коммуникации динамичен. Акт коммуникации не есть передача готового сообщения: не только сообщение (текст) не возможно без кода (языка), но и напротив — язык в отсутствие сообщений на нем мертв, более того, язык развивается за счет создаваемых на нем текстов, а подчас — особенно в сфере художественного творчества — и создается ими (на что указывал и сам Якобсон, правда безотносительно к своей схеме коммуникации). Столь же динамично и соотношение остальных компонентов коммуникативной ситуации. Контекст — это со-текст (кон-текст), он не может существовать до текста; в той же мере, в какой текст зависит от контекста, и контекст зависит от текста, создается им. Акт коммуникации есть акт пере-

² Несколько позднее следующий шаг сделает в уже названной работе Умберто Эко, согласно которому не только интерпретация, но и сам текст представляет собой открытую структуру, предполагающую плюрализм интерпретаций [Eco 1979].

³ Определенные коррективы, динамизирующие ситуацию, вносит фатическая функция, поскольку, даже по Якобсону, она не обязательно сводится к проверке канала связи (контакта), но в определенных условиях может его создавать.

вода, акт трансформации: текст трансформирует язык, адресата, устанавливает контакт между адресантом и адресатом, трансформирует самого адресанта. Более того, текст трансформируется сам и перестает быть тождественным самому себе.

На двух последних утверждениях следует остановиться несколько подробнее. В статье «Текст и структура аудитории» [Лотман 1977б] показывается активность текста в выборе и даже создании своей аудитории. Когда М. Л. Гаспаров как-то обмолвился, что Россия — это читатели Пушкина, то он в афористической форме выразил эту же идею: тексты Пушкина создали некоторое сообщество; нельзя сказать, что без этих текстов России бы не было, но можно определенно утверждать, что ее не было бы в том виде, в каком мы ее знаем. Дело не сводится к влиянию того или иного текста на своих читателей или слушателей. «Между текстом и аудиторией складывается отношение, которое характеризуется не пассивным восприятием, а имеет природу диалога» [Лотман 1977б: 55]. Диалог этот обогащает и трансформирует обоих участников, в частности, получая некий текст, аудитория «может вспомнить то, что ей было неизвестно» [Лотман 1977б: 61], т. е. нечто «внешнее» не просто становится «внутренним» в результате усвоения или заимствования, но становится исконно «своим». С одной стороны, это происходит в результате реализации в тексте определенной стратегии автора, с другой — текст сам является участником диалога, приобретая определенную автономию по отношению к своему автору, а в случаях автокоммуникации и первичность по отношению к нему.

Автокоммуникации посвящена статья «О двух моделях коммуникации в системе культуры» [Лотман 1973а]. Случаи автокоммуникации многочисленны и разнообразны, начиная с внутренней речи и мнемонических заметок и кончая дневниками и текстами исповедального характера, созданными с целью самопознания и самосовершенствования; кроме того, и это для Ю. М. Лотмана имеет принципиальное значение, механизмы автокоммуникации являются существенным компонентом художественного творчества — автор творит не только текст, который воздействует на аудиторию, но, будучи сам частью этой аудитории, творит самого себя. Концепция автокоммуникации имеет кардинальные послед-

ствия для типологии культуры: если на уровне личности автокоммуникация может играть второстепенную роль, то на уровне культуры как целого сумма и значение внутрикультурных коммуникаций преобладает над межкультурными.

Текст неотделим от остальных участников коммуникативного акта, и, влияя на них, трансформируя их, он оказывается нетождественным самому себе. Какие-то компоненты смысла теряют свою актуальность, забываются и отмирают, однако основной вектор развития направлен в сторону обогащения и усложнения смысла: включаясь во все новые внетекстовые связи, структура текста и его семантика постоянно усложняется — все это заставляет вспомнить Гераклита. «Самовозрастающий логос» — так звучал один из первоначальных вариантов заглавия книги «Внутри мыслящих миров» [Лотман 1996].

Одной из движущих сил саморазвития текста является его принципиальная неоднородность, в частности его полиглотизм: каждый текст является реализацией по крайней мере двух семиотически различных языков, из которых один оперирует конвенциональными (символическими по Ч. С. Пирсу) знаками, а другой — иконическими. Это — одно из наиболее принципиальных положений ТМШ, противостоящее всем предшествующим концепциям текста, в том числе Соссюра и Якобсона. Так, поэтический текст реализует конвенциональную систему естественного языка, но также и язык образов, носящий иконический характер, а кроме того, метрическую структуру, представляющую язык третьего типа [Lotman M. 2011; 2012a].

Текст парадоксальным образом сочетает свойства элементарного и замкнутого сигнала и сложнейшей гетерогенной открытой структуры. Эти свойства позволяют рассматривать текст не только в роли носителя информации, но и модели, с одной стороны (индивидуального), сознания, а с другой — культуры (коллективного сознания) в целом. Сила и преимущество семиотических моделей заключается в том, что, используя семиотическую редукцию⁴,

⁴ Я предложил понятие 'семиотическая редукция' (по аналогии с феноменологической редукцией) для обозначения соссюровской методологии, причем последняя понимается в духе наиболее радикальной (и последова-

можно, отбросив все семиотически нерелевантное, получить простые структуры, лежащие в основе самых разнообразных явлений в сфере различных культурных феноменов и коммуникативных процессов. Так, на определенном уровне абстракции можно столь материально различные объекты, как текст, интеллект и культура, описывать при помощи одной и той же семиотической модели или, иными словами, использовать, например, текст в качестве модели культуры, а культуру — в качестве модели текста (ср. также «фонологический анализ» систем родства, осуществленный К. Леви-Стросом).

Семиотически неоднородный текст обладает способностью генерировать новые сообщения. «Роль его отличается активностью: он всегда “знает больше”, чем исходное сообщение» [Лотман 1981: 27]. Текст, подобно интеллекту, является генератором смысла [Лотман 1981]. Работающая модель интеллекта (даже если речь идет об интеллекте искусственном) не может быть монологична; подобно тексту, она должна включать по крайней мере два механизма, работающих на языках различного типа (конвенциональном, например, вербальном и иконическом). Эти механизмы находятся в состоянии постоянного диалога, но порождаемые ими сообщения не полностью переводимы на язык партнера.

Следует отметить, что текст типа Т2 (т. е. семиотически неоднородный текст, например художественный. — М. Л.) обнаруживает черты интеллектуального устройства: он обладает памятью, в которой он может концентрировать свои предшествующие значения, и одновременно он проявляет способность, включаясь в коммуникативную цепь, создавать новые нетривиальные сообще-

тельной) интерпретации идей «Курса». Для выделения языковой знаковости в чистом виде нужно последовательно элиминировать все факторы, связанные с, во-первых, пространственными, во-вторых, временными, в-третьих, психологическими и, в-четвертых, материальными условиями. Язык (*langue*) есть чистая потенциальность, не локализуемая ни в физическом, ни в ментальном пространстве [Lotman 2012b]. Лишь выделив семиотический механизм в чистом виде, можно в дальнейшем исследовать его социокультурные, психологические, исторические, географические и т. п. манифестации (сам Соссюр, кажется, опасался столь радикальных выводов из собственной теории, ближе всего к такому пониманию языка подошел Л. Ельмслев).

ния. Если принять определение разумной души, которое дал Гераклит Эфесский: «Психее присущ самовозрастающий логос», то Т2 может рассматриваться как один из объектов, обладающих этим свойством.

Вопрос о «памяти текста», несмотря на его исключительную сложность, уже находится в определенной — хотя все еще начальной — стадии рассмотрения (ср. введенное М. М. Бахтиным понятие «память жанра»). Более неожиданным может показаться представление о тексте как мыслящем устройстве. <...> «Самовозрастающий логос» не подразумевает, а исключает изолированность. Мыслящее устройство не может работать в изоляции. Это подтверждается и индивидуальным «естественным разумом» (в значении, параллельном термину «естественный язык»), и вторичным коллективным разумом культуры [Лотман 1981: 27–28]⁵.

Сказанное справедливо как для отдельно взятого текста, так и для (индивидуального) интеллекта, и для культуры (коллективного интеллекта) как целого, рассматриваемого в качестве своего рода сверхтекста. Поскольку речь идет, в первую очередь, о человеческом интеллекте, то в силу функциональной асимметрии мозга сообщения иконического механизма передаются обычно в переводе на вербальный язык: визуальные структуры переводятся в вербальные⁶. Так порождаются метафоры и вообще значительная часть языковой образности [Lotman M. 2011; 2012a].

То, что текст характеризуется определенными семиотическими параметрами, свойственными личности — текст, в частности, обладает определенным поведением и судьбой, — позволяет использовать его в качестве модели поведения вообще и человеческого поведения в частности. Такие метафоры, как «книга жизни»

⁵ Семиотическая теория нетождественности текста самому себе, возрастанию его смысла и включенности в некий супертекст находит параллели в поэтологии русского модернизма и, особенно, акмеизма; ср. концепцию мирового поэтического текста [Левин и др. 1974].

⁶ В этом смысле особый интерес представляет жанр экфрасиса, который может быть интерпретирован в качестве экстериоризации работы человеческого сознания. Неслучайно традиционное европейское образование включает в качестве обязательного компонента умение «рассказать картинку».

встречаются в различные эпохи в самых различных культурах; ср. также более современные и, одновременно, более специфические образования типа 'текст поведения', 'жизнетворчество' и др. Семиотический смысл этих метафор (а каждая метафора является своего рода моделью) был описан значительно позже [ср. Лотман 1973б; 1975; 1977а; Золян, Чернов 1977; Паперно 1979].

Поведение человека осмысленно. Это означает, что деятельность человека подразумевает какую-то цель. Но понятие цели неизбежно включает в себя представление о некоем конце события. Человеческое стремление приписывать действиям и событиям смысл и цель подразумевает расчлененность непрерывной реальности на некоторые условные сегменты. Это же неизбежно сопрягается со стремлением человека понять то, что является предметом его наблюдения. <...> То, что не имеет конца — не имеет и смысла. Осмысление связано с сегментацией недискретного пространства. В этом отношении приписывание реальности значений, в частности, в процессе художественного осмысления, неизбежно включает в себя сегментацию [Лотман 1993: 1].

Поведение личности, с одной стороны, детерминируется различными социокультурными кодами, а с другой — свободой выбора, выводящей за пределы предсказуемого (ср. выше об антиномии дискурса и текста). Одна из функций искусства, по Ю. М. Лотману, — это увеличение пространства свободы. При этом непредсказуемое с точки зрения прошлого опыта событие (в том числе и текст в своей событийной ипостаси) в дальнейшем может становиться не только чем-то обыденным, но и едва ли не банальным (ср. эволюцию романтических идей и образов).

Осознание принципиальной двойственности текста, неизбежно содержащего нечто, не вытекающее из осознанного намерения автора, приводит к попыткам его оправдания и объяснения, автор отстраняет себя от текста, по крайней мере снимает с себя часть ответственности за него. Музы и др. божества приглашаются в соавторы, Данте — не автор, а переписчик, пишущий под диктовку Амора, и т. д. вплоть до Маяковского («Если я чего написал, если чего сказал — тому виной глаза-небеса, любимой моей глаза»), Мандельштама («То, что я сейчас говорю, говорю не я») и др. Комментарий не произвольное дополнение к тексту, а его органическая

часть (ср. у Мандельштама: «комментарий (разъяснительный) — неотъемлемая структурная часть самой “Комедии”»). Стоит ли говорить, что порожденные необходимостью такого рода рефлексии тексты сами характеризуются указанной двойственностью. Здесь в очередной раз проявляется изоморфизм текста и личности, что особенно ярко проявляется в случаях, когда личность принципиально отказывает себе в праве на оригинальность.

М. Л. Гаспаров, неоднократно заявлявший о своей сугубой неоригинальности (все, что он делал и делает, якобы не содержит в себе ничего оригинального, даже любимый цвет его — серый) и солидаризировавшийся с марксистскими трактовками личности («точка пересечения общественных отношений») и свободы («осознанная необходимость»), и заверявший, что именно так он себя и ощущает (некоторые из этих высказываний содержатся в [Гаспаров 2001]), мог делать из сказанного не только парадоксальные, но и несовместимые с марксистской точкой зрения выводы (я уже не говорю о том, что его полное неприятие коллективизма плохо сочетается с абсолютной покорностью его воле этого самого общества):

Прав человека я за собой не чувствую, кроме права умирать с голоду. Коллективизм и соборность для меня одно и то же — между сталинским съездом Советов и Никейским собором под председательством императора Константина для меня нет разницы. Я существую только по попущению общества и могу быть уничтожен в любой момент за то, что я не совершенно такой, какой я ему нужен [Гаспаров 2001: 88].

Следующий большой круг проблем связан с темой «текст и история». Этой проблематике посвящен большой цикл поздних работ Ю. М. Лотмана. Здесь выделяется три основных аспекта. Во-первых, как известно, исторический нарратив всегда принимает форму текста (этим он отличается от мифов и других форм доисторического повествования). На что обычно обращается меньше внимания, это то обстоятельство, что текст навязывает повествованию о прошлом свои свойства: герои, события, — вообще сюжетность — суть продукты нарративного мышления. Во-вторых, как уже было сказано, текстовые модели могут определять поступки людей, тем самым оказывая влияние не только на

интерпретацию тех или иных феноменов, но и на сам ход событий. В-третьих, текстуальность разбивает поток бытия на ограниченные отрезки, имеющие, как и текст, начало и конец. Отмеченность конца заставляет видеть в истории смысл и назначение [Лотман 1993; 1996]. Расчлененность является условием осмысленности, осмысленность же, в свою очередь, подразумевает расчлененность. Сказанное справедливо как для вербального текста, так и для осознающей себя личности, равно как и для осознающего себя общества. Слово 'история' во многих языках (в том числе и в русском) имеет два взаимосвязанных смысла: оно обозначает как повествование о прошлом, так и само прошлое. С одной стороны, неразличение этих значений неоднократно приводило к недоразумениям и даже конфликтам⁷, с другой стороны, культуры, не знающие рефлексии над прошлым, кристаллизованной в форме нарратива, лишены и самого прошлого как части общественного бытия.

Теория текста в ТМШ постоянно развивалась; идеи и догадки 1960-х годов являлись необходимой, но не достаточной предпосылкой концепций, получивших развитие в последующие десятилетия. Думается, что потенциал этих идей еще не исчерпан и, представляется, что предлагаемая читателю книга служит дальнейшим тому проявлением.

Можно наметить два перспективных и принципиально новых для ТМШ направления. Первое из них связано с социосемиотикой, второе — с биосемиотикой. Первое едва ли является неожиданным: если, с одной стороны, индивидуальное поведение, а с другой — культура в целом могут рассматриваться в качестве текста, то, очевидно, это же может оказаться продуктивным и при описании социальных структур. Интереснее, однако, то, что текстуальный подход к обществу позволяет выделить в нем разные типы текстов, не сводимые к тексту культуры. Еще более захватывающие

⁷ Так, С. Т. Золян [1994] показывает, как различающиеся нарративы о прошлом создают различные возможные миры, лежащие в основе самоидентификации общества; опровержение «чужого» нарратива воспринимается в качестве оборонительного акта; с другой стороны, межкультурные конфликты обычно сопровождаются (взаимными) претензиями историографического плана.

перспективы методология тартуского структурализма открывает в области биосемиотики. Калеви Куль — теоретический биолог по своей первой специальности — определяет жизнь как самого себя читающий текст ([Kull 1998], ср. также [Kull, Lotman 2012]): синтез белка включает чтение и интерпретацию содержащейся в белке генетической информации; синтезированный белок, в свою очередь, содержит ту же генетическую информацию. Исследования в области биосемиотики все более активно используют термины и модели, разработанные ранее в различных областях семиотики культуры. Ср. в этой связи концепцию жизни как автопоэзиса [Матурана, Варела 2001]; Йеспер Хоффмейер, пришедший в свое время независимо от Ю. М. Лотмана к понятию семиосферы, вводит понятие семиотической свободы, лежащей в основе любой формы жизни [Hoffmeyer 2010; ср. также Lotman 2012c]. Если с точки зрения психосемиотики «сознанию должно предшествовать сознание», с точки зрения семиотики культуры «развитой цивилизации должна предшествовать развитая цивилизация» [Лотман 1981: 28], то с точки зрения биосемиотики жизни должна предшествовать жизнь. Жизнь, понимаемая как текст.

Литература

- Баевский 1994 — *Баевский В. С.* Комментарий // Ю. М. Лотман и тартуско-московская семиотическая школа. М.: Гнозис, 1994. С. 247–257.
- Барт 1989 — *Барт Р.* Избранные работы: Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989.
- Бахтин 1986 — *Бахтин М. М.* К философии поступка // Философия и социология науки и техники. Ежегодник 1984–1985. М.: Наука, 1986. С. 80–160.
- Бенвенист 1974а — *Бенвенист Э.* Уровни лингвистического анализа // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 129–140.
- Бенвенист 1974б — *Бенвенист Э.* Формальный аппарат высказывания // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974.
- Гаспаров 1975а — *Гаспаров Б. М.* Принципы синтагматического описания уровня предложений // Труды по русской и славянской филологии XXIII. Серия лингвистическая. Тарту: ТГУ, 1975. С. 3–29.
- Гаспаров 1975б — *Гаспаров Б. М.* Структура формальной связи предложений в современном русском языке // Труды по русской и сла-

- вянской филологии XXIII. Серия лингвистическая. Тарту: ТГУ, 1975. С. 30–63.
- Гаспаров 2001 — *Гаспаров М. Л.* Записи и выписки. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
- Золян 1994 — *Золян С. Т.* Описание регионального конфликта как методологическая проблема // *Полис*. 1994. № 2. С. 131–142.
- Золян 2016 — *Золян С. Т.* Юрий Лотман о тексте: Идеи, проблемы, перспективы // *Новое литературное обозрение*. 2016. №3 (139).
- Золян, Чернов 1977 — *Золян С. Т., Чернов И. А.* О структуре языка описания поведения // *Труды по знаковым системам VIII*. Тарту: ТГУ, 1977. С. 151–63.
- Лахманн 2011 — *Лахманн Р.* Память и литература. Интетекстуальность в русской литературе XIX–XX веков. СПб.: ИД «Петрополис», 2011.
- Левин и др. 1974 — *Левин Ю. И., Сегал Д. М., Тименчик Р. Д., Топоров В. Н., Цивьян Т. В.* Русская семантическая поэтика как потенциальная культурная парадигма // *Russian Literature*. 1974. № 7/8. Р. 47–82.
- Левинтон, Тименчик 1978 — *Левинтон Г. А., Тименчик Р. Д.* Книга К. Ф. Тарановского о поэзии О. Э. Мандельштама // *Russian Literature*. 1978. Vol. 6. № 2. Р. 197–211.
- Леви-Строс 1985 — *Леви-Строс К.* Структурная антропология. (Гл. II: Структурный анализ в лингвистике и антропологии). М.: Главная редакция восточной литературы, 1985.
- Леута 2009 — *Леута О. Н.* Ю. М. Лотман о трех функциях текста // *Юрий Михайлович Лотман*. М.: РОССПЭН, 2009. С. 294–309.
- Лотман М. 1984 — *Лотман М. Ю.* Семантика контекста и подтекста в поэзии Мандельштама // *International Journal of Slavic Linguistic and Poetics*. 1984. Vol. XXIX. Р. 133–142.
- Лотман М. 1988 — *Лотман М. Ю.* Семантическая структура связного текста и проблемы ее представления в АИПС. Таллинн: Eesti Informatsiooni Instituut, 1988.
- Лотман М. 1995 — *Лотман М. Ю.* За текстом: заметки о философском фоне тартуской семиотики (Статья первая) // *Лотмановский сборник 1*. М.: ИЦ-Гарант, 1995. С. 214–222.
- Лотман 1964 — *Лотман Ю. М.* Лекции по структуральной поэтике: I Введение. Теория стиха. (Труды по знаковым системам I.) Тарту: ТГУ, 1964.
- Лотман 1972 — *Лотман Ю. М.* Структура художественного текста. М.: Искусство, 1972.

- Лотман 1973а — *Лотман Ю. М.* О двух моделях коммуникации в системе культуры. Труды по знаковым системам VI. Тарту: ТГУ, 1973. С. 227–243.
- Лотман 1973б — *Лотман Ю. М.* Театр и театральность в строе культуры начала XIX века // *Semiotyka i struktura tekstu: studia poświęcone VII. Międzynarodowemu Kongresowi Sławistów.* Warszawa-Wrocław: Ossolineum, 1973. S. 337–355.
- Лотман 1975 — *Лотман Ю. М.* Декабрист в повседневной жизни // *Литературное наследие декабристов: сб. статей.* Л.: Наука, 1975. С. 25–74.
- Лотман 1977а — *Лотман Ю. М.* Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII века // Труды по знаковым системам VIII. Тарту: ТГУ, 1977. С. 65–89.
- Лотман 1977б — *Лотман Ю. М.* Текст и структура аудитории // Труды по знаковым системам IX. Тарту: ТГУ, 1977. С. 55–61.
- Лотман 1981 — *Лотман Ю. М.* Мозг — текст — культура — искусственный интеллект // *Семиотика и информатика.* М.: ВНИТИ, 1981. Вып. 1. С. 13–17.
- Лотман 1983 — *Лотман Ю. М.* 1983. Культура и текст как генераторы смысла // *Кибернетическая лингвистика: сб. М.: Наука, 1983.* С. 23–30.
- Лотман 1993 — *Лотман Ю. М.* Смерть как проблема сюжета // *Studies in Slavic Literature and Poetics. Vol. XX: Literary Tradition and Practice in Russian Culture: Papers from an International Conference on the Occasion of the Seventieth Birthday of Yu. M. Lotman.* Amsterdam: Rodopi, 1993. P. 1–15.
- Лотман 1996 — *Лотман Ю. М.* Внутри мыслящих миров. М.: Языки русской культуры, 1996.
- Лотман, Пятигорский 1968 — *Лотман Ю. М., Пятигорский А. М.* Текст и функция. III Летняя школа по вторичным моделирующим системам. Кяэрику, 10–20 мая 1968 г.: Тезисы. Тарту: ТГУ, 1968. С. 74–88.
- Матурана, Варела 2001 — *Матурана У, Варела Ф.* Древо познания: Биологические корни человеческого понимания. М.: Прогресс-Традиция, 2001.
- Минц 1973 — *Минц З. Г.* Функция реминисценций в поэтике А. Блока // Труды по знаковым системам VI. Тарту: ТГУ, 1973. С. 387–417.
- Минц 1992 — *Минц З. Г.* «Забытая цитата» в поэтике русского пост-символизма // Труды по знаковым системам XXV. Тарту: ТГУ, 1992. С. 123–136.

- Паперно 1979 — Паперно И. А. Структура устной речи и проблемы моделирования поведения // Семиотика устной речи: Лингвистическая семантика и семиотика. Тарту: ТГУ, 1979. С. 143–163.
- Пятигорский 1962 — Пятигорский А. М. Некоторые общие замечания относительно рассмотрения текста как разновидности сигнала // Структурно-типологические исследования. М.: Издательство Академии наук СССР, 1962. С. 144–154.
- Ронен 1973 — Ронен О. Лексический повтор, подтекст и смысл в поэтике Осипа Мандельштама // Roman Jakobson, C. H. van Schooneveld, Dean S. Worth (eds.). *Slavic Poetics: Essays in Honor of Kiril Taranovsky*. The Hague; Paris: Walter de Gruyter, 1973. P. 367–388.
- Тарановский 1973 — Тарановский К. Ф. О замкнутой и открытой интерпретации поэтического текста // *American Contributions to the Seventh International Congress of Slavists, I: Linguistics and Poetics*. Warsaw, August 21–27, 1973. The Hague: De Gruyter Mouton, 1973. P. 333–360.
- Фуко 1996 — Фуко М. Порядок дискурса. Инаугурационная лекция в Коллеж де Франс, прочитанная 2 декабря 1970 года // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Касталь, 1996. С. 47–95.
- Bühler 1999 — Bühler K. *Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache*. Stuttgart: Fischer, 1999.
- Dressler, de Beaugrande 1981 — Dressler W. U., Beaugrande R. de. *Introduction to Text Linguistics*. London: Longman, 1981.
- Eco 1979 — Eco U. *Lector in fabula. La cooperazione interpretativa nei testi narrative*. Milano: Bompiani, 1979.
- Eco 1989 — Eco U. *The Open Work*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989.
- Grzybek 1979 — Grzybek P. *Studien zum Zeichenbegriff der sowjetischen Semiotik (Moszkauer und Tartuer Schule)*. Universitätsverlag Dr. Norbert Brockmeyer, Bochum, 1979. (Bochumer Beiträge zur Semiotik 23.)
- Harris 1952 — Harris Z. S. *Discourse Analysis* // *Language*. 1952. No. 28.1. P. 1–30.
- Hoffmeyer 2010 — Hoffmeyer J. *Semiotic freedom: An emerging force* // Paul Davies, Niels Henrik Gregersen (eds.). *Information and the nature of reality: From physics to metaphysics*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 185–204.

- Jakobson 1960 — *Jakobson R.* Linguistics and Poetics // Thomas Sebeok (ed.) *Style in Language*. Cambridge, MA: MIT Press, 1960. P. 359–377.
- Kull 1998 — *Kull K.* Organism as a self-reading text: anticipation and semi-osis // *International Journal of Computing Anticipatory Systems*. 1998. Vol. 1. P. 93–104.
- Kull, Lotman 2012 — *Kull K., Lotman M.* Semiotica Tartuensis: Jakob von Uexküll and Juri Lotman // *Chinese Semiotic Studies*. Vol. 6. Nanjing: Nanjing Normal University Press, 2012. P. 312–323.
- Lachmann 1987 — *Lachmann R.* Value Aspects in Jurij Lotman's Semiotics of Culture/Semiotics of Text // *Dispositio*. Vol. XII. 1987. No. 30–32. P. 13–33.
- Lotman 2011 — *Lotman M.* Linguistics and Poetics Revisited // Mihhail Lotman, Maria-Kristiina Lotman, (eds.). *Frontiers in Comparative Prosody*. Bern; Berlin etc.: Peter Lang Verlag, 2011. P. 15–53.
- Lotman 2012a — *Lotman M.* Verse as a semiotic system // *Sign Systems Studies*. Vol. 40. 2012. No. 1/2. Tartu: Tartu University Press, 18–49.
- Lotman 2012b — *Lotman M.* Sissejuhatuseks // *Lotman M.* Struktuur ja vabadus I: semiootika vaatevinklist. 1.1. Tartu-Moskva koolkond: tekstist semiosfäärini. Tallinn: TLU kirjastus, 2012. P. 15–46.
- Lotman 2012c — *Lotman M.* Semiotic Freedom // D. Favareau, P. Copley, K. Kull (eds.) *A More Developed Sign. Interpreting the Work of Jesper Hoffmeyer*. Tartu: Tartu University Press, 2012. P. 251–253.
- Luhmann 1990 — *Luhmann N.* *Essays on Self-Reference*. Columbia University Press, 1990.
- Maturana, Varela 1980 — *Maturana H., Varela F.* *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht, Holland; Boston, USA; London, England: D. Reidel Publishing Company, 1980.
- Petőfi 1983 — *Petőfi János.* *S. Texte Und Sachverhalte: Aspekte Der Wort Und Textbedeutung*. Buske Helmut Verlag GmbH, 1983. (Papiere zur Textlinguistik, Bd. 42.)
- Shukman 1977 — *Shukman A.* *Literature and Semiotics: A Study of the Writings of Ju. M. Lotman*. Amsterdam: North Holland, 1977.
- Taranovsky 1976 — *Taranovsky K.* *Essays on Mandel'stam*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.
- van Dijk 1972 — *van Dijk Teun A.* *Some aspects of text grammars. A Study in theoretical poetics and linguistics*. The Hague: Mouton, 1972.

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Абрамян Л. А. 208, 211, 214
Аверинцев С. С. 255
Агатангелос 193–204
Азадовский М. К. 210–211
Айвазян К. В. 246, 252
Анкерсмит А. 83
Аристотель 64, 65
Атаян Э. Р. 221
Ахматова А. А. 209, 232, 236
Афанасьев А. Н. 207, 210, 217
- Баевский В. С. 281
Баратынский Е. 147
Барт Ролан 17, 18, 45, 55, 81, 83, 188, 280, 281
Бахтин М. М. 35, 114, 115, 128, 281, 286
Белинский В. Г. 153
Белобровцева И. З. 74
Белый А. 192, 218, 219
Бенвенист Э. 22–24, 278, 280
Бергер Питер 122
Бердяев Н. А. 93
Блок Марк 69, 70, 74, 86
Большаков А. О. 211
Борхес Х. Л. 176, 187, 191, 227–228, 235
- Брэдбери Рей 66
Бюлер К. 109, 282
Ван Ду 208
Варела Ф. 290
Вебер Макс 98, 126, 127
Вендлер З. 213
Виноградов В. В. 16, 177
Витгенштейн Л. 55, 58, 143, 223
Волошинов В. Н. 114, 115
Вригт Г. Х. фон 61, 63, 74, 77, 91, 93
Выготский Л. С. 183, 184
- Галананян А. Т. 84
Гаврилова М. В. 99
Гаспаров Б. М. 16, 278
Гаспаров М. Л. 59, 60, 73, 283, 288
Геллнер Эрнст 94
Гершензон М. О. 212
Гиндин С. И. 15
Гоголь Н. В. 102, 103, 124, 218
Грайс Герберт 188
Грибоедов А. С. 84, 88, 229, 234
Григорий Просветитель 194–203
Григорьев В. П. 159, 176
Григорян А. (Джотто) 251, 254
Гримм, братья 210, 211, 217

- Грирсон Джон 85
Гуковский Г. А. 149
Гумбольдт В. 34, 116, 136
Гуревич А. Я. 249
- Данто Артур 61, 75–77, 84, 89, 93, 150
Дейк Т. ван 164
Деррида Жак 136
Дильтей Вильгельм 17
- Евтушенко Е. А. 148
Егоров Б. Ф. 148, 149
Ельмслев Луи 21, 22, 24, 25, 34, 100, 167, 285
Есенин С. 249
- Жилко** Болеслав 126
Жолковский А. К. 33
- Иванов** Вяч. 163
Иванов Вяч. Вс. 249, 250, 255
Ирвинг В. 208
- Каменский** Вас. 249
Каплан Д. 214
Карамзин Н. М. 86–88, 147–157
Ключевский В. О. 81
Кожевникова Н. А. 219
Коллингвуд Р. Дж. 89, 90
Кресс Гюнтер 97–101, 113–119
Крипке Сол 41, 42, 163, 164, 168–170, 176, 215, 218, 220
Крученных А. Е. 183
Крылов И. А. 145
Кроос Яан 81, 84
- Кроче Бенедетто 93
Куайн Уиллард 144
Кюль Калеви 289, 290
- Лавренев Б. А. 79
Лакан Жак 281
Леви-Строс Клод 17, 19, 138, 168, 279, 285
Левин Ю. И. 92, 286
Лихачев Д. С. 21, 91
Лотман М. Ю. 7, 8, 258
Лоренц Эдвард 61
Льюиз Д. 189, 190, 214, 220–222
Лукаевич Ян 61, 65–69, 76–78, 93
Лукман Томас 122
Луман Никлас 102, 126–127
Лурье Я. С. 79
- Малиновский** Бронислав 105–108, 128
Мандельштам О. 92, 93, 114, 127, 166, 245, 287, 288
Маркс К. 102, 113, 288
Матурана У. 185, 188, 290
Мелетинский Е. 249
Мельникова Е. Г. 218
Мельчук И. А. 33
Минц З. Г. 7, 8, 218, 245, 249, 251, 253, 255, 281
Мордовченко Н. И. 149
- Нерсисян** М. Н. 250
Николаева Т. М. 15
- Овидий** 223
Огден С. К. 105

- Оруэлл Джордж 70, 72, 77, 93
Остин Дж. 127
Островский А. Н. 145
- Падучева Е. В. 278
Парсонс Т. 102, 106, 107
Папаян Р. А. 59, 60, 249, 252
Паперно И. А. 252, 287
Параджанов С. 248, 251
Пелешян А. 251
Пирс Ч. 114, 284
Платон 73
Плюханова М. Б. 252
Поппер Карл 61, 71–73, 79, 230
Прайор Артур 61, 91
Пригожин Илья 60, 61
Пропп В. Я. 15, 17, 22, 166
Пушкин А. С. 52, 86–88, 104, 130, 152, 156, 183, 188, 203–237
Пятигорский А. М. 13, 21, 22, 25, 26, 28, 30–32, 39, 40, 52–54, 81, 98, 110–113, 117, 120, 151, 162, 163, 173, 190, 246, 279
- Рассел Б. 173, 191
Раевский Н. Н. 156
Рикер Поль 17, 94
Св. Рипсима и девы Рипсиме-анки 195–198, 202, 249
Ричардс И. 105
- Салтыков-Щедрин М. Е. 133
Серль Джон 127, 175
Смирнов В. А. 91
Сологуб Ф. 183
Стенгерс И. 60
- Соссюр Фердинанд 16, 22, 103, 113, 114, 119, 278–280, 284, 285
Сепир Эд. 184
- Тарановский К. Ф. 281, 282
Тименчик Р. Д. 214
Томашевский Б. В. 21
Толстой Л. Н. 41, 42, 156, 175, 176
Трдат Третий (Великий) 182, 194–202
Трубецкой Н. С. 22, 279
Трунин М. 73, 74, 79, 83, 87, 150–152, 249, 250
Тынянов Ю. Н. 36, 81, 83, 84, 86–88, 152, 161
Тютчев Ф. 130
- Уайт Хейден 83
Успенский Б. А. 98, 120, 245
- Фавстос Бюзанд 245
Фреге Г. 31, 39, 162, 172, 174
Фрезер Дж. 211, 232
Фукаяма Фр. 133, 134
Фуко М. 280, 281
- Харрис З. 16, 278, 280
Хартман П. 112
Ходж Роберт (Боб) 97–101, 113–119
Хоффмайер Йеспер 290
Хинтиikka Я. 61, 220
Хлебников В. 249
Хоренаци Мовсес 203, 204
Хэллидей М. 97–99, 101, 108–111, 115, 119

- Цатурян В.** 246
Цветаева М. 225
Цивьян Ю. 85, 248
- Шкловский В. Б.** 176
Шмидт З. 112
Шекспир Вильям 6, 50, 172, 173
Шлегель Август 136
Шлейермахер Вильгельм 34
Шлейхер Август 136
- Щеглов Ю.** 33
- Чаадаев П. Я.** 152
Чахмачян А. 247, 251
Чернов И. А. 8, 89, 98, 120–122, 253, 287
Чехов А. П. 145
- Эко Умберто** 86, 87, 138, 152, 280, 282
Эйзенштейн С. 74
Элиаде М. 91, 134
- Якобсон Р.** 18, 19, 22, 109, 184, 232, 279, 282, 284
Ясперс К. 71, 73
- Andersen Th.** 115
Bezemer J. 98, 116
Burrow J. 92
Cobley P. 99
Cresswell M. J. 178, 221
Dovrig K. 135
Hasan R. 110, 111
Jenkins K. 83
Jewitt C. 98, 116
Lévi-Strauss C. 16
Leeuwen Th. van 116, 117, 127
Lemke J. L. 99
Linstrad Fr. 115
Perry J. 221
Randviir A. 99
Roberts G. 83
Trifonas P. P. 115

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

- Автор 6, 17, 32, 44, 45, 52–54, 56, 57, 118, 175, 179, 180, 189, 227–235
Автореференция 102; *см. также* самоописание
Автокоммуникация 283
Адресат 14, 26–28, 32 42–46, 52–57, 110, 118, 131, 179, 180, 185, 210, 283;
см. также аудитория, читатель
Адресант 26–28, 43, 45, 46, 54, 57, 110, 185, 190, 282, 283
Актуализация 58, 78
Актуальный мир *см.* миры
Амбивалентность 142
Антонимия 141–143
Асимметрия 47, 89, 286; *см. также* симметрия
Аудитория 29, 35, 43–45, 52
- Бинарность** (двоичный код) 133, 134
~ бинарная организационная культура 133, 134
~ бинарные оппозиции (противопоставления) 18, 29, 132–135, 137, 138, 279
~ бинарное отношение 40, 162, 170
~ бинарные системы 132–136, 138, 139, 141, 143, 145
~ бинарные формулы 40, 162
~ бинарные vs тернарные оппозиции 132, 136, 137, 143–145
~ бинарные vs многомерные оппозиции 54, 132–135, 143; *см. также* градуальность
- Бифуркация 60–62; *см. также* момент взрыва
Близнецы 143, 198, 199; *см. также* двойник
Близнечный миф 193, 194, 198, 201

- Взрыв 60–65, 94, 132–133, 138, 140–145
Внетекстовые связи (отношения, элементы) 18, 29, 281, 284
Внетекстовая реальность (действительность, мир) 18, 117, 151, 226–228
Волшебная книга 207, 208, 231
Возможность как модальное отношение) 66, 91
Возможные миры *см.* миры, модальная семантика
Время 67, 78, 92, 93, 164, 165, 200, 212, 213
 ~ линейное 92, 193
 ~ циклическое 92, 194
 ~ высказывания (контекста) 189, 209, 210, 215, 217, 236
 ~ прошедшее (прошлое) 50, 59, 63
 ~ настоящее 62
 ~ будущее 50, 59, 62, 65
Временная (темпоральная) логика (модальность) 62, 90, 165, 220
Вторичные моделирующие системы 167
Вымысел 79, 80, 84, 88, 95, 149, 150; *см. также* домисел
Выражение языка (текста) 29, 41, 47, 57, 103, 106, 107, 119, 121, 163–170, 172, 178–180, 182, 186, 212, 213, 215, 219–223
Выражения план — содержания план 82
Высказывание 24, 29–31, 64–67, 106, 174, 175, 189, 190, 222, 225; *см. также* предложение vs высказывание
- Гадание 212, 213, 215, 226, 227, 230
Герменевтика 17, 36, 167, 180
Гипотеза 71, 79, 80, 88
Грамматика 120, 145
 ~ порождающая 240
 ~ поведения 120, 121
Градуальность 137, 141, 143
Граница 137–139, 184, 185, 202
- Двойник 143, 193, 195, 198–200, 203, 206, 211, 213–215, 217–221, 223
Двойниковая семантика 199, 220
Десигнаторы (жесткие) 218; *см. также* имя собственное
Дескрипция 191, 213, 215–217

- Дейксис 221, 223
Дейктические координаты 210, 221
~ выражения 221, 223
Денотат 172, 185
Диалог 43, 88, 90, 124, 156, 283, 285
Диахрония 20, 114, 148, 201
Дискурс 102, 187, 280, 281, 287
Дискурс-анализ 15, 38, 58, 113, 115
Дистанционный монтаж 251
Дифференциации принцип 103, 127, 142
Детерминизм 61, 63, 65, 68, 69, 84, 90; *см. также* фатализм логический, недетерминированность (индетерминизм)
Домысел 73, 79, 88, 150; *см. также* вымысел
Дополнительности принцип (применительно к тексту) 32, 44, 51, 53, 55
Достижимости межмировой отношения 164, 168, 169, 172, 179, 180, 192, 220, 225; *см. также* модельная структура С. Крипке
- Зеркало 40, 71, 163, 205–224, 226, 227
~ зеркала магическая функция 206, 207
Зеркальная симметрия 27, 206, 218, 222, 223
Знак 14, 15, 22, 24, 25, 35, 38, 41, 48, 58, 97, 100–106, 114, 116, 120, 128, 206, 207, 222, 225, 231, 233, 284, 285
~ знаки текста 26; *см. также* сигналы
~ знаковая система 14, 18, 21, 24, 25, 54, 100–105, 114, 117, 118, 145, 284
Значение 26, 27, 32, 35–37, 40, 41, 46, 48, 58, 74, 75, 77, 81, 103, 105, 106, 112, 118, 120, 124, 143, 162, 163, 172, 180, 181, 186, 187, 222, 223, 240, 241, 285, 287
~ значение (как функции от выражения) 27, 29, 41, 168, 170, 171, 209, 210, 215, 222,
~ значение истинностное 29–31, 40, 64–66, 162, 163, 170–175, 177, 178, 181, 184, 186, 189–191, 209, 217, 246
- Икон, иконичность 25, 32, 56, 117, 184, 207–211, 223, 284–286
Индекс 25, 223

- Индивид 121, 124, 126, 143, 209, 210, 212–221,
~ индивидный концепт 212, 214, 215
- Идеология, идеологическое 80, 103, 104, 113, 134, 140
~ идейно-стилистическая система 104
- Изменяемость истории 68, 70, 73, 74, 77–80, 95
- Имя 209, 213–215, 217, 218, 220, 221, 227, 228
~ имя собственное 172, 191, 193, 215–217, 221, 232, 235
~ именное выражение 212, 213, 215, 222
- Инвариант 35, 47, 48, 142, 144, 148, 218
- Интерпретация 6, 14, 26, 35, 36, 39–43, 50, 54, 56, 58, 63, 71, 81, 83, 107,
124, 125, 131, 147, 151, 163, 167–174, 177–199, 218–220, 227, 233,
241, 282, 289, 290
- Интерпретация историческая 71–74
- Интертекстуальность (межтекстовые отношения) 25, 31, 38, 39, 56,
161, 168, 188
- Истина, истинное 29, 31, 64, 81, 82, 112, 117, 151, 187, 217–219, 221
- Истинность *см.* значение истинностное, ложность
- Книга волшебная 207, 208, 230
- Код, кодирование (перекодирование) 18, 24, 25, 32, 34, 36–39, 43–45,
48, 49, 56, 80, 81, 101, 105, 115, 117, 118, 123–125, 133, 136, 138, 151,
161, 168, 210, 279, 287
- Коммуникативный контекст (ситуация, условия) 39, 58, 147, 162, 222;
см. также мир-контекст
- Коммуникативный акт (событие) 32, 34, 35, 52, 109, 112
- Коммуникация 14, 17, 18, 34, 43, 44, 46, 58, 97, 98, 101, 102, 105, 111, 114,
115, 117, 118, 126, 127, 279, 282–285
- Композиция 14, 17, 22, 24, 28, 39, 52, 162, 189
~ композиционности принцип 174
- Контекст 14, 29, 35, 36, 40, 41, 50, 54, 57, 83, 100, 103, 109, 110, 115, 147,
162, 163, 174, 177, 179, 215, 221–223, 282; *см также* коммуника-
тивный контекст
~ контекстуализм 105–107
~ контекст социокультурный 30, 37, 105, 106, 109, 111, 112, 236
~ контекст (внутритекстуальный) 180, 188, 282
~ контекстная зависимость 162, 207, 210, 221

- ~ контекстуализация 38, 190
- Культура 14, 24–27, 33, 35, 37, 43, 46, 55, 81, 100, 101, 105, 111–113, 124, 125, 127, 138, 145, 147, 236, 280, 283–285, 290
 - ~ как система текстов 26, 27, 31, 32, 52, 121, 122, 289
 - ~ как континуум языков 118, 125
 - ~ культуры механизм (интеллект) 47, 49
- Культурология 133, 160

- Линейность, линеаризация 16–18, 48, 82, 92, 151, 165, 176, 193
- Логос самовозрастающий 42, 43, 45, 49, 55, 57, 118, 284, 286
- Ложь, ложность 30, 31, 64–67, 112, 117

- Метафора 42, 46, 78, 165, 194, 199, 203, 206, 207, 209, 212–214, 219, 222, 225, 230, 236, 286, 287
- Метаязык 25, 27, 102, 121, 122, 182, 239
 - ~ метаописание (метатекст) 26, 27, 50, 90, 107, 147, 227, 235
 - ~ метасистема (структура) 37, 50
- Миры
 - ~ актуальный мир 41, 174, 175, 179, 213, 218, 221, 225, 227, 233
 - ~ реальный мир 168, 169–173, 179, 189, 225, 227, 229
 - ~ ирреальный 213
 - ~ мир-модель 177, 178, 181
 - ~ мир-контекст 40, 162–163, 173, 179, 180, 189, 191, 192, 222; *см. также* контекст
 - ~ мир отмеченный 169, 177, 179, 180, 189, 192
 - ~ миров склеивание 229
 - ~ мир текста 180, 182, 190, 192
 - ~ межмировая достижимость *см. также* достижимости отношения
 - ~ миропорождение 226, 235
- Многозначность лексическая 26, 39, 56, 57, 74, 125, 142, 161, 162, 176, 183, 186, 187, 227
- Модальность 41, 91, 164, 165, 189, 217, 219, 220, 225
- Модальная логика (многозначная логика) 41, 61, 65, 81, 93, 137, 140, 163, 168, 169, 205

- Модальная семантика (возможных миров семантика) 14, 39, 61, 140–142, 161, 163, 182, 214, 220
- Модель 17, 22, 25, 38, 47, 54, 55, 61, 74, 78, 107, 119, 125, 133, 135, 160, 161, 164, 206, 220, 222, 223, 236, 278, 284, 285–290
- Моделирующая система 104, 160, 167
- Модель и модельная структура С. Крипке 40–42, 162–164, 168–175, 177, 179, 180–182, 184–192
- Мультимодальность 116–118
- Нарратив, нарративизация 81–83, 94, 151, 152, 155, 164, 168, 193, 288, 289
- Нарративная структура (конструкция) 80, 82, 151, 194, 204
- Недетерминированность (индетерминизм) 65, 68, 70, 76, 92–94; *см. также* детерминизм, взрыв, бифуркация
- Не-текст 13, 20, 21, 24, 28, 29, 82, 110, 111, 151
- Объяснение vs понимание** 17, 77, 149
- Оппозиции *см.* бинарные оппозиции
- ~ многомерные оппозиции 54, 132–135, 143
 - ~ тернарные 132, 136, 137, 143–145
 - ~ тернарные / градуальные 136–138
 - ~ оппозиций метод 18, 22, 279
 - ~ оппозиции нейтрализация 134, 137, 140
- Память 36, 37, 43, 45, 46, 67, 93,
- ~ память текста 6, 32, 35, 46, 50, 52
 - ~ память жанра 35, 286
- Перевод 34, 37, 89, 118, 119, 143, 144, 193, 285, 286
- ~ переводимость — непереводимость 34–38, 47, 143, 144, 241
- Перифраза, перифразирование 178, 180–188, 190
- Персонаж 193, 199–201, 206, 210, 218, 227–230
- Перформативы, перформативность 14, 25, 29, 112, 117, 127
- Понимание 17, 34, 35, 42, 57, 77, 84, 126, 161, 164, 170, 176–179, 181, 188
- Полиглотизм (многоязычие, поликодовый характер) текста культуры и индивида 14, 24, 36–38, 44, 47, 119, 121, 125, 143, 284
- Правильность 43, 124, 151

- Прагматика 13, 14, 23, 25, 28–30, 81, 107, 151, 189, 221, 222, 227, 278, 282
Прагмасемантика 31, 162, 221
Предикат 184, 209–212, 215, 217, 222; *см также* пропозициональная функция
Предложение 106, 109, 162–166, 169–178, 180, 181, 189, 190, 192, 223, 240, 278
~ предложение vs высказывание 162, 207
Предсказуемость — непредсказуемость 59–96, 132, 141, 142, 185, 287
Пропозиции 40, 41, 162, 164, 165, 169, 171–175, 179–181, 184, 186, 189–192, 209, 210, 212, 213, 220–222
~ пропозициональная функция (переменная, значение) 162, 170, 209, 210, 212, 220; *см также* предикат
~ пропозициональные установки 213
Поведение 100, 127, 139, 144, 199, 287, 289
~ поведения язык 100, 120–123
~ поведения грамматика 121, 122
~ поведения регуляция (нормы, правила) 100, 120, 121, 123, 139
~ поведения метаязык 121, 122
~ поведения смысл 126–128, 287, 289
~ текста 236, 286
~ поведения текст(ы) 100, 119–125, 287
- Расщепление**
~ мира и контекста 222
~ персонажей 193, 198, 200, 201
- Реальность 69, 78, 80, 82, 91, 100, 119, 122, 125, 130–132, 143, 163, 172, 173, 182, 187, 206, 225–230, 278, 287; *см. также* внетекстовая реальность, актуальный, мир, реальный мир
~ с реальностью сцепление 39, 41
- Речь *см.* язык
- Речевые акты 127, 174–175
- Референция 29, 30, 34–36, 39–41, 106, 112, 118, 139, 162–164, 173, 182, 185, 187, 212, 213, 219, 221, 225, 227; *см также* с реальностью сцепление
~ кореферентность (референтная тождественность) 212, 213, 218
~ автореференция 102

- Ретроспективный vs проспективный взгляд на историю 63, 67, 69, 70, 74, 75, 81, 82, 86, 89, 90, 141, 151, 165
- Сверхфразовые единство 16, 22, 278
- Сдвиг, сдвигология 183 192. 218, 223, 228
~ сдвиг значения 34, 223
- Синонимия / антонимия 141–143, 239
- Синхрония 20, 37, 92, 114, 118, 147, 148, 165, 200
- Ситуация 33, 164, 216, 221
- Семиозис 38, 106, 114, 116, 117, 207
- Семиосфера 14, 46, 47, 127
- Семиология второго поколения 23, 24
- Симметрия 27, 47, 89, 169, 172, 205, 206, 218, 221, 222, 286; *см. также*
зеркало, зеркальная симметрия
- Случайность 62, 69
- Смысл
~ истории 72, 82, 93, 289
~ действия 91, 120, 126
~ поведения 120, 123, 125, 126, 287
- Смысл — Текст модель 33
~ смысл поэтический 239–242
~ смысл глубинный поэтический 239–242
~ смысл поверхностный поэтический 239–242
~ смысл социальный 98, 102, 126–128
~ смысл vs значение 162–164, 168, 171, 172
~ смысл vs значение текста 41
~ смысл текста 48, 56, 163, 165–169, 171, 182, 189
~ смысл языковой 164–168, 178 182, 139–142
~ смыслопорождения механизмы, смыслообразование, 40, 42–44, 46, 49, 51, 54, 57, 60, 61, 118, 161, 162, 181, 206
~ смыслов генератор 42, 46, 56, 160, 162, 163, 239–242, 285
~ смысла самовозрастание 48, 49, 56, 160, 239–241, 284, 286; *см. также* логос самовозрастающий
~ смысла приращение 35, 37, 144
~ осмысление 45, 48, 50, 67, 69, 74, 75, 82, 84, 90, 91, 95, 120, 124, 125, 127, 164, 181, 182, 188, 204, 287, 289

Событие 112, 128, 131, 140, 141, 150, 151, 154, 155, 179, 182, 194, 204, 215, 217, 218, 227, 229, 236, 279, 287, 288
Содержания — выражения план 119
Социолингвистика 104–105
Сон 212–218, 227
Сообщение 18, 22, 24, 25, 30, 31, 35, 44, 46, 49, 57, 111, 112, 117, 173, 175, 184, 229, 240, 279, 282, 285, 286
Структурно-идеологический метод 104
Сюжет 60, 69, 88, 125, 150, 154, 155, 160, 193, 194, 198, 200, 202, 204, 206, 210, 217, 228, 235, 288

Текст

- ~ внетекстовая реальность 117, 226
- ~ внетекстовые отношения (связи, элементы, структуры) 18, 29, 32, 39, 206, 281
- ~ внутритекстовые отношения (механизмы, связи) 17, 18, 25, 36, 281
- ~ гетерогенность (разнородность) текста 38, 47, 53, 55, 58, 100, 161, 284
- ~ двойное (многократное) кодирование текста 25, 48, 63, 80, 105, 151
- ~ истинностное значение текста 39, 40, 162, 163, 170; *см. также* референция текста
- ~ интерпретация текста 14, 26, 36, 39, 40, 42, 50, 56, 58, 63, 124, 125, 131, 147, 151, 163, 167–170, 179, 180, 182, 184–189, 220, 227, 233, 282
- ~ кореферентность в тексте 211–213
- ~ надтекстовые отношения 20, 281
- ~ смысл vs значение текста 168, 169, 171
- ~ субтекстовые отношения (внутритекстовые) 20, 37, 44, 47, 52, 55, 112
- ~ тема — текст модель 33
- ~ функции текста 26, 27, 52, 110 -112
- ~ функция текстуальная (текстуализации) 107, 109, 112
- ~ текст vs нетекст 9, 20, 21, 24, 29, 108, 110, 111
- ~ текста означаемое / означающее 54 164 167 169 230, 233, 235

- ~ текста референция 30, 39, 40, 112, 118, 162–164, 173, 182, 185, 187, 225, 227
- ~ текста семантика тривиальная (языковая интерпретация) 180–182
- ~ текста, текстуальности условия (характеристики, признаки, сигналы) 24, 25, 28, 29, 31–33, 56, 112, 289
- ~ текста связность 29, 82, 109, 110, 151, 164
- ~ текста смысловая структура 166–167; *см. также* смысл текста
- ~ текстовые операторы 164–167, 172, 174, 182, 187
- ~ текст как
 - ~ ~ генератор смысла *см.* смысла генератор
 - ~ ~ миропорождающий механизм 242
 - ~ ~ многомерная структура (пространство) 14, 17, 18, 42, 52–54, 58, 159
 - ~ ~ реализация системы языка 34
 - ~ ~ сигнал 25, 29, 38, 52, 53 279, 284
 - ~ ~ перформатив 29, 112, 117
 - ~ ~ поступок (действие) 122, 281
 - ~ ~ событие 112, 227, 229, 236, 279
 - ~ ~ функция 14, 26–33, 54, 57
- ~ текст vs язык 53–54, 58

Уровень наблюдения — уровень описания 123

Факт 63, 138, 141, 164, 178, 213, 233

- ~ исторический факт, 63, 74, 79–85, 92, 97, 141, 149–151, 155
- ~ контрфактический мир 216
- ~ факт vs пропозиция 213

Фатализм логический 64, 68–90

Функция, функции 26, 27, 100, 137, 144, 287

- ~ именная 212–216
- ~ магическая 206, 207, 229
- ~ социальные (социокультурные) 101, 102, 110, 112, 198, 199, 201
- ~ пропозициональная 209, 210, 212, 220; *см. также* пропозициональная функция, предикат
- ~ функции текста 25, 33–36, 43, 44, 50, 52, 56 110 113 162 166

- ~ функции языка 19, 57, 102, 107, 109, 110, 185, 226, 279, 282
- ~ функция как отношение (модель) 14, 29–33, 52, 110, 186, 190
- ~ смысл как функция 169–172, 174, 220–223
- ~ текст как функция 25–29, 52, 54, 57

Функционализм 105–108

Хронист идеальный 75, 77, 80, 84, 87, 150–152

Читатель 14, 17, 32, 45, 49, 52, 166, 229, 230, 237

Эгоцентрические выражения («Я») 222, 223

Энантioseмия 142

Язык 10, 101, 103, 107, 117

- ~ язык как социальная семиотика 111–113
- ~ язык оценок 138
- ~ языковое значение 105, 106, 110
- ~ языковой знак 106, 114, 116
- ~ языковой смысл *см.* смысл языковой
- ~ языковые функции *см.* функции языка
- ~ язык поведения *см.* поведения язык
- ~ язык vs речь 21, 22, 114, 119, 120, 278

БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Публикуемые разделы есть переработанные и дополненные версии ранее опубликованных статей:

Юрий Лотман о тексте: идеи, проблемы, перспективы // Новое литературное обозрение. 2016. № 3. С. 63–96.

О непредсказуемости прошлого: Юрий Лотман об истории и историках: Случайность и непредсказуемость в истории культуры // Случайность и непредсказуемость в истории культуры: Материалы Вторых Лотмановских дней в Таллиннском университете (4–6 июня 2010 г.), Таллинн: Изд-во Таллиннского ун-та, 2013. (Acta Universitatis Tallinnensis. Humaniora). Таллинн: Изд-во Таллиннского ун-та, 2013. С. 31–78.

Юрий Лотман и социальная семиотика. Сборник Матице Српске за славистику = Matica Srpska Journal of Slavic Studies. 2017. Vol. 92: Verba volant, scripta manent: Фестшриффт к 50-летию Игоря Пильщикова / ред.-сост. Н. Поселягин и М. Трунин. С. 123–150.

Между взрывом и застоём: постсоветская история как культурно-семиотическая проблема // Логос. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. № 9. С. 80–86.

От мифа — к истории (близнечный миф и сюжетная организация «Истории Армении» Агатангегоса) // Лотмановский сборник. Вып. 3. М.: О.Г.И., 2004. С. 557–561.

«Бесконечный лабиринт сцеплений»: Семантика текста как многомерная структура (к 90-летию Ю. М. Лотмана) // Кри-

тика и семиотика. М.; Новосибирск, 2013. 1/18. С. 18–44; тезисы на английском под другим заглавием («Text as a multise­mantic entity — a prolegomenon to formalization») были опубликованы в: International Congress Cultural Poliglotism: To the anniversary of Juri Lotman's 90th birthday Tartu, February 28 — March 2, 2012. Abstracts. Tartu, 2012. P. 57–62.

«Свет мой, зеркальце, скажи...»: К семиотике волшебного зеркала // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 1988. Вып. 831: Зер­кало. Семиотика зеркальности. Труды по знаковым систе­мам XXII. С. 32–44.

Магическое у Пушкина — семантика и поэтика (Магия ру­кописи) // Лотмановский сборник. Вып. 4. М.: О.Г.И., 2014. С. 180–189.

О «самовозрастании» смысла в поэтическом тексте // Finitis deodecim lustris: Сб. статей к 60-летию проф. Ю. М. Лотмана. Таллинн: Ээсти раамат, 1982.

Роман-реконструкция: Сотворение жанра (о книге Ю. М. Лот­мана «Сотворение Карамзина») // Слово.ру: балтийский ак­цент. 2016. № 3. С. 74–88.

«Ю. М. Лотман и Армения» — доклад, прочитанный в Таллинн­ском университете на конференции к 80-летию Ю. М. Лотмана, вместе с копией письма Ю. М. Лотмана и конспекта лекций Ю. М. Лотмана в Ереванском университете в 1969 г. хранится в архиве Ю. М. Лотмана в Таллиннском университете.

Лотман М. Ю. Текст в контексте Тартуской школы: проблемы и перспективы // Слово.ру: балтийский акцент. 2019. Т. 10. № 4. С. 45–58

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Золян Сурен Тигранович (1955 г. р.) — доктор филологических наук (с 1988 г.), профессор (с 1989 г.).

Автор и редактор более 200 научных работ по вопросам общего, русского и армянского языкознания, семантики, семиотики, поэтики, лингвистической политики, высшего образования, политологии, в том числе 9 монографий¹.

¹ 1. О соотношении языкового и поэтического смыслов. Ереван: Ереванский университет, 1985.

2. Шаракан. Из армянской поэзии V–XV вв. Ереван: Советакан грох, 1990. Составление, примечания, перевод, послесловие.

3. Семантика и структура поэтического текста. Ереван: Ереванский университет, 1991 (перепечатано в 2013 г., М.: УРСС).

4. Язык политического конфликта — логико-семантический анализ. The language of political conflict — a logico-semantic Approach. Central European University. Budapest, 2000.

5. Нагорный Карабах: проблема и конфликт. 2001.

6. Семантика и поэтика поэтического перевода — заметки об армянской поэзии в зеркале русских переводов. Ереван: Лингва, 2007.

7. Исследования в области семантической поэтики акмеизма. Таллинн: Таллиннский университет, 2012 (соавтор — Михаил Лотман).

8. Семиотика политического дискурса. Междисциплинарный подход / ред.-сост. С. Т. Золян, М. В. Ильин, И. В. Фомин. Институт философии, социологии и права НАН РА. Ереван: Лимуш, 2018.

9. Русский язык в Армении в контексте его функционирования в мире. Опыт междисциплинарного исследования. Ч. 1: Правовые инструменты развития и защиты. Ереван: Изд-во Российско-Армянского университета, 2018.

В 1976–1977 гг. проходил стажировку на кафедре русской литературы Тартуского государственного университета под руководством Ю. М. Лотмана.

В настоящее время — профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград, Россия) и Армянно-Российского университета (Ереван, Армения), ведущий научный сотрудник Института философии, социологии и права Национальной академии наук Армении (Ереван).

Главный редактор журнала «Слово.ру: балтийский акцент» (Балтийский федеральный ун-т им. И. Канта, Калининград, Россия); член редколлегии журналов «Studia Metrica et Poetica» (Tartu University, Estonia), «Чуждоезиково обучение — Foreign Language Teaching» (София, Софийский ун-т, Болгария), «Рема» (Московский педагогический гос. ун-т), «Вестник РАУ» (Российско-Армянского ун-та), «Гуманитарные и общественные науки» (Ереван), «Ученые записки Петрозаводского университета», «Иностранные языки в высшей школе» (Рязанский гос. ун-т).

SUMMARY

YURI LOTMAN: ON MEANING, TEXT, HISTORY. THEMES AND VARIATIONS

Lotman's scholarly heritage can give impetus to fundamentally new transdisciplinary areas of research. The combination of research hypostases of a historian of the Russian culture and theoretical semiotician provides Lotman the opportunity to outline new approaches to culture and history with linguistic and semiotic perspectives of analysis. The book provides a systematic analysis of Yu. M. Lotman's key ideas and their possible development and creative potential in a new context. In light of heterogeneity of the material under consideration, the main approach is based on the consideration of the mechanisms for meaning production and its multiplication. The Heraklitian image of the "Self-Growing Logos" is considered as the basis of Lotman's scholarly conception. The various unpredictable mechanisms for creating the new described by Yu. Lotman are applied primarily to the Lotman's semantic approaches. The leitmotifs of the proposed book are considerations on the dynamics of text-creation, understanding and re-understanding history, interaction, and intertwinement between texts and patterns of behavior.

In the first part, "The Themes", we consider Yu. M. Lotman's views on the nature of text as a dynamic unity of created and translated meanings within processes of communication between an author and a reader. The author seeks to generalize, systematize, and discuss possible developments of Lotman's ideas about text as a generator of meanings, and about the unity of its structural, communicative, and pragmatic aspects.

The author examines the following questions: 1) pragmatic and socio-cultural criteria for distinguishing text from 'not-text'; 2) text as a heterogeneous, polylingual and polysemantic object; 3) text and addressee; the active role of the reader in revealing the semantic potential of the text; text in the process of communication and interpretation; 4) text as a dynamic object ("self-expanding Logos"); the triad of "text — intellect — culture (the semiosphere)". The author demonstrates that for Lotman the concept of text — and its distinction from not-text — was dynamic, appearing as a function of three variables: sign composition, addressee, and context. As a further development of these ideas, the author proposes describing the semantics of text as a system of relations (functions) between a set of possible worlds and a set of possible contexts.

The author shows that Lotman's work contains a concept that is very close to social semiotics in the interpretation of M. A. K. Halliday, Robert Hodges, and Gunther Kress. Lotman started to use the term "social semiotics" in 1975, the same year as Halliday. A common source for both approaches can be found in Bronisław Malinowski's contextualism and functionalism. Lotman considered semiotic and communication processes in the system of social and political processes yet another field of cultural semiotics and, later, of the semiosphere. Lotman's version of social semiotics builds a new theory in which not only messages but also social actions and behavioral structures can be considered semiotic phenomena. This approach makes it possible to link the categories of social semiotics to the basic concepts of theoretical sociology, such as social action, meaning, and communication.

A separate chapter is devoted to the consideration of Yuri Lotman's views on the processes of understanding history based on the concept of the unpredictability of historical events and the dependence of their descriptions on the changing context. The decisive features of Lotman's approach are his description of permanent flows of texts into life and history and vice versa as well as his consideration of actions and events as having socially meaningful signs, texts, and communicative acts. This explains mechanisms for rethinking history in relation to new contexts — history appears as modernity, and modernity as being determined by history. Yu. Lotman's defined his own book "The Creation of Karamzin" as a "novel-reconstruction". This is an attempt to create a

new genre — the ideal historical description, organized as a polylogue between the historian, novelist, and semiotician. For this, Lotman relied on Karamzin's experience as a prominent Russian writer and historian. The structural and semiotic characteristics of the novel-reconstruction allow revealing some new features of Karamzin's "History" and the Russian tradition of historical novel, as well as Lotman's vision on historiography.

The second section, entitled "The Variations", consists of the application of Yu. M. Lotman's ideas to a description of texts. This demonstrates how theoretical ideas can become a research method of analyses and reveal some concrete instances of how the correlation of life, text, and history are represented. When referring to the semantics of text, its substantial distinction from the semantics of other language units should be taken into consideration. Unlike an utterance, text does not have fixed pragmasemantics i.e. dependence on a specific communicative context. Herewith, text is liable to semantization, assuming a correlation with other domains of reference — possible worlds. It presupposes the description of text as relations (functions or correlation mechanism) correlating a set of possible worlds with a set of possible contexts whereby such worlds and contexts in which the value of constituent utterances acquires the value of "truth". The text thus acts as a peculiar analogy of the concept of a model and a model structure in modal logic (Cf. S. Kripke); that is a procedure of correlating propositions and possible worlds within this or that model structure formed by the text itself, as well as within the correlation of contexts where the text is actualized. It is noteworthy though that Leo Tolstoy approached the idea closely and expressed it through a fine metaphor: an "end-less labyrinth of linkages". The text value is mainly polysemantic, and the metaphor comes to elucidate that new meanings cannot be reduced to even very complex linear structure. It should instead be understood as an infinite set of possible interpretations — transworld relations. These themes are investigated regarding different cases of semiotic world-creation.

The author examines the process of semiotics of world-generation through such magical means as a mirror and a manuscript (on the example of Pushkin's works), the formation of poetic meaning based on linguistic meanings, as well as the birth of a historical narrative from the mythological patterns in early Armenian historiography.

Taken together, the proposed “themes and variations” create a cumulative and synergistic effect and demonstrate the possibility of the “new life” of Lotman’s ideas, inviting a dialogue on their further development.

In the Appendix, the essay “Lotman and Armenia” describes the visits and lectures of Yuri Lotman and Zara Mints in Armenia, their connections with Armenia. Yuri Lotman’s letter to the author is also published here. The Afterword presents Mihhail Lotman’s article on the concept of text in the Moscow-Tartu school.

Научное издание

Сурен Тигранович Золян

ЮРИЙ ЛОТМАН:
О СМЫСЛЕ, ТЕКСТЕ, ИСТОРИИ
ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ

2-е издание

Корректор О. Круподер
Ведущий редактор И. Полосухина
Оригинал-макет и художественное оформление переплета
подготовлены И. Богатыревой

Подписано в печать 17.02.2020. Формат 60×90 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Minion Pro.
Усл. печ. л. 20. Тираж 300. Заказ №

Издательский Дом ЯСК
№ госрегистрации 1147746155325
Phone: 8 (495) 624-35-92 E-mail: Lrc.phouse@gmail.com
Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>

ООО «ИТДГК «Гнозис»»
Розничный магазин «Гнозис» (с 10:00 до 19:00)
Турчанинов пер., д. 4, стр. 2. Тел.: +7 499 255-77-57
itdkggnosis@gmail.com

Оптовый отдел
Ул. Бутлерова, д. 17Б, оф. 313. Тел.: +7 499 793-58-01
sales@gnosisbooks.ru
www.gnosisbooks.ru, vk.com/gnosisbooks



Сурен Тигранович Золян (1955 г.р.) — доктор филологических наук (с 1988 г.), профессор (с 1989 г.).

Автор и редактор более 200 научных работ по вопросам общего, русского и армянского языкознания, семантики, семиотики, поэтики, лингвистической политики, высшего образования, политологии, в том числе 9 монографий.

В 1976–1977 годах проходил стажировку на кафедре русской литературы Тартуского государственного университета под руководством Ю. М. Лотмана.

В настоящее время — профессор Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград, Россия) и Армяно-Российского (Славянского) университета (Ереван, Армения), ведущий научный сотрудник Института философии, социологии и права Национальной академии наук Армении (Ереван).

Главный редактор журнала «Слово.ру: балтийский акцент» (Балтийский федеральный ун-т им. И. Канта, Калининград, Россия), член редколлегии журналов «Studia Metrica et Poetica» (Tartu University, Estonia), «Чуждоезиково обучение — Foreign Language Teaching» (София, Софийский ун-т, Болгария), «Рема» (Московский педагогический гос. ун-т); «Вестник РАУ» (Российско-Армянского университета), «Гуманитарные и общественные науки» (Ереван), «Ученые записки Петрозаводского университета», «Иностранные языки в высшей школе» (Рязанский гос. ун-т).